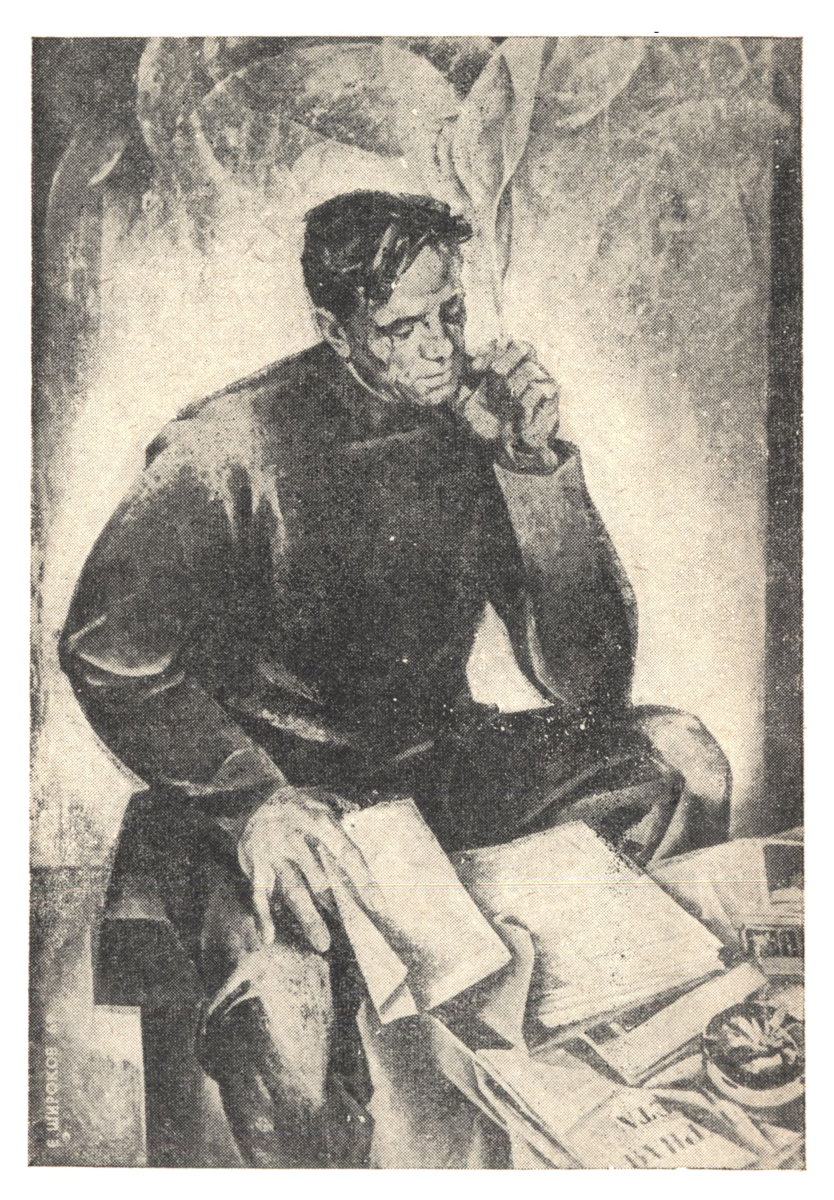
Виктор Астафьев

повести • рассказы • затеси



Е. Широков. Портрет писателя В. П. Астафьева.

Виктор
АСТАФЬЕВ

повести
рассказы
затеси



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — 1977

А $\frac{70302-16}{М152(03)-77}$ 31—77

Повести

*

Стародуб

Леониду Леонову

НА КРУТОМ ЛОБАСТОМ МЫСУ, БУДТО ВЫтряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и еловым корьем, — это кержацкое село Вырубы.

Приходили сюда люди, крадучись, один по одному, и избы ставили на скорую руку, стараясь влезть в них до стужи. Потом уж достраивались, вкапывались глубже, отгораживались высокими крепкими заплотами. И можно было в Вырубах увидеть раскоряченные, невзрачные избы за крашеными резными воротами, за тесаными заборами в ухоженных дворах. Впрочем, у иных хозяев эта наспех поставленная первая изба, первый приют поборников «древлеотеческих устоев», сбежавших от утеснений «нечистых» нововерцев, становилась потом зимовьем, иначе говоря, флигелем.

Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом — тайгой. Лишь изредка по реке Онье мимо деревни проносились на плотах верховские жители, лихорадочно работая скрипучими потесями. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками-скотоводами, в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они на сплав уходили и гоняли плоты по бешеной Онье, мимо упрятавшихся в горах раскольничьих скитов и сел, очень похожих на Вырубы, угрюмых, потаенных. Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, огляделся, настороженно прицеливаясь: горы сзади, горы спереди, горы справа, горы слева, и среди них с пеной на губах мчится, бушует Онья. Тесно Онье в скалах, жестко на камнях, невесело в ущельях. Только прибежит к плесу, успокоится немного, вздремнет, и опять впереди порог, шивера или перекат. Опять дерись, пробивай дорогу и смотри, как весело, буйно играют в струях таймени да хариусы.

Возле самого мыса, по ту сторону реки, в воде клыкастые каменья, и всю-то летнюю пору деревня наполнена шумом, будто никогда не затихают здесь ветра и шевелят, волнуют тайгу. И зимою возле вырубских шивер долго чернеют полыньи, и почти до рождества слышен все затухающий шум. Ни по реке, ни по горам не пробраться к Вырубам — сгинешь. Знал тот неизвестный кержак, который свалил здесь первую лиственницу на избушку, как и где прятаться от мира.

Очень опасным, труднопроходимым считался у плотогонов Вырубский шивер. Не зевай возле него. Здесь река почти внаклон, все сваливает к левому берегу. Не остерегись — и на ребро поставит плот, расщепает на каменьях, изорвет в клочья. Так и случилось однажды — руки плотогонов оказались слабее реки, затащило на камни плот, крякнул он, захрустел скрепами и рассыпался.

Слабо, без всякой надежды кричали артельщики о помощи. Они знали, что никто из кержаков и не подумает кинуться в лодку спасать их. Нет резона спасать тех, от кого надежно спрятались. Зачем в селе чужие? Раздор от них, порча.

И надо же было так случиться, что малый парнишка с плота со страха уцепился за бревно, да так крепко, что ногти его впились в древесину. Бревно ударило о скалу, раздавило малому руку, но он все равно не отпустился.

Его покружило, покружило и кинуло на берег, к деревне.

Сбежался народ. Но сколько ни тормошили докучливые бабы мальчонку, сколько ни расспрашивали его намеками, знаками, кто, мол, он, откуда, ничего добиться не могли. Парнишка с испуга лишился языка, смотрел на всех немигающими, подавшимися из орбит глазами и тряс головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха, и матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром порешили: дурачка убрать.

Суеверие да «древлеотеческие устои» не знают жалости. И это суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря, что есть в этом дурное знамение и что не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечишка уцелел. Убрать! У малого башка трясется и глаз дурной — светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет. Да и мало ли что еще может быть! Чужие нагрянут, табашника — исправника — приведут, тот учинит допросы, *как* да *что*, и откупись от него попробуй. Нет уж, лучше от мира подальше, грехов поменьше.

Берег быстро опустел. Подгоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабы-староверки разбежались по домам, закрещивая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило от разбитого плота к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Большой то грех! Они посадят его на плотик и оттолкнут. Плыви с богом! А куда, до каких мест доплывешь — это уж их не касается. Бог тебя послал, пусть бог и к месту определит. Захочет — до другой деревни убережет, не захочет — на первом пороге утопит. На то его божья воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудовавших топорами, и пытался что-то понять. Но боль мешала ему это сделать. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду. Мужики нахмурились.

Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:

— Перевязать бы ему руку-то.

Никто ничего не ответил, и Троха метнулся домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпки не нашлось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Вырубов — староверов, отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают, что делают!

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносилось его виноватое бормотанье:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя, и не маялся бы. А ты все ж таки человек, и делать этого невозможно, потому, стало быть, мучаешься...

Мальчишка глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Боль давила мальчишку, Троха осторожно опустил его на каменья.

— Охо-хо-хо, отошел бы вот здеся-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище, душа твоя еще невинная, светлая... А то плыть за смертью тебе сызнова...

Мальчик притих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы...

— Не скули! — буркнул кряжистый мужик с раздвоенной губой. — Мир постановил.

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался, мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей и песком. Из грязного комочка на месте пальцев торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню — от «ужасти». А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, выскальзывал, как рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, но и беспамятство

не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам казалось: часует малая душа, но ловится за жизнь.

— Воды боится, — сказал кто-то сдавленным от страха голосом и совсем уж тихо: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомлелый.

— Стяжек был, стяжек, — заторопился кто-то, — эх, на суше салик сколотили...

— Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа с телом не рассталась, — падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздрогнули бесстрашные на вид и робкие в душе староверы, будто голос с неба раздался. В суете они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан. По святцам — Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения.

Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так, что каменья уходили в песок, а кержаки расступались на стороны.

Вся деревня знала, что Фаефан водится с лешим, и потому боялась его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика воды. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, тайменёнок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить, и рук не замарать...

Фаефан протянул волосатые руки к мальчонке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало, и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека.

Приговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стеной. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули:

— Сгинь, отродье! Пока лихо не содеялось!

Берег пустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засеменили по домам. Фаефан слишком хорошо знал нравы односельчан и потому громогласно объявил, ступив в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — порешу!

В ответ — ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними короткая суета рук. Крестятся на медные иконки, принесенные еще прадедами в пазухах и холщовых сумках, на позеленевшие от времени распятья: «Убереги господь от постороннего глаза, укрепи в душе, спаси и сохрани!»

А Фаефан, по прозвищу *Каторжанец*, нес нового жильца по деревне, называя его тайменёнком. Это было самое ласковое слово из всех, какие знал Фаефан Кондратьевич.



Жена Фаефана Мокрида встретила мужа во дворе, отогнула полу дождевика, глянула на притихшего парнишку.

— Эко горе бог дал! На печку неси его, я святой водой обрызжу. Только не жилец он, не жилец. Пустоглазай. Да и супротив желания в деревне.

— Каркай больше, кикимора! — цыкнул на жену Фаефан. — Я заступником ему буду! — Подумал, сощурился: — И ты тоже.

Мокрида вознесла глаза к небу, приложила к левому плечу два перста с погнутыми от работы ногтями.

— Всем нам господь-батюшка заступник. На все воля его...

Так и не понял Фаефан — осудила его Мокрида за то, что он приемыша в дом принес, или нет. Бесовски хитра и скрытна Мокрида, не сразу распознаешь, что у нее на душе. Давно уже правит она хозяйством, с тех пор как угодил в солдатчину Фаефан.

Сыскало однажды волостное начальство деревушку Вырубы в лесу, и сразу рекрутчина, налоги. Старики предложили рекрутам сжечься в молельне, дабы не обмирщиться в солдатчине. Никто заживо гореть не согласился. Тогда те же старики предложили взять сподручную поклажу: иконки, распятья да «устойные» книжки в котомы и двинуть всей деревней дальше, в леса, в «землю восеонскую, идеже нет власти, от людей поставленныя».

Повыли, поплакали, повздыхали и никуда не пошли вырубчане. Тогда уставщик Агафон — отец Мокриды — проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней.

В деревне Вырубы появился староста, сход; раз, а то и два раза в году здесь появлялось начальство в лице исправника и нагоняло на угрюмых кержаков холоду. Научились вырубчане обходиться с начальством и откупать рекрутов, но пока они научились это делать, хватили несколько молодых парней горькой солдатчины.

Диковатый, неуклюжий и фанатичный парень Фаефан отчего-то невзлюбился сразу франтоватому унтер-офицеру, и тот выдумывал для кержака одно дело грязней другого, насмехался над солдатом, бил обязательно при людях, но ни стона, ни слезы, ни взятки выбить из таежника с тяжелым, лешачьим взглядом не смог. Однажды на ученье, во встречном рукопашном бою, унтер-офицер направил штык на Фаефана, и когда тот отшиб его своим штыком, коротко взмахнул прикладом снизу вверх, и Фаефан услышал, как хрустнул у него нос и хлынула на грудь кровь.

Фаефан на глазах у всей роты всадил унтер-офицеру штык по самое дуло винтовки.

Всю жизнь надлежало Фаефану проработать в забайкальском руднике за этот сквозной удар штыком, но кто-то кого-то сменил на престоле в Питере и всемилостивейше пожаловал свободу десятку-другому каторжников.

Чужим вернулся в Вырубы Фаефан. Ни старой, ни новой веры он не принимал. Он уже вроде бы ни во что и не верил. Месяцами пропадал он в тайге, зверовал. Мокрида уже привыкла одна вести хозяйство и обходиться без мужа. Так даже лучше было. Она молилась, сколь хотела, как хотела, и блюла кержацкие устои строго, по-старинному, хотя ослабела, ох, как ослабела у вырубчан древлеотеческая вера.

Как-то само собой получилось, что после «сжения мученика Агафона» Мокрида очутилась вместо уставщика и звалась не иначе, как *мать Мокрида.* Фаефан по пьяному делу высмеивал ее. Но она умела не обращать внимания на «отступника» мужа и делала свое дело, а он свое.

За твердый характер, за то, что не скисла она в трудные годы, за то, что умела вести хозяйство и править людьми,

уважал Мокриду Фаефан. Недолюбливал, но уважал. Он был уверен, что кто-кто, а Мокрида сумеет оборонить, когда надо, приемыша.

Язык к мальчишке возвращался медленно. Пальцы на руке отболели и высохли. Остался только мизинец да большой, вроде рогульки.

Культявый, Культя, Култыш — так стали кликать в деревне Вырубы мальчонку. Он к этому быстро привык и другого имени никогда не знал и не помнил, хотя и нарекла его Мокрида Титом. Не привился Тит.

Был у Мокриды и Фаефана сын — Амос. Костлявый, увертистый парнишка — года на два старше Култыша.

— Вот братка тебе, — сказал Амосу Фаефан, — дружно живите, не забижай его сам и другим в обиду не давай.

— Н-ну, только мой устав во всем, — предупредил Амос отца.

— Ладно, пусть твой, абы не Мокридин, а то сделают из малого кликушу-стихирщика. Мне охотники нужны, не уставщики...

Фаефану нужен был помощник. Охотник. Мокриде — уставщик, да такой, чтобы в кулак зажал односельчан, в душах которых подгнили устои и вера древлеотеческая, православная вера, ради которой на огонь пошли бесстрашные раскольники, протопопы Аввакум и Иван Неронов, великомученицы Феодосья Морозова и Евдокея Урусова головы сложили и *во славех* погиб один из предводителей Соловецкого восстания, старец Геронтий.

Амос — вот кто радовал сердце матери. Прозорливость у него в глазах, ум потаенный, даже мать не всегда узнает, что он думает, но уж если возьмется за какое дело Амос, не оторвешь. Синяков себе наставит, руки в кровь порвет, а сделает. Вот такой уставщик нужен, такой властью своей покорит, волей.

Но мал еще Амоска, глуп. Увертывается от материнской кабалы. А в людях разброд. Укреплять надо веру. Чем? Как?

Копытка — лесная болезнь — свалилась на скот. Не отпугнули ее зарытые во дворах копыта, повешенные на колья черепа, болезнь косила коней, коров, овец. Не помогало чтение охранительных стихир и повсеночные стояния на молитве от мала до велика. Скот падал. Беда пришла в деревню. Повывелись охотники и рыбаки в Вырубах, повыродились добытчики и промысловики, только пашней да скотом жили, и на вот тебе: падеж, мор.

Прогневали отца-хранителя, задабривать надо. Жертвоприношение надо — голой молитвой не ублажишь.

Жертва, жертва, жертва... Все чаще повторялось это слово, и Амоска замечал: глядят при этом материны молельщицы на малого приемного брательника. Его не жалко, его сразу сбыть хотели.

Мокрида задумалась, ночь на коленях простояла, отбивая поклоны перед маленькой полустертой иконой.

Утром объявила:

— Тита безродного, святую неопятнанную душу господу богу угодно...

Пали вырубчане на колени перед Мокридой: потрафила мать-заступница, угодила. Кому охота свое дитя на огонь посылать!

Три дня и три ночи не давали есть малому Култышу, только водицы испить давали. Шили ему саван из домодельной холстины, крест самого мученика Агафона изготовили на шею мальчонки. Молилась Мокрида, косила глазом на Амоса. Потом позвала Амоса за баню, приказала, сунув сумку с харчами:

— Вверх по Онье, вверх по Онье до Изыбаша, к отцу. За ночь и день обернись, иначе...

На рассвете ударился плечом в тесовую дверь охотничьей избушки Амос, упал на замусоренный пол, отдышался, испил водицы и прохрипел всполошившемуся отцу:

— Брательника... — и показал на дотлевающие в печке поленья.

По чердакам и подпольям прятались от осатаневшего Фаефана вырубчане. Сама мать Мокрида боялась на глаза ему показаться. Побив посуду в доме и окна у соседей, Фаефан забрал с собой приемыша и снова уплыл в Изыбаш.

Тысячу поклонов наложила на себя Мокрида за мужнин грех и на Амоса сотню.

«А на меня-то за что?» — с обидой думал Амоска, исподлобья глядя глубокими глазами на мать, но перечить не стал. Перечить матери он еще боялся.

Так семья разбилась надвое.

Несподручно быть с малым человеком в лесу. Всюду за собой таскать его по тайге невозможно, одного в Изыбаше оставлять боязно. Однако быстро пообвык Култыш в новой жизни. Да и характера он был уединенного, раздумчивого, не по возрасту углубленного. Сядет на взгорок

по-над Оньей Култыш и сидит, бывало, часами, обняв колени. О чем он думал? Может быть, ни о чем. Просто сидел, просто дышал, впитывал хилой грудью животворные соки земные...

В вешнее разноцветье мальчишка заваливал всякой цветущей всячиной избушку. Придет в избушку Фаефан — на нарах цветы, на столе цветы, под матицей цветы и даже за ремешком фуражки и в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный в избушке такой, что с ног валит.

— Вот молодец, вот молодец! — дивясь ненадоедному, странному характеру приемыша, хвалил его Фаефан.

Однажды взял за руку Култыша Фаефан и отвел на лысоглавый угор, что яйцом выпростался из таежной шубы в устье Изыбаша. Здесь охотник показал мальчонке цветок с таким мохнатым и духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него.

— Стародуб! — непривычно мягко произнес Фаефан и рассказал приемышу о том, как в давние-давние годы появились в этих краях суровые, ни перед чем не гнущиеся, стойкие люди. Они пришли оттуда, где росли дубы, где росли яблони, груши, вишни и не было кедрачей и лиственниц. Они всему дали свои названия, и самый целебный и красивый цветок назвали в честь любимого дерева — дуба. Так цветок этот желтый и духмяный сделался постоянной, неумираемой памятью о родном, навсегда потерянном крае. Сменялись поколения, умирали люди, исчезли те, кто притеснял и кого притесняли за приверженность к старой вере, но каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том крае, который его родил.

С этого дня Култыш стал потихоньку бегать на угор, отыскивал стародубы и подолгу, не моргая, смотрел на них.

Так вот на природе, в охотничьей избушке, под суровым доглядом Фаефана рос Култыш, сызмальства перенимая все трудные охотничьи премудрости. А дома тянулся под потолок долговязый Амос. Был он костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми, чуть сонливыми, умиротворяющими. В глубине этих глаз таилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Отца Амос дичился, матери со скрипом покорялся, но при первой возможности делал все напоперек. Особенно презрительно, как-то издевательски спокойно относился он к устоям староверов. Никакая стихира не разжигала его, никакая молитва не трогала. Он тянул все эти устои, как лошадь воз, хотя и без понукания, но и без всякой охоты. Уставщика из сына не получалось — это Мокрида уже видела ясно. Он отлучился от матери, вроде бы невзлюбил ее и был чужой отцу. Он стал тихонько потягивать медовуху и покуривать табак у разгульной вдовы-солдатки, и Мокрида не выдержала. Она сказала Фаефану, когда тот явился в село:

— Ну, отец, пора тебе и о родном сыне вспомнить. Он кобелиться начинает. Возьми-ка ты его в дело...

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Амоса в дело, когда тому исполнилось девятнадцать лет. Охотились за маралами на солонцах. Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая бы требовала от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости в стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Амос и вроде бы из разговоров знал, *что и как*. Он даже помогал однажды таскать соль отцу и Култышу к речке Изыбашу.

Отец вбивал колья в землю на лесной кулижке, расшатывал их и в узкие лунки вливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли в этот самый Изыбаш. Амос не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже больше не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник вперемежку с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. Значит, ходит зверье, раз густо поет комар. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах несмело просачивался медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственно-приторного марьиного корня.

Амос надеялся, что отец с Култышом закурят и предложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Амос опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой-метли-

гой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или серой лиственницы — чтоб не белели. Впереди на неокорененных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берестой и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнуло ружье», — догадался Амос.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Амос подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул свое ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб: дескать, думать надо, соображать. Амос вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Вспыхнул Амос и отвернулся. Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально вглядевшись, Амос разобрался, что эта пленочка здесь неспроста, — она указывает направление ветра. Хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз — легонький, струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро! — отметил Амос. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Заныли, завеселились мокрецы. И только сейчас Амос уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Амос посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда и забрались комары.

Амос шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованное полоской света, проникающей через окошечко, видно остроносое суховатое лицо Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубки, которую, сколь помнил Амос, Култыш как засунул в рот еще в раннем детстве, да так с тех пор и не вынимал. Мать Мокрида била табашника по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой ревнительницы благочестивых устоев появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколил его отец!» — ухмыльнулся Амос и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком выпутывалась

из ячеистых облаков, то появляясь на секунду, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Шевелились штаны Амоса от мокреца, набившегося в дыру. Руки его облепили эти мелкие, но больно жалящие комарики. Они лезли в глаза и особенно в нос, каким-то образом проникая под накомарник.

С хмельным писком комары косо вылетали в отверстие, мелькали черными искорками в лунном свете и падали в бурьян. Но на смену им прилетали другие. Они деловито гудели и столбились возле отверстия.

Амос даже вспотел. «Скорей бы уж луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил: отец подает ему какие-то знаки. Долго не мог разобрать в темноте Амос, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Парень обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрещину в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Амос запоздало сунул руки в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как рыбина из липкой мережи. И все разом обозначилось перед глазами: головки цветов, куст калины в бурьяне, и все это, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немого, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздиха, не покинувшая своего гнезда даже при людях. Амос почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Амос увидел меж деревьев марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно давнул плечо сына: «Не смей стрелять! Рано».

Марал рванулся в сторону, затрещал кустами.

«Ушел!» — ахнул при себя Амос и боязливо соображал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Амос послушно перестал дышать, удивляясь, как отец делает все совершенно бесшумно, будто сова. Амос до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил. Он долго хоронился за стволами деревьев, за выворотнями и ветлами. Но вот он тихо, несмело двинулся к соленой землице.

Несколько раз выходил он на кулигу, затем с шумом бросался в лес и замирал там. Амоса колотило. Он уже не подсчитывал, сколько может отхватить деньжат за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости приготовляют такое зелье, попивши которого даже немощный старик в женихи годен делается. Очень хотелось Амосу попробовать этакого диковинного питья: вкусное, поди. Но сейчас ему было не до этого. В глазах туманилось, суставы одеревенели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли парня напропалую. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжко давит на виски. А марал все еще сторожился, хитрил. Вот он снова бросил тень рогов в лунную полосу и снова хватил в кусты. И тут Амос дико закричал, выпустив из себя воздух и бешенство:

— А-а, гад! — И грохнул из ружья.

Отец бил Амоса прямо в караулке, катая, будто трухлявый пень. Парень не оборонялся. Он только закрывал лицо руками. Фаефан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фаефан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Амос катился кубарем к речке и, хлюпая разбитым носом, вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собираясь пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Странное дело: ему стало легче. Парень даже радовался, что наступил конец этой пытке, и решил, что лучше уж

битым быть, чем сидеть закостенелым и чувствовать, как заживо съедает мокрец.

«Но Культя-то, Культя! — возмущался Амос. — Хоть бы шевельнулся! Я его от огня сберег, а он? А ежели б Каторжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отшились от мира-то, озверели!»

Амос остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес в речке темный, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знойким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И такая тишина, что оторопь берет. Иногда только прошуршит бессонный зверек, промышляющий по ночам, да где-то грызет дряхлое дерево короед-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Амосу: марал-пантач, недвижный Култыш, ругань отца, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то казался ему похожим на жижицу из пантов, хотя он никогда ее и не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека.

Амос зевнул, пощупал под деревом: не сыро ли? Прилег. Полежал, думая — прочитать молитву, как учила мать, или нет. И решил: не стоит, дома надоело. Он лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто он такой, этот бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его? Небось не пригнал быка на солонцы, только раздразнил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулак у Каторжанца ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь!» — погрозился Амос и, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул, по привычке занеся руку перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных!

Ни страха, ни робости Амос не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет повествовать матери обо всех ужасах, какие довелось ему пережить в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Амос на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье: на него он надеялся больше, чем на крест и молитву.

От холодка парень скоро проснулся, поводил глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы и пробовали свои голоса. Из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Амос внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко доводится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Амос похлопал себя по карманам: нет ли там куска хлеба?

Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши и, смачно похрустывая, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике, мелькнуло что-то темное и исчезло в дыроватой валежине, лежавшей поперек речки. Амос застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Амос опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленая мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболь!

— Будет выручка, — довольнехонько погладил Амос зверька и, насвистывая, пошел к Изыбашу.

Там уже дымил таганок. Отец с Култышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Во! Добыл!.. — с вызовом сказал Амос и бросил соболя к ногам отца.

Фаефан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, как показалось Амосу, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына.

— У-у, отродье! Соболюшку загубил! Она только осенью выкунеет, а сейчас у нее соболята. Осиротил, на мор обрек... Ух-ходи! Сегодня же уплывай домой! Ты враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— А ты друг, да? — тяжело усмехнулся Амос — Тайга, значит, только для тебя с Культей сотворена?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выстрел, взрыл землю у ног Амоса. С Фаефаном Кондратьевичем случился припадок. Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но охотника так подбрасывало, корежило, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Амос топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Амос, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну, чего разостраиваться-то из-за зверушки? — невнятно бормотал он. — Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги. И около хрестьянства дело найдется...

И в тот же день Амос отбыл в Вырубы.

Фаефан лежал на нарах слабый, разбитый и, проводив взглядом Амоса, горько сказал:

— Мокрида умница, а такого парня извела. Что из него теперь получится? Страшный человек может выйти, пострашнее всех двуперстников наших, потому как умен, бес!

— Зря ты его так-то, — сказал Култыш.

— Чего зря? — удивился Фаефан редкому возражению приемыша.

— Отпихнул от себя зря.

— А-а! Может быть, может быть, — задумчиво протянул Фаефан. — Но если уж привечать его, то раньше следовало, теперь он материн сын, только похитрей ее и посноровистей еще.

Так и не смог встать на ноги в этот раз охотник Фаефан. Старая болезнь долго корежила его и наконец доконала. Ночью с ним снова случился приступ. Фаефан Кондратьевич упал с нар, разбил затылок о половицы. Затащив отца на нары, Култыш сидел возле него и думал о том, что надо очень возненавидеть людей, вовсе отрешиться от них, чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью.

На рассвете Фаефан Кондратьевич открыл уже далекие, стынущие глаза.

— Все... Отходился Фаефан Кондратьевич, отмаялся... — С минуту помолчал, собираясь с силами. — Здесь похоронишь... Не желаю на кержацкое кладбище... Ты бойся их, бойсь... отродье... трусливое и злое... Бойся... В мир не ходи. Страшен мир наш...

Култыш выбрал место на взлобке увальчика, где сам часами сиживал в детстве. Видно с угора далеко-далеко. Весной здесь раньше, чем где-либо в округе, сходит снег и быстрей вылупаются стародубы. Разлив не достигает этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего один. Мать Мокрида, узнав о смерти Фаефана Кондратьевича и о воле его быть похороненным в лесу, сухо сказала:

— Оскоромился в миру, обмирщился и не захотел наше кладбище поганить. Благородной души человек был, да жизнь искорежила.

— Много ты понимаешь! — презрительно буркнул Амос. — Может, он сам не хотел о нас поганиться...

Мать Мокрида наложила за этакую дерзость сто поклонов на Амоса и сама ночь напролет стояла на молитве, желая, чтобы пухом земля была лихому человеку и мученику Фаефану.



Култыша жители Вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнце — и нет его: пропал.

Только не взяли жители деревни в расчет того, что после такого снежка озимь в поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливее, полет птиц стремительней, и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, угасло, умерло.

Железо калит огонь, человека — беда. В беду сразу становится видно, кто куда и на что годен. Беда приходит без спроса, сама распахивает ворота, и готов ли, не готов ли — принимай ее или не пускай, борись.

Беда без спроса пришла в Вырубы. Большая беда, самая страшная — голод. Он перещупал людей. Как они? Кто из них стоек? Кто нет? Кто куда гож? Голод, как война, выявляет сильных и слабых. Побеждают его только сильные. Появился в селе старый киргиз с внучонком. Первый вестник голода. Первый ворон.

Старик был сморщен, будто прихваченный морозом гриб. На черной голове у него синеватые пятна, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора, стаскивал лохматую шапку и, приложив ладонь

к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. А малый диковато смотрел раскосыми глазами и молчал. Люди в страхе задвигали толстыми жердями — бастригáми — ворота, кышкали на киргиза, гнали его от ворот, как нечистую силу.

Старый киргиз с мальчишкой протащился из конца в конец деревни, постоял на росстани дорог, долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеколдой и царапался в доски, как приблудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачом, он держал мертвого мальчика и, раскачиваясь всем корпусом, напевал что-то тягучее и заунывное.

Никто не решался потревожить старика.

Какая-то сострадательная хозяйка наконец бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и надо, мол, его схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились — почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль: «А-а-а-а... А-а-ай!» И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Вырубов.

Шли дни.

Тощий киргиз, как неприкаянный, бродил по деревне, рылся в отбросных кучах, грыз какие-то кости и коренья, а ночами жутко кричал за околицей.

Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова пробирался к могиле внучонка.

Между тем второгодичная засуха снова почти доконала посевы на полях, пашнях и в огородах, и голод гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. Нынче замели вырубчане по сусекам последние зерна на посевы, картошку резали на части и садили, думали: не обойдет господь милостью — уродит из этих крох пропитанье. Ан снова гневом откликнулся господь батюшка, снова изжег землю и труды людские.

В лесах начались пожары. Птица, зверь, все живое в панике бежало из тайги. Иной раз по Онье проплывали вздутые, протухлые трупы лосей, коз, маралов. Одного лося кинуло на камень в шивере, и он стоял дыбом, открыв рот в безгласном реве. Потом его уронило и долго таскало по заводи вместе с обгорелыми колодинами.

При старанье да уменье еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но вывелись добытчики в Вырубах, выродилась в них сметка, мужество и выносливость — осталась удушливая, как сажа, вера, черная злоба да трусость. Боялись всего: тайги, в особенности пожаров таежных, окапывали от них рвом деревню и каждый двор канавой обходили. Но больше всего боялись гнева господнего и семьями валились на колени, умаливали его скопом и в одиночку, пели старинные, длиннущие стихиры, читали мудрые книги отцов и праотцов, блюстителей божьих порядков — ничего не помогло. Голод давил людей, как тараканов, оставляя на земле черные пятна могил.

Ночами, и особенно в глухие вечера, в деревне становилось душно. Сажа тучами накатывала на деревню из тайги, слоем ложилась на крышах, липла на окнах и ликах икон, застила солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кержаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла двухлетняя девочка, обвинили азиата в сглазе, увели за околицу.

Вовсе примолкла деревня, притаилась. Каждая семья теперь жила сама по себе, каждая боролась с напастью в своем дворе, в своей избе. Сначала люди ходили на кладбище провожать соседей, молились по привычке, читали стихиры, а потом уже хоронили всяк своих, без обрядов и обязательных ритуалов, а порой и без домовин.

В один из душных вечеров, когда над деревней колыхалось марево и солнце, словно бы закутанное в мелкую красно-

ватую шерсть, садилось за горы, в Вырубах появился Култыш. Был он уже в больших годах, но, однако, еще крепок в кости, подвижен, лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых свалявшихся волос.

Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, подтянул свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную суму взял в руку и побрел в деревню.

Рыжели переулки опаленной травкой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась до ярости стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Култыша девочка с одним ведерком по воду, глянула на него болезненно-вялыми глазами и ничего не сказала: ни здравствуй, ни прощай.

Сердце у Култыша сжалось. Навалилась на Вырубы напасть и не покидает. Редкостная злая засуха второй год приходит в эти края. Первое лето вырубчане продержались. У кого запас был, кому соседи помогли, некоторые семьи выручал Култыш, давал мяса, рыбы, а нынче уже и помогать друг другу нечем, и в лесах безголосье: вымерло, выгорело все живое в лесах.

С весны занедужил Култыш ревматизмом, болезнь не выпускала его из избушки. Сам питался солониной да черемшой, ничего не привез с собой, а его небось ждут не с пустыми руками.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала в чьем доме скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст и рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не надо было, кроме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен и удобен сделался Култыш, что старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганых», и привечали его наперебой в любом доме, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

Култыш постоял, постоял у широченных тугих ворот крючковатого мужика Урина, перекупщика пушнины и

пантов, и несмело взялся за вензелем согнутое кольцо калитки. Позвякал. И тут же отдернул руку. Обожгло. Кольцо будто из горна вынуто. С минуту подождал и забренчал встревоженно, торопливо. Из дома раздался дряблый кашель, а потом крик Урина:

— Пошел, пошел, поганай! Зарублю!

Култыш очумело уставился на ворота.

— Ты что, Ионыч? — робко спросил он, но Урин, должно быть, не расслышал голоса охотника и не откликнулся. А Култыш больше не решился стучать.

Он устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельно-серой. Тихие, неприветливые избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребятишки гоняют коней к реке, купать и поить, а бабы поливают огороды. Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся, размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник и не слышен вслед за ним утомленный бабий голос: «Да стой ты, одёр!» Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

«Без добычи я им не нужен, сами зубы едят».

Взял Култыш кожаную, пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады, к дому своего покойного отца Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало. Но нынче в огороде этом, особенно за баней, зеленела островом густая трава, ершилась крапива вперемежку с конопляником и не ко времени засияли ярким, нахальным цветом дикие мальвы. Култыш перелез через огород, подошел к бане, сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водой порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Амос. Женился он еще при жизни матери и оттер Мокриду в сторону от хозяйства, поразогнал всех кликуш и странниц, коих та вечно пригревала да прикармливала. Амос дармоедов и пустопорожних людей

терпеть не мог, вёл хозяйство толково, исправно и за это почитался в деревне. Глава схода — старшина наметил его на свое место: дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если Култышу случалось по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Амос не прогонял его, но и приветных слов не говаривал. Никогда они не были особенно близки друг с другом и не чувствовали себя сродственными, а после той памятной охоты на марала вовсе разошлись они. И когда умер Фаефан Кондратьевич, порвалась вроде бы последняя нитка, связывающая их.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровненького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Амоса. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых застоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдя, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Что-то долго не появлялся? Мы уж думали — помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости, подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, с весны в Изыбаше валялся. Вот отдышался, дай, думаю, на люди покажусь, ан не пущают... — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, и ровно на голос его нищие повалили. Вот все наши благочестивые и заперлись. — Клавдия помолчала и прибавила: — Мрут нищие и благочестивые тоже. Никого не щадит голод.

— Экая ведь беда! Никто не гадал, не чаял, — сокрушенно покачал головой Култыш и виновато развел руками: — И я вот явился с пустой сумой, занедужил...

— Всех не обогреешь, не накормишь один-то...

Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хворого навалилась, страсть.

Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде бы где-то есть еще, схожу.

— Да ладно, ладно, обойдусь! Загундосит сам-от.

— Погундосит и перестанет, — спокойно уронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначились острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые, отливистые, как орех, волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул, зажмурился и сидел неподвижно, наваляясь на дверной банный косяк.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Амос под крылом у лютой староверки, но часть фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким поперёшным, что даже властная мать Мокрида не могла ему укорот сотворить. Так, наперекор матери, взял Амос и женился не на той невесте, которую нарекли ему, а на девушке из семьи сапожника Трохи. Из бедной, многочисленной и самой непутной, по мнению староверов, семьи, нуждой загнанной в Сибирь все из той же Расеи.

Вполне возможно, что и еще кому-то хотел досадить Амос, вполне возможно...

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к компанейскому мужику Трохе, слушать его сыпучую небывальщину, сдобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово[1] — не деревня. Я вам хоть что делать стану: сумы таскать, похлебку варить, обутки опять же догляжу...

— Куда тебе? У тебя рукомесло и семья.

Однажды Троха в шутку, а может, и всерьез, бухнул

*

[1] Улово — водоворот, круговое течение на быстрых реках.

Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Дочь моя. Начнет Култыш жениться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка камень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошли по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется — откуда сила: чертоломит так, что Фаефан Кондратьевич за ним, бывало, не угонится. Пятьдесят верст для парня стали не околица. Чуть чего, норовит в деревню сбегать, хоть на дом Трохи поглядит, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один почему-то уже стеснялся.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал, затоскует без него отец.

Зима прошла.

Длинной она показалась Култышу в одиночестве, без отца.

Но вот с мягким шорохом повалилась кухта с деревьев, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. И вытаяло окошко, и глянула избушка на свет белый глазом, одним своим глазом и поймала им солнце. Распахнул настежь двери Култыш, и одуряющий, переполненный соками нарождающейся весны воздух потеснил из избушки застоявшийся угар.

Пришел конец зимней охоте. Завеснило в тайге. Завеснило и на душе молодого охотника. Вот уже и лед на Онье отъело от берегов, наступили весенние распары и покатились, понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича и сразу проткнулась, взялась на ней и засветилась зеленая травка. И думал Култыш: это скрытая от людей, душа родного человека оттаивала и прорастала травою.

Потерял Култыш сон. Отчего — и сам не знает. Нет ему покоя. Выбежит ночью из избушки, ринется в лес, проваливаясь в рыхлом снегу, без одежды бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, — ищет успокоения и не находит. Даже в лесу не находит.

Как-то пробродив до самого утра, Култыш и понял, все понял и заорал на весь лес:

— Клавдия! Я приду! Я скоро! Погоди до стародубов!

По годам, по виду Култыш — мужик, а остался все тем же вроде не от мира сего парнишкой. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с цветками стародубами. Они зацветают вслед за подснежниками и медуницами — эти ярко-желтые, с горящими углями в середине цветы. И чем больше они сохнут, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы появлялись прежде всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на царственно пышные всходы. Зажали они в тугой зеленой щепоти цветок и не выпускали. Подгонял их Култыш: «Ну, быстрее, быстрее!» Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и дышал, дышал на каждый стебелек.

А весна все размашистей шагала по тайге. Гнала друг за другом удалые, недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам, одурманила хмельным воздухом, перепоила всех допьяна.

Набух, вспучился, посерел лед на Онье.

И в тот день, когда вспыхнул на угоре и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и сломалась река.

Схватил Култыш стародуб и понес его своей невесте под рубахой, а за плечами мешок, полный соболиных, беличьих и куньих шкурок. Всю завалит, с ног до головы свою невесту мехами Култыш, а в волосы ей вплетет он солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — тайга женит своего сына!

Амос не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно неспокойный день, когда Онья, всю зиму копившая силу подо льдом, со скрежетом и гулом раскалывала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубах началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в клочья порвал свадебную нудь, сдул ладанный угар, смешанный с запахом медовухи-опьянительницы:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стола. Все высыпали на берег.

Насупился Амос.

Побледнела Клавдия. Прижала кулаки к груди, будто боялась: выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. На широкой белой заплате среди реки темнела одинокая фигурка. И льдину и фигурку кружило, волокло в каменный шивер. Побежала Клавдия к реке, забыла подобрать подол длинного платья, наступила на него. Хрясь! Со скрежетом лопнула холстина.

— Куда торопишься? Зря!

Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А человек на реке все шел и шел неустрашимо вперед — грудью на Онью, на людей, на эту богом забытую деревушку.

Человека отнюсило. Он перебирал ногами, как горячий, нетерпеливый конь, ждал подходящую льдину. А она неслась кругами, точно огромное блюдо, смалывала в крошку острые края, рубила клыки встречными льдинами. Вот сунулась, как утюг, в нее узкая, что щука, льдина, вперлась между пластинами — и к человеку. Взвился он на жерди, мелькнул в воздухе и сразу же на следующую глыбу, прошитую капелью.

Еще прыжок, еще! Ближе берег. Деревня ближе. Дальше ревущий шивер. Совсем рядом тихое улово. Льдина, другая, третья! Сорвался. Упал.

— Ах, оглашенный, утоп!

Но человек возник снова и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Но человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река ревела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались, исчезали кипящие полыньи, звонкими веретенцами рассыпались льдины, и все время метались по реке черные молнии, распластывали их, рвали в клочья. Сошлись две льдины в шивере, вздыбились на камне, уткнулись тупыми лбами. Выше, выше, выше встают они, яростные, в последней смертной схватке. И на мгновение замерло все кругом, приостановилось, и от затора, запечатанного на шивере двумя льдинами, волной покатилась на берег вода.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с этакой силищей: мураш.

Но грохнулись льдины, разбились в звонкие дребезги опала, снова пошла замершая было река, дала простор глазу — и все увидели его.

Он боролся. Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискосок — в понизовье.

Понял, видно: не взять грудью Онью-реку.

Охнул, засуетился онемевший было народ на берегу.

— Назад вертайся! — кричали ему.

— Сгинешь!

— Хоть мешок-то кинь! — махали рукой, показывали: — Мешок-то! Э-эх, не слышит!..

— Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек и снова рванулся вперед, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Подбежали люди, подняли: Культя!

Глаза его горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, во весь рот смеется.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоявшись, потому, стало быть, смеется.

Тронутому что, тронутому все потеха.

Но вдруг перестал смеяться парень, глаза его потухли, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье прибежала, остановилась, не зная, что сказать. Рядом пристроился Амос и уронил, как булыжник в воду:

— Что, проздравить нас торопился? Дуй!

Култыш вынул из-под рубахи мятый, но все еще светящийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смешок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Разве только покойникам, да и те из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на толпу, ждущую потехи, и сжал кулаки:

— Слякоть! Слякоть! Слякоть! Слякоть!..

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, опустив безвольные руки, но у самой воды снова вскрикнул, как раненый, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходил человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь Троха-сапожник порывался бежать вслед за Култышом. Но его схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал, как баба, навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была намного моложе Амоса, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то дерзким вызовом. Староверы не любят такого взгляда. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала. Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Мокрида привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере.

Амос вывернулся из ее рук — она невестку подмяла. Любила Клавдия, как и ее разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее приструнили, стали отучать от таких зряшных занятий. Молиться с лестовкой в руке утром и вечером, перед сном и после сна, перед едой и после еды.

— Неужто так вот всю жизнь? — пробовала жаловаться Клавдия Амосу.

Он ухмылялся

— Ничего. И по-нашему жить попробуй, в строгости. Вера наша прямым человека делает, как кол. Бей обухом по нему, в землю вколачивай — молчит. Молчи и ты. Терпи. Я вон сколько лет терпел. Не тебе чета — мужик все же.

В бедной, безалаберной семье Клавдии никогда не было такого унылого гнета.

Иной раз Клавдия, крадучись, пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому — Изотке, который лез под руки, или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окна летели сапоги, ичиги, опорки:

— Нате... Сами починяйте! Заели жизнь мою и дочернюю, зипунщики мохнорылые, под горшок стриженныя-а-а...

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому по-

селенцу, с высокомерной снисходительностью. Тем более что Троха даже иноверцем не был. Он никак не молился. Словом, вовсе бросовый человечишка, ведь безверный, что беспорточный, весь в наготе. Однажды мужики взялись было учить Троху кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству». Больно уж он срамил всех накануне, терпежу не стало. Но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и не разбегись они, пожалуй, кое-кто и несдобровал бы.

Что только сотворилось с бабой! Неслыханное дело — на мужиков пошла!

Дико́й прозвали с тех пор Клавдию кержаки, утверждали, будто тронулась она, и не раз интересовались, как это Амос до сих пор цел и невредим. Он показывал костлявый кулак:

— Вот он, бабий ундер!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дико́й» и никогда не смел ее даже пальцем тронуть.

Будто в отместку кому, Клавдия привечала охотника Култыша и всем давала понять, что был он и остался близкой родней. Амос ревновато следил за ними, но виду не показывал, маскировался ехидными насмешками.

А Култыша, как он ни противился, влекло туда, где жила Клавдия. Себе же он объяснял это тем, что в нем жила неистребимая любовь к памяти отца. Но была, конечно же, была и другая причина. И чем больше тянуло его в этот дом, тем реже он появлялся в селе. А если и появлялся, то стороной обходил родное подворье, выпрашивался ночевать к другим хозяевам, чаще всего спал у Ионыча, у перекупщика.

Не пустил сегодня Ионыч. Переломить себя пришлось. И вот теперь он снова здесь и снова говорил с Клавдией. Амос узнает, будет подковыривать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, и не будет? Годы ведь многие прошли. Амос сохранился лучше Култыша. Но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Амос. За ним Клавдия. Сделался Амос еще суше и ровно бы в росте подался. Седина обметала голову Амоса, как хрупкий ледяной припай темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови козырьком сунулись к переносью. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко давнул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу не идешь? — спросил Амос, протягивая Култышу кисет. «Поперёшный» Амос курил, ел пряженики, коржики, стряпанные на дрожжах, и даже пил самогон и бражку с хмелем, что у староверов считалось одним из самых злых грехов.

— Да так вот, дошел до баньки и сижу вот, — забормотал Култыш.

Амос кинул на Култыша косой взгляд, облизал бумажку:

— Ладно уж городить-то! Ступай в избу, чай, не чужая.

Култыш засуетился, отыскивая суму.

— Я принесу, принесу, — обрадованно замахала рукой Клавдия.

— У меня там гостинец ребятишкам — черемши соленой туесок.

— Им бы мяса, — сумрачно выдохнул Амос, — вовсе отощали...

— Нету мяса. Хворал я, — начал оправдываться Култыш.

— Ушел зверь из лесу? — спросил Амос, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный перекочевал. Увечные звери да коровы с телятами еще кое-где остались. На солонцы одна ходит.

Брови Амоса шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей небось больше, чем овчины?

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, сделаешь...

Ночью Култыш исчез.

Пошла Клавдия утром на сеновал будить его и не обнаружила. Даже сено примятое Култыш завернул козырьком и сунул к стене. Ни ружья, ни сумы в сене не было.

— Форменный нечистый дух! Свалится — не поймешь откудова, и сгинет невесть куда, — развела руками Клавдия.

— Зря ты его поносишь вонючим словом, — ухмыльнулся Амос, сидевший на крыльце. — Ангел он непорочный, и крылышки у него под вшивой шубой снежные,

лебединые. Улетел он на этих крылышках ангельских заповеди исполнять.

— Паясник старый, чего мелешь? Сказывал он тебе, куда наладился?

— Где же он скажет! От меня он на пудовый замок душу запер и ключ в Онью кинул.

— Слабый он еще после болезни и тощий — пропадет в тайге.

— Н-ну, пропадет! Скорее мы здесь пропадем.

— В пустой тайге хоть кому гибель.

— Тайга, она тоже для кого мачеха, а для кого и мать родная. Для одних пуста, для других густа. Завтра или послезавтра явится беспалый ангел, помяни мое слово, — заключил Амос, почесывая мослатую грудь, — и не с пустой сумой...

Култыш приплыл на другой день под вечер. Посреди лодки, накрытая березовым корьем, была сложена крупно разрубленная туша лося. В кормовом отсеке лодки плескалась бурая от крови вода. Пока Култыш отчерпывал воду деревянным ковшиком, на берег сбежались мужики, а за ними бабы и ребятишки. Молча и выжидательно толпились они возле лодки. Култыш окинул взглядом темных от голода, как бы осевших к земле кержаков с проваленными, тускло светящимися глазами. Перевел взгляд на яр. Все так же ершился крапивой яр, и на выступе стояла все та же черная баня, только углы у нее местами отгнили и отвалились. По этому яру когда-то бежал маленький человечишка, хватаясь за землю, за крапиву, наступая на полотенце, на желтое от табачной пересыпки полотенце, которое яркими петухами испятнала кровь.

— Трофим Матвеевич здесь? — тихо спросил Култыш.

— Троха, а Троха! Тебя! Култыш тебя требует! — эхом прокатилось по берегу, и вперед несмело просунулся босой, кривоногий Троха и смущенно подергал себя за нос все еще полосатыми от дратвы пальцами, хотя он давно уже ничего и не чинил и не шил.

— Топор принеси, Трофим Матвеевич. — При людях Култыш упорно навеличивал Троху, чем приводил его в крайний конфуз.

— Топор, топор принесите! — снова колыхнулось по берегу эхом.

— Есть, есть топор, вот он! — И вот уже из рук в руки пошел топор, и двое обессиленных мужиков услужливо катили к лодке чурбак.

Култыш скинул на воду корье, и дрогнули лица людей на берегу, затрепетали ноздри. В лодке горой лежало мясо! Ребятишки кинулись в воду, вылавливали корье и принимались слизывать с него сукровицу. Никто на них не цыкнул. Все смотрели на мясо и нетерпеливо переступали, готовые кинуться, разорвать, растащить, расхватать эти розовые куски, сулящие силу, а значит, и жизнь хоть ненадолго.

Но голод сделал людей покорными. Они ждали.

Култыш неторопливо выколотил трубку о борт лодки, еще раз исподлобья глянул на кержаков и положил на чурку переднюю лопатку сохатого. Она весила пуда полтора. Он прицелился топором, чтобы раздвоить лопатку повдоль, уже замахнулся было и внезапно опустил топор.

— Бери, Трофим Матвеевич!

Троха не двинулся с места. Он стоял как вкопанный.

— Бери, говорю, — повторил громче Култыш. — Все бери!

— Куда же эстолько? — залепетал вконец растерявшийся Троха. — Хоть фунта три-четыре. И на том за милость вашу бога молить...

И то, что жалок был Троха, и слова говорил такие жалкие, и как к уездному начальству обращался на *вы*, вывело из себя Култыша. Он схватил грузную лопатку, хряснул ее на плечо Трохи так, что тот присел под тяжестью.

— Убирайся!

Троха послушно засеменил вверх по яру. Он раскорячивался от груза, хватался рукой за крапиву, но мясо держал крепко.

— Повезло! — выдохнул кто-то.

Со свирепостью рубил Култыш лосиную тушу. Не рубил, а прямо-таки крушил и, сунув мясо в протянутые руки, задышливо кричал, будто от себя рвал куски:

— На! Убирайся! Н-на! Убирайся! Н-на! Убирайся!

И вот он остался один на берегу. Помыл руки, вынул трубку, сел на борт лодки. В деревне сплошь задымили трубы. Руки Култыша дрожали.

Амос и Клавдия на берегу не появлялись. Култыш завалил губастую голову лося в мешок, сложил, как поленья, в беремя лосиные ноги с травинками в раскопытье и устало побрел к дому Амоса.

Пряча злую усмешку, Амос глянул на приношение Култыша и пророкотал:

— Что ж, для голодных зубов и кость благо! Баба, топи баню, охотник с промыслу вернулся.

И больше не сказал ничего. Култыш виновато опустил голову.

После бани непривычно чистый, причесанный Култыш сидел за столом. Возле него ребятишки-племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветные. У матери его когда-то были такие же. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай! В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем...

Прислонилась спиной к шестку Клавдия, загорюнилась, вспомнив что-то.

Амос сумрачно крякнул и выдворил сынов сначала из-за стола, а затем жестом приказал им выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В новой сатиновой рубахе, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Амоса, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе.

Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Амос радушно подливал ему.

— Дак чего ж ты сохатого завалил, а корову оставил? — между делом полюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее — подрастет пусть, на жительство определится, — обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая...

Култыш часто замигал веками, и Амос только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится...

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего...

Амос придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березового корня. Култыш выплеснул самогон в рот, сморщился, отыскивая глазами закуску. Амос резко сунул ему чашку с головизной. Култыш обошел чашку рукой и зацепил щепоткой капусты.

— Чего убоину-то не ешь? Твоя.

Култыш поперхнулся, прожевал капусту и сумрачно молвил:

— Не могу. Против воли сохатого добыл. Не могу.

— Это как понимать?

Култыш задумался, потупил взгляд, сник весь.

— Нет горше дела, чем добивать.

— Смотря кого.

— Хоть кого. Слабого только слабый бьет.

— Ха, ей-богу, слушать тошно! Будто он всю жизнь овсяным киселем питался, — взъелся Амос.

— Но ослабелого зверя не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил...

— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне заливать не след...

— Не бивал! — стукнул кулаком Култыш. — И этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал. Ушибло, опалило его. Но он бы выжил. А я его... Он ведь там у рассола и лежал. На пять сажен подпустил. Доверился. А я его...

Култыш скрипнул зубами. Амос сочувственно покачал головой, принялся сокрушаться:

— Господи-святы! Ничего не пойму! Тот человека укокошил, а этому елейную блажь в голову вогнал. Дурак он был! И ты дурак! Простофиля и дурак! — снова вспылил Амос и заорал на всю избу: — А тебя, тебя пожалеют? Ты им мясцо роздал, душу свою бабью истерзал. А попади в огонь, они тебя выгонят к рассолу? Они тебя дальше, в пекло, в пекло загонят. Хотели уж одинова, растяпа ты, ничего не знаешь. Любят кержаки, когда люди на огне жарятся. Ране сами себя жгли, а теперь оскудодушели. Теперь они других на уголья. А ты им мяса! Давай! Вали! Ангел с крыльями! Когда гореть будешь, они этими крыльями жар под тебя подгребут. Со святыми упокой скажут, со святыми упокой!..

Совсем прибил к столу Култыша Амос, совсем расшиб его словами этими. Клавдия врезалась в разговор:

— Ну, будет, будет, чего взбесился? Чего напустился на человека? Ему и без того тошно. Не тебе о его душе пекчись. Выпивайте уж лучше да ладом говорите. А то вы, как вода с огнем. Сойдетесь раз в году и ну кипеть. Родные все-таки, хоть по дому, да родные.

Амос утих, покашлял, достал корчагу с самогоном из-под стола, налил, подвинул пальцем посудину Култышу:

— Напейся уж, что ли? Может, полегчает. Уродил бог чуду. Пей!

Култыш опять одним махом выплеснул в рот самогон. Амос повел разговор ладом.

— Так говоришь, корова-то все-таки осталась?

— Куда она с ребятенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой: дескать, хватит про это, и попытался затянуть песню. Захмелел охотник. Голос его дрожал и чуть сипел:

Тю-рима, тю-рима, какое слово!
Гля все-ех позо-орно и страшно-о.
А гля-а-а меня совсем друго-ойе,
Пр-ривык к тю-риме давным-давно...

— Тяти-покойника любимая... — затряс головой Култыш, роняя частые слезы, — Фаефана Кондратьевича... Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому Култышу, заторопилась Клавдия. — Бродни ему мой тятя всегда чинил. Гуляли они вместе. Самондравный был человек, но добрый. Мне одинова зайчонка приволок... Как живого вижу... Ты бы закусывал, хоть капуской, раз уж сохатина тебе не к душе...

— Отец-то твой горюн, посмотрел я давеча на него...

— А-а, — тряхнула горестно головой Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И, что-то сообразив, Амос быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Хозяин хлюпнул носом: — За тятю, Фаефана Кондратьевича, царствие ему небесное...

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся охотник.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Амос с прежней настойчивостью повернул разговор на охоту, на зверя. А Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге. Мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневали матушку-кормилицу...

— Ну, мор! Закаркал, едрена мать! — сердился Амос. — Сохатого свалил, еще корова ходит, а он — мо-ор, мо-ор!

Добыл бы ее да не раздавал попусту, с деньгами был бы. Побаловал кержаков сохатинкой — и будя. Пусть тряхнут кошельком, а то обсевком голым и сдохнешь...

Култыш, взбычившись, глянул на хозяина. Амос тоже уставился в упор, будто на мушку взял.

— Ведь врешь, брешешь про корову! Толкуешь, что даже в Изыбаше пичуги малой не осталось... А уж коли в Изыбаше нет...

— Ах, Амос, Амос! Да разве один Изыбаш в тайге? Разве, окромя его, нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь... Э-э, не знаш ты, чужая тайга...

— Ты много знаш! Врать только! В Медвежей пади все выгорело. А Курушка? Чего на твоей Курушке осталось?

— Да ничего почти что. Харюз только в речке, — подтвердил Култыш.

— Да и Серебрянка уж отсеребрилась, кладовка-то ваша опустела, и мышей даже нету — мужики сказывали.

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы! Сказывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе усмехнулся Амос.

Култыш подозрительно уставился на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну, ну, не беленись! Давай еще хлебни да закусывай хоть капустой. Свалишься с копытов долой... — заторопился Амос.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив под голову кулаки, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

Тю-рима, тю-рима, ка-а-акое слово...

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, плакал, называя его благодетелем и прочими хорошими словами.

Амос поднялся из-за стола почти трезвый, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек.

Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей! Подожди Култыша, согласуйся, воровски не смей! Таежный закон забыл?!

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Амос и с силой отстранил ее.

*

Амос спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Онье так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей Вырубов. Старая, еще заведенная при отце привычка сгодилась. В семьях охотников всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получились ли у стряпки неудачи, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — все на сухари. На полатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со щами ели ребятишки, да если Култыш забредал, Клавдия насыпала сухарей в его суму или нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Амос глядел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит.

Нет, не умрет Амос с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется. Месяц-другой протянут жители Вырубов и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти как наросло, но все же зелень — еда. Ну, а за эти два месяца многие перемрут, ой, многие.

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Амос и подивился на себя. Вот опять бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Амос доверял больше. Еще с детства он твердо уразумел, что бог-то он бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Амос ритуалы и правила староверов, но на самом деле оставался к ним совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что бог подаст, — и мрут, как мухи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят: по-божьи или нет сделал Амос, сходивши воровски на чужие солонцы.

Что же касаемо Култыша, так его в расчет брать не стоит. Для него бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли, — миром создается и держится миром.

Амос равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед.

Отощалая Онья бестолково билась на перекатах, урчала в шиверах, гремела на порогах. По крутым берегам ее неподвижно стоял березник со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны и те порыжели. Солнце беспощадное, вовсе не сибирское солнце сжигало все, высасывало из скудной скалистой почвы последние соки. По узеньким берегам-бечевкам торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сено нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, совсем обнищает деревня.

С радостью вспомнил Амос, как он мало-помалу подкашивал да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче, как тесто на опаре, поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор понесло гарью. Амос поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное, немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоска. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к речке, потоптался возле нее, зашипел, забегал вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине или веточкой, подхваченной ветром, перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь трупелые валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц. Амос выловил из воды копалуху — глухарку и тут же отбросил. Она уже протухла. Подумав, он все же подобрал птицу, зажарил на углях и, преодолевая отвращение, жевал, жевал, стараясь думать о чем-нибудь другом. Вдруг скривился, вырыгнул на ладонь вонючую кашицу и шлепнул ее о камни.

— Себя омманешь, а брюхо нет, — проворчал он и размочил в воде сухарь.

После этой остановки всю ночь шел на шесте, задыхаясь и слабея, однако к утру миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Амосу и остановить его. Но пожары уже объединились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из непроходимой гущи, разъединялась на камне и двумя прозрачными крылами слетала в Онью.

Амос затащил лодку в кусты, забросал ее ветками. Отаборившись, согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго, беспокойно. Проснулся в поту и, лежа на животе, долго, с захлебом пил студеную воду из Серебрянки.

Палило солнце. Амос озабоченно потянул носом. Запах гари едва был слышен. Захотел было почесать Амос спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топоришко за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстием у груди.

— Благословясь. — И шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными вениками.

Там и сям перепоясывали речку черные ремни отбушевавших пожаров. Подлесок обуглился, вершины ольховника и черемушника были траурно темны. Однако половина их еще жила — у комлей, возле воды топорщилась листва. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу.

Мертво.

Лишь голос беззаботной Серебрянки звучал неугомонно, да одиноко, и оттого совсем тоскливо ныли квелые от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они ударялись в разопревшую шею Амоса.

— Ах, нечистая сила! На тебя и мору нет! — сквозь зубы ругаясь, шлепал себя по шее Амос и швырял горсти битого гнуса в воду. Голос человека гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину, поэтому он и старался говорить и меньше и как можно тише.

Будто осенью, с шорохом опадали листья. Ягодники в лесу посохли. Даже смородинник в речке и тот опустил

водолюбивые листья. Ягоды на нем почернели раньше времени. Амос срывал мелкую смородину, давил ее языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался:

— Вот напасть так напасть! Ягода и та зачичеревела! Этакой страсти не упомню...

Часто попадались змеи. Амос сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с наростом чаги и бил, как дубинкой, гадов, люто матюкаясь, точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушилось на родной край.

Далеко за полдень Амос неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел было мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, и он вернулся, обследовал деревце. Вершинка его указывала в верховья речки. Прошел саженей двести, опять сломленное деревце, и опять рябинка.

— А-а, Культя двупалая, твоя работа! — громко, точно встретив попутчика, воскликнул Амос, утомленный тишиной и одиночеством.

Рябинка — деревце хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить на ходу. Своя метка, свой указатель — рябинки же всегда надламывал и отец Фаефан Кондратьевич. Это Амос хорошо запомнил из разговоров. Он-таки сумел многое на ус намотать из этих разговоров. Пусть следов человечьих здесь нет, одни только рябинки, вроде бы ветром или зверем сломленные, а он твердо знает: солонцы скоро!

Но до солонцов оказалось добраться не так-то просто. Серебрянка в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает, зовет картавеньким говорком идти по галечному бережку или по еланям и кулигам, примкнувшим к ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами, речка пульсирует судорожно, как синяя жилка. Булыжник, плитняк, ослизлый от сырого зеленого мха, сплошь завалил ее. Слоистые бока скал нависали над речкой так низко, что в иных местах Амос пробирался под ними ползком и уже всерьез крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жоганет.

Метки Култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих гиблых мест. Да и рябинника не было. В ущелье рос только бесплодный боярышник с острыми шильцами, ранящими лицо; гнезда марьиных кореньев да развалистые ветви молитвенно-тихих папоротников. Если бы Амос знал таежные приметы, он не опасался бы

змей в этих местах. Там, где растут марьины коренья, или, как их еще называют, лесные пионы, змеи не водятся.

«И до чего же народ легковерный! — злился Амос, утирая расцарапанное в кровь лицо. — Из полена бога ему сделают и подсунут — за настоящего примет; на медной пластинке тыкву с глазами изобразят и скажут: «Мать-богородица» — поверит; увидит речку, снаружи веселую, — Серебрянкой назовет. А какая она, к лешему, Серебрянка?! Лихоманка! Вот как пристало бы ей зваться!»

Наконец речка разъединилась, и Амос остановился на развилке, удрученно соображая: куда же идти? Ущелье волнами отвалило на стороны. Углом возвышался лесистый косогор, не тронутый пожаром. Присел на камень Амос, облил себя водой из котелка, гулко екая кадыком, точно конь селезенкой, напился. Спрятал котелок, задумался. Потом разулся, перемотал запотелые портянки, поднялся.

Тяга воздуха в ущелье, ровно в трубу. Лесок подходящий для солонцов. На Изыбаш похоже! «Здесь, здесь должны быть солонцы!» — металось в голове Амоса. Послюнявил палец, подставил — точно, как он и думал, тянет с косогора.

Неожиданно на гладком, будто отполированном стволе молодой пихты Амос увидел заплывшую белой смолой царапину. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. «Ох, не случайная эта царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно: или медведь когти точил, или Култыш метку сделал».

Отошел Амос шагов десяток — опять царапина, примерно на том же расстоянии от земли. Прикинул по росту Култыша — точно: метка! Заторопился Амос, но ступал как можно осторожней, предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы.

И он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и запуталась где-то в густом, забуреломленном лесу. С косогора, начавшегося в развилке, виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце. И там же маячит дерево со сломленной вершиной. Совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, посолена земля. Звери или один зверь — Амос не мог определить — недавно стали ходить сюда.

Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще невелика.

Амос не стал приближаться к ямке. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не обнаружил. Тогда он поднял голову, предполагая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз, но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык.

Прислонив ружье к огромной сухой осине — из таких в Сибири делают лодки-долбленки, — Амос сел, пытаясь докумекать, где подкарауливал зверя Култыш. Не сидел же он посредь поляны, лесная кикимора!

Ходить много возле солонцов Амос остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, высунулся к поляне и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса против, и воздух тянет оттуда. Амос глазом прицелился на сломленное дерево и подтвердил свою догадку: вершина дерева срублена для того, чтобы не застила зорькин свет.

«По всем признакам караулка должна быть тут, где я стою. Но ее нет!» — все больше вскипал Амос.

Он уже решил садиться возле старой, в несколько обхватов осины, наскоро прикрывшись корьем и мохом. Надеялся на дикую удачу и почти загодя был уверен, что дело это бесполезное: марал, а в особенности маралуха с теленком, так сторожки, что любое, даже самое мало-мальское изменение на солонцах отпугнет ее.

Отец Фаефан Кондратьевич сказывал, будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет на солонцах *пучка* — купырь — и будет мешать — ее нельзя вырвать: марал заметит. Он знает и помнит каждую былинку в опасном месте или на пути к водопою. Надо слегка подрезать растение ножом, зверь на ходу уронит его — вот это другое дело. Это он тоже запомнит.

И все же Амос рассудил так: будь что будет, не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червями. Рванул мужик кору с силой, но пласт отделился легко, без шума. И тут Амос не удержался, громко и восхищенно ругнулся:

— Во, ушлый! Ну и голова-а!

Под пластом оказалось замаскированное отверстие в дупле осины. Амос просунул туда узкую голову. Да, вот она, караулка! Прямо перед глазами — небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем маленькое, и Култыш

расширил его ножиком, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце. Словно бы короед или дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом пенек. Оконце высоко, и Култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно было на карачках, как в нору. Амос еле протиснулся туда. Шевельнуться невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов.

С великими усилиями загородил Амос пластом коры лаз в дупло. Чурбачок из-под ног выкатил наружу. Все равно тесно. Дупло как бы сжимало плечи Амоса, но он решил все стерпеть и постепенно обсиделся в этом тесном, душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла Амос не осмелился. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит.

Чтобы все было в порядке, Амос на всякий случай прочел Начало, — молитву всех молитв, а потом уж все подряд, какие знал. Не убудет его, если лишний раз перекрестится и лишнюю молитву прочтет, а это может сгодиться.

— Боже милостив, буди меня грешного, создаве имя господи, помилуй мя, господи, без числа согрешима, господи, помилуй... Печать на мне христова, Николин ключ, богородицын замок...

На охоте, в тайге, в одиночестве, даже человеку неверующему лезет в голову разная блажь, и он становится суеверным, начинает доверять не только молитве, но и наговору, приметам. Амос же с детства был приучен ко всякого рода *заветам* и попытался в дополнение к молитвам вспомнить еще и наговоры:

— Как подходит мир-народ к животворящему кресту, как приходит солнце встреч земли-матери, безотпятошно, безоглядошно, безоговорошно, так бы шли-бежали рыскучие звери к солонцам мо... к солонцам этим, — поправился Амос, — безотпятошно, безоглядошно, безоговорошно. Аминь!

Тем временем солнце снизилось за дальние увалы, но еще долго колыхалось над окоемом знойное марево. Небо запекалось, краснело и постепенно темнело по краям, будто покрывалось окалиной. Из-за осины, от развилка Серебрянки, крадучись, выползла удушливая, как чахотка, ночь. Уже чуть не все небо запахнулось сероватой хмарью.

Но за сломленным деревом, за далекой далью все еще не остыла раскаленная лепешка. От нее к солонцам сочилась багровая струйка и густела с каждой минутой, как бычья кровь. «Страсть какая — быть одному в тайге, — поежился Амос. Морила усталость, ныли ноги и руки. — Подремлю маленько, ночью свежей буду», — сказал себе и уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобств в туго сжавшем его дереве.

Под рубахой забегали, защекотали муравьи. Амос передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Амоса, туманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая, волокнистая сердцевина, и труха с липким шорохом осыпалась сверху.

Под этот чуть слышный шорох забылся Амос.

Приснился ему Култыш. Он все силился запеть: «Тюрима, тюрима, какое слово!..», но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался. Амос ждал, напряженно ждал песню, однако вместо песни послышался хруст и высунулись зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки, а потом клыки зашевелились, поползла изо рта белая змея и ощерилась на Амоса собольей головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею за хвост и принялся хлестать ею по голове долгошеего парня. Амос понял: это его бьют, попытался крикнуть и не мог, рот свело, заполнило вязкой мякотью.

Дернулся Амос, открыл глаза и долго не мог очухаться. Пришел в себя только после того, как сердце, сбитое с ровного хода дурным сном, перестало частить и пошло, как надо.

«Прости господи!» — смиренно пошевелил губами Амос и прислушался. Все так же рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до того щекотно, что неудержимо потянуло чихнуть. Амос испуганно зажал нос. Он готов был умереть, чем издать какой-нибудь звук. Не знал ведь, сколько времени проспал. «Может, зверь-то уже на солонцах?» — медленно вытягивая длинную шею, испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. «Только бы руки не закозлились да глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержку», — твердо решил Амос.

Как и в ту давнюю ночь в Изыбаше, на небо поползла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Амос не сразу уразумел, что это все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил

едкий запах. «Хорошо это, у зверя чутье отшибает гарь. Корова-то поди нажралась и ушла? — И тут же спохватился. — А может, вовсе перестала ходить?»

Начали разбирать Амоса те сомнения, коих бывает полно у охотника с ненаметанным глазом. Иначе он бы еще давеча по следам заключил, ходит зверь на солонцы или нет.

Впереди что-то мелькнуло. Амос рванулся и больно ударился носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожащие пальцы его уцепились за спусковой крючок ружья. Однако сколько Амос ни напрягался, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, думая, что ему померещилось, впереди опять ровно бы мячик упругий подскочил.

Амос оцепенел.

В это время рябь рассеялась на минуту и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал. Послушал, послушал и кувырк в ямку. Лизнул соленой земли и опять начеку. «Холера! — беззлобно плюнул себе на грудь Амос. — Тоже бережет свою душонку, стервец! Надо быть, пожары его сюда загнали». Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Амос догадался: зайцев-то двое, и они поочередно один другого сторожат.

«Артелью пасутся. Хорошо это. Культя говаривал: когда заяц на солонцах, марал идет смелей, меньше опасается».

Долго следили пристальные глаза человека за возней большеухих. Но они до того разлакомились, что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут любые звери. Амос до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеколками поблескивали глазенки. «Это же теленок!» — ахнул от неожиданности Амос и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. «А у меня глаз-то урочливый».

Однако не удержался Амос, тут же разомкнул ресницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, подозрительно приподняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, видно, разрешала своему детенышу отведать соленой землицы — звериной сласти.

Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно причмокивал. Длинные уши его пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам. Тогда маралуха бросилась на них, занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая.

«Господи басլови!» — опять беззвучно зашевелил губами Амос, повторяя Начало, а сам в это время тщательно целился в корову, явственно видимую в лунном пятне. Зайцы урвали-таки удобный момент, перемахнули через куст в ямку. Теленок пугливо шарахнулся, фыркнул. Мать метнулась к нему и на секунду ушла с прицела.

И тут Амоса осенило: «Ребенка не кинет, а он, глупой, может и удрать. Обоих надо брать. Крышка!»

Мушки не видно. Лишь маленькая искорка подвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мараленка.

Занемевшие пальцы рванули спуск.

Искру загасило пламя.

Раскололась ночь.

По горам и дальним седловинам покатился гул, смахивая душную тишину. И все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, треща кустами, натыкаясь на деревья.

А тоненькие, как у комарика, ножки мараленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которую, сколь ни лижи, досыта не належешься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, выцарапывал копытцами траву и корешки, еще заблеял чуть слышно — и утих.

— Ну, один испекся, — облегченно выдохнул Амос. Он провел языком по пересохшим губам и забормотал: — Не уронится и не призорится мать сыра земля, и да не уронится и не призорится промысел мой, добыча моя. Аминь!

Маралуха еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами. Но вот шаги ее стали замедляться, треск и щелчки прекратились. Она остановилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывая дитенка.

Никакого ответа.

Она позвала еще раз — громче, тревожней.

Ждала минуту, другую, от нетерпения переступая с ноги на ногу. И вдруг закричала на весь лес так дико, что даже у человека покоробило спину, и он занес руку перекреститься.

Шорох приблизился.

Мать еще не теряла надежду отыскать и дозваться мараленка. Она кружилась возле солонцов и, пришлепывая губами, настойчиво звала его. Шаги ее, то медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные, доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей.

От гнева и страха дрожали у маралухи ноздри, все ее мускулы напряжены. Она останавливалась, смотрела, слушала — не выскочит ли быстроногий детеныш, не побежит ли навстречу ей. Она переваливала язык, готовый облизать дитя от кончиков ушей до светленьких копытец.

Тишина.

Был гром, а теперь тишина.

Медленно, как бы пробуждаясь от душного сна, дыхнул лес, и между ним просочились только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и заметалась возле солонцов.

— Э-э, чтоб тебя, худая немочь! — свирепым шепотом бранился человек, напряженно всматриваясь в предрассветную мглу.

Луна скрылась.

Небо заволокло тучами, а может, и дымом.

«Или дождик будет?» — постарался отвлечься Амос, но слух его был напряжен до предела.

Невыносимо тяжело сидеть.

Пошевелиться бы.

Суставы, шея, все остамело от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется, будто безумная. «Что, как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод!» — побранил себя Амос.

Сделалось свежей.

Влагой потянуло в отверстие дупла.

«Будет, будет дождь, — радовался Амос. — Раньше бы требовалось. Ну, ну, чего же ты, язва, пляшешь? Иди же, иди!»

Надоело ждать.

Снова, как в молодости, в ту первую охоту, одолевает желание садануть из ружья, чтобы чертям и тем тошно сделалось. Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хвати-

ло даже на полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит. Но уж тогда он резанет эту комолую скотину, резанет.

Далеко за обезглавленным великаном-деревом, должно быть кедром, порозовела кромка неба, сделались видны облака.

Амос с ликованием воззрился на них.

Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Клочками старательно расчесанной кудели несмело наползали они из-за гор, гасили звезды. Коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям и бездымно таяли.

И вот когда уже посветлело полнеба, когда из леса поспешно потекла темнота, высвобождая одно по одному деревья, кусты, пни и валежины, мать, не таясь больше, с гордо поднятой головой вышла из леса и рванулась к лежавшему на поляне мараленку.

Амос не допустил ее близко. Стиснув зубы, он выстрелил в отвислую грудь коровы и, когда она стремительно метнулась, ударил еще раз вдогонку — это уже со зла.

Вместе с пулей вылетело зло.

Залихорадила, затрясла охотника радость.

— Пришла, пришла, голубушка! — приговаривал он и с удовольствием слушал хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить! Не-ет, человек, он...

Амос болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ими были переполнены ичиги. Дрыгнул ногами, пошевелил головой, руками, разгоняя кровь, — едва расходился.

— Вот ведь до чего довела! И надо же такую охоту выдумать?! Тьфу! Только с голоду да поневоле и стерпишь...

Выполз на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух, тронул ногой белобрюхого теленка, ухарски сдвинул на глаза шапчонку Амос и, ухмыляясь довольно, пошарил в затылке:

— Сейчас мы тебя, милок, распотроши-им. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим...

Как бы ни была смертельна рана, марал, какой-то неведомой силой, наверное, даже не силой, а остатним вздохом, последним рывком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда сил хватает еще уйти двести-триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят.

Отыскав следы маралухи, на которых рядками клюквы рассыпалась кровавая потечь, Амос удовлетворенно потер руки:

— Далеко не уйдешь! Сыщу!

Он закурил, судорожно закашлялся:

— Ну и... о-о... кха!.. охота! Мать ее так! Кха-кха! Дыхало все... кха-кха... сперло...

Наконец он прокашлялся, отдышался, торопливо выплюнул первые слова Начала и принялся свежевать мараленка. Одним махом умелого крестьянина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мяконький живот. Ноздри Амоса алчно запульсировали.

— Ах, мясцо-то! Мясцо! Нежно, пахуче! И жирен, чертенок! Жире-он! Заботлива мать была. В бескормном лесу еду находила! Нагулял жиру, нагулял. А сама небось тоща. Вечно так: в теле мать — дети тощи, в теле дети — мать костями стучит. Ну, с удачей тебя, Амос Фаефаныч! Будут и денежки и свежинка!.. Пофартило! А ты, Культя, паси теленка-то... Х-хы, простота! С твоей бы сноровкой озолотеть можно! Умна голова, да дураку досталась!..

Знал Амос: худое, пакостное дело учинил он и вот пытался охальными словами, как каменьями, завалить сосущую тревогу в сердце, пытался ухарем представиться и убедить себя в том, что он, а не кто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех! Плевать, и только!

Он выбросил кишки теленка прямо на солонцах, отрезал ноги, голову, бросил здесь же. Запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое дело ему, Амосу, до того, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится марал. Ему, Амосу, теперь дай бог вытаскать мясо к лодке да незаметно, желательно в поздний час, приплавить его в деревню. А там!..

Там — «Амос Фаефаныч, подсоби! Амос Фаефаныч, выручи! Амос Фаефаныч, за ценой не постоим!»

И Амос Фаефаныч выручит, лишка не возьмет. Он не шкуродер. Придет время, односельчане и его выручат, подсобят на пашне, помогут с мельницей.

Есть у Амоса думка свою мельницу поставить. Ух, тогда держись! Потечет хлебец! А Култыш пусть бережет теленка-то! Пусть! Без штанов на этом свете жил, без штанов и на том свете перед непорочными девами явится...

Закипела вода в котелке.

Самое нежное мясцо выбрал Амос — грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно сглатывал слюну. Не выдержав искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! — И поспешно схватил подолом рубахи дужку котелка.

Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился круто посоленными кусками мяса. Ел без сухарей. Чтобы мясо скорее остыло, вывалил его на залиселую от сухости траву. По губам Амоса, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам стекал жир. Амос облизывал пальцы, мурлыкал:

— Славно! Ах, славно! Не уварилось мясцо-то, ну да в брюхе доварится... Житье! Ей-бо!

Вспомнил Култыша, злорадно рассмеялся: «Спасибо за убоинку!» Съел все мясо до последнего хрящика, попил жижи из котелка через край, с рокотом икнул, кинул двуперстием крест у рта и вытянулся возле затухающего огонька.

Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром.

— Ф-фу, язвы! — закряхтел Амос, отгоняя мух, и недовольно поднялся после благодушного потяга. Звонко треща суставами, собрал куски мяса в мешок и, преодолевая сытую разомлелость, двинулся на поиски маралухи.

Прошел Амос двести-триста сажен — маралухи нет. Недовольно пофукал носом и последовал дальше. Примятая трава, выбитый мох и багровые капли вели в косогор.

— В гору не уйдешь! Вот уже выдыхаешься! — обрадовался он, заметив шерсть на корявом стволе расколотой зимней стужей лиственницы. Во время остановки навалилась маралуха на дерево.

Однако миновал Амос одну гору, другую, а следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие кляксочки на листиках, на траве либо на невзрачном желтеньком цветке с грозным названием «зверобой». Вот ключик лесной. Возле него корова полежала, отдохнула.

— Напилась, напилась ведь, подлая! — взвыл Амос, зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого огненный пал бушует внутри.

Еще седловину одолел Амос, прислушался — ни единого звука не слышно. Тайга как будто притаилась.

Устал Амос, изнемог.

С трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится, уснул.

Спал долго.

Проснулся, когда уже совсем ободняло.

Жадно набросился Амос на переварившееся мясо. Вода из котелка выкипела, и подгорелое мясо похрустывало на зубах.

И в этот день не нашел Амос маралуху.

И без того растревоженное сердце будто иглой боярки царапнуло.

— Да какая же нелегкая тебя тащит?! Все одно ведь не уйдешь! — ворчал по-домашнему однотонно, словно бы на ребятишек, Амос. Но уловка не удавалась, страх вошел в сердце, когтями впился в него, хотя Амос в этом себе еще не признавался.

Ночью не спалось. Расстроился желудок, и он несколько раз отбегал в ближние кусты. «На тощее брюхо недоваренного мяса нажрался! Башка еловая!» — запоздало ругал себя Амос.

Утро наступило хмарное.

Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю.

Амос торопился.

Понимал мужик: пройдет дождь — зверя ему не найти. Смоет следы маралухи, а он ведь не Култыш. Тот умеет каким-то своим особым нюхом отыскать в тайге все, что ему требуется. Тайга для него, что собственный дом и двор для Амоса, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки.

Разом возникла горбистая, обожженная грива. На земле мох, на деревьях мох, на валежинах мох, и даже на ржавых камнях проплешистый ядовито-зеленый мох. Лес наполовину сух. По моху сплошная россыпь чуть закраснелой брусники, и сизым, едва-едва заметным дымком подернулась круглорылая черника. Тих лес. Мох скрадывает все звуки, глушит шаги.

На гриве маралуха стала делать лежки.

Амос облегченно перевел дух.

Теперь все! Он скоро настигнет корову и с каким же удовольствием всадит ей еще одну пулю! На ходу Амос

наклонялся, обдаивал пальцами брусничник и высыпал упругую ягоду в рот. «Чего-то весь живот ожгло, может, от ягоды полегчает?»

За гривой, в темно-зеленом лесу, змеилась, петляла, как пьяная, шаталась из стороны в сторону речка.

Амос осмотрелся.

Речка показалась знакомой.

Он хлопнул себя по бедрам:

— Да ведь это Серебрянка! Вот зануда корова, бродила, бродила и снова к солонцам подалась. А того не возьмет в разум, что сосунок-от ее в сумке следом за ней ходит...

Маралуха пошла вниз по речке.

Она часто пила, видимо, не решалась удаляться от воды.

Амосу уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышал вроде бы хриплое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь, бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие, расползающиеся следы.

Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила мать из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натыкаясь на запруду, по-щенячьи урчала, обсасывая белый, вывалившийся язык.

— У-у, падла! — пнул Амос маралуху в куцый зад с нежными подпалинками.

Маралуха чуть посунулась в речку. Замусоренная сожженной листвой, шишками хмеля, веточками и сухой ягодой, вода рванулась валом.

Со злобой выхватил Амос корову на берег. И хотя ему не моглось, он решил сегодня же уйти к Онье.

Прежде чем приступить обихаживать маралуху, Амос полежал на обмысочке. В шерсти и в разъеденных комарами ноздрях коровы уже копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее пауты и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от маралухи и набрасывались на Амоса.

Живот коровы был светленький, в пушистой шерсти. Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели. Поморщился Амос, глаза отвел и с притворным равнодушием зевнул. Но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивало ознобом, бурлило в брюхе и завывало так, будто там делили добычу голодные коты.

С кряхтеньем и охами Амос ощупал живот. «И чего это со мной содеялось?» — думал он, спеша за куст.

— Нажрался, нажрался мясца-то жирного, духовитого! — забарабанил Амос в свой костистый лоб с провалинами на висках. — Кобель беззубый, до старости дожил — ума не нажил! Шутейное дело — в тайге захворать!..

С трудом ободрал Амос корову.

Превозмогая слабость, сделал лабаз на дереве и поднял туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маралухи. «Первая ноша должна быть невелика, — так рассудил Амос. — Вот когда дорогу покороче к Онье сделаю, разомнусь, хворь одолею, глядишь, благословясь, перетаскаю всю добычу».

Можно бы, конечно, за мужиками сплавать. Найдутся сейчас такие, что даже с чужих солонцов согласятся поживиться, но больно артельно получится, делить надо. И тогда прости-прощай мельница на долгие годы. «Нет уж, как-нибудь сам справлюсь. Сам мясо переправлю, сам раздам, пожалуй, раздам вовсе бесплатно — народ отплатит потом мне за щедроту усердием и почтением. И мельницу люди миром соберут». Это будет единственная мельница на Онье. Изо всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. Примол знатный будет, а если с умом поставить жернова да небольшую, совсем маленькую утечку муки подладить, вовсе в хлебе купайся. Вот тогда дай бог год, на нонешний похожий, — не одну деревню обратает Амос Фаефанович.

Обламывая коричневые, как ореховая скорлупа, зубы, Амос упорно размалывал плесневелые сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний. И только боль в животе отравляла хорошие думы.

«Какая-то трава ведь есть от живота или корни? — пытался вспомнить Амос и не мог вспомнить. — Культя, тот бы сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он опять за так раздал бы мясо, развеял бы добро по ветру. Да и не сговорить бы его. Ему теленочка жалко. У-у, вшивец!»

Злые, шалые думы наползают на сладостные мечты. Чехарда в голове Амоса. Страх его разбирает. Он бредет пошатываясь, а котомка за плечами делается все тяжелей и тяжелей.

Остановился Амос на изгибе речки, брови на переносье собрал, посображал туго и вынул кусок мяса, бросил его

в омуток, под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал.

Но легче не стало.

Схватившись за живот, тащился Амос.

Впереди него возникла мокрая от ключей скала, густо заваленная ветровалом, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой-прегустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, ровно бы камни голубого цвета, да и в траве тоже кое-где голубеют камни. «Вовсе извела хворь — уже синё в глазах», — ужаснулся Амос и еще раз глянул на голубое ущелье, поморщился: обходить придется.

Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, которую даже пожар обошел, заползла в гиблые овраги, где-то раз-другой проворковала и вдруг замолкла и куда-то делась. Козырек бровей вовсе скрыл воспаленные глаза Амоса. Догадка шемящей волной пошла от самого сердца, хлестнула в его голову, и он бессильно уронил руки.

— Да ведь это не Серебрянка!

Подскочил Амос, вломился в переплетенные заросли, кувырнулся в овраг, упал, оцарапался.

Ветви жалицы, малинника хлестали его по лицу, но он карабкался из оврага, попал в безмолвный распадок. Уже не боясь змей, хватался за голубые камни, с шумом ронял их.

Вот и вершина.

Откуда только сила взялась — так быстро вымахнул Амос на нее. Соскользая, ринулся вниз, чуть не наступил на затаившегося барсука, вздрогнув, послал вслед ему проклятие.

Скалы предостерегающими перстами маячили в вышине, и от каждой из них сочились, били ключи, но речки не было,

Унырок!

Подлая штука, этакая речка — лесная колдунья. Бежит она тебе по тайге, заманивает, а потом раз — и нету! Зарницей мелькнула и угасла.

Затравленным зверем метался Амос между скал, отыскивал выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил топор, порвал стеганый шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги.

Речки не было.

Амос, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину. Огляделся. Тайга. Кругом тайга, тихая, угрюмая и настороженная. А над нею клыкастые скалы. От тишины в ушах звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнула дыхание.

— Завела! Завела-а-а! Оборотень — не корова! — схватился за голову Амос, и забилась сумка на его спине, будто в ней ожил теленок. Голос Амоса сделался тонким. Уже без слов, с отчаянием и обреченностью он разрубил таежный покой воплем: — А-а-а!

Тучи опустились низко.

Лес помрачнел и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую, шуршащую траву первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками.

— Слава тебе, господи! — умильно пропел Амос, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу.

Глаза, щеки, лицо защекотали мелкие капли. Лохмы туч набрякли, потемнели, собираясь с силами, коих хватило бы залить пожары, омочить исстрадавшиеся леса, оживить то, что еще не успело умереть.

— Боженька! Ты ведь добрый! — неожиданно для себя завел Амос. — Вот дождика послал и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помоги и мне. Ну, чего тебе стоит, выведи!.. Либо болесть утихомирь...

И, чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, Амос замолк, в душе проклиная себя.

Тайга шумела слитно и величаво, расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свое исхудалое тельце живительной благодати. Знойное оцепенение спадало, кругом слышался умиротворенный шепот.

Тайга начинала зализывать раны, и никакого дела ей не было до человека, распластавшегося у ее ног.

Слушал Амос, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающуюся жизнь и понял: никто — ни всевышний, ни эта заново ожившая тайга — ему не поможет.

Он встал, прикусил губу, заглушая стон. Голова кружилась.

В горле и во рту горькая сухость. Упрямо выгнулся вперед мужик, точно боднуть кого прицелился, и двинулся

длинной одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился, прислушался к животу: гнетет, тянет. Одышка появилась, жар волнами ходит внутри. Развязал Амос мешок, подержал в руках мягкий розовый кусок мяса, страдальчески покривился и бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, намереваясь забросать мясо ветками, хватился — нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул и заковылял дальше.

Ноги Амоса заплетались, но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал: «Верно, уж больше не подняться...»

Поискал глазами воды, но ее поблизости не было.

Земля жадно впитывала влагу.

Амос пососал сырой мох, стряхнул на лицо капли с нижних веток пихты и забылся, чуть посунувшись под валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, но руки подламывались, долило к земле.

Он надолго утих.

Очнулся от холода. Все на нем промокло. Заохал, сел — из глаз мухи полетели, во рту горечь, как с похмелья, в голове звон, что-то призрачное кружится перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, вот прянула в сторону маралуха, вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту.

— Пить! Пить! — открыл рот Амос, стараясь поймать этот стремительный, оглушающий поток, который зыбал, качал его, мчал на огненно-жгучих волнах неведомо куда.

На секунду Амос очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращался. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы человек поднялся, пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл...

Срывая ногти, Амос хватался за ствол ближнего дерева.

Поднялся.

Шагнул.

Ноги переламывались в коленях. Он шевельнул испекшимися губами, творя несвязную молитву, и побрел от дерева к дереву, как пьяный. Обхватывал стволы, прижимался горячей щетинистой щекой к холодной коре, подолгу отдыхал.

Дождь измельчал и сеялся, сонно шурша по задумчи-

вой, разомлевшей тайге. Сумерки незаметно смешались с дождем.

Приближался вечер. И эта наползающая со всех сторон темень сдавила, стиснула Амоса. Он воздел руки к небу:

— Уверую! Навсегда уверую! Только помоги!..

Глухо и равнодушно шумела тайга.

Шум ее вместе с темнотой надвигался на человека. Вспомнил он что-то и, уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настороженной тайге, запричитал:

— Тятя! Тятенька! Прости меня, окаянного! Прости-и-и! Фаефан Кондратьевич, родимый, для деток, внуков твоих сердешны-ы-ых! Култыш, брательник, выручи! Тебе не первой за зло добром платить! Каюсь! Каюсь! Каю-у-у-усь! — Бился лицом Амос о шишкастый корень дерева, целовал его, а тайга шумела все так же слитно и могуче. Она сомкнулась, вовсе затемнела, и эта стена, из которой не было выхода, все надвигалась и надвигалась на человека.

Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жаждой жизни, Амос ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему, с клекотом в горле захрипел, всхлипнул, заслышав этот живой голос, и рванулся к нему.

Долго мочил голову Амос в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и трясся в покаянном плаче.

— Господи! Помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил!

Ружье и котелок Амос давно уже потерял. Холщовый, домотканый шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся трясущимся комком возле живого родника и впитывал его сердцем, головою, всем своим нутром, радовался его голосу, как ничему в жизни еще не радовался.

Шуршал дождь.

Было то тихо, то ветрено.

Сияло солнце и скатывалось за горы.

Звезды протыкали ночь. Выплывала луна с подтаявшим боком. Амос силился что-то вспомнить и не мог. Все перепуталось, стерлось и поблекло в памяти.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье.

С трудом открывая глаза, видел Амос над собой по-братски обнявшуюся тайгу. И думалось ему, это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до спасителя. Это она душила его, забрасывая колючими холодными лапами, и слой этих лап делался все тяжелей и толще, и втискивал он его в землю, давил грудь, что каменная плита.

А лес все шумел, накатывал волнами, как бескрайное море-океан, всесильный, неумолчный и вечно живой.

*

В тот день, когда на Вырубы наконец-то полил дождь и во всем — в природе, в деревне, в людях — наступило благостное облегчение, Клавдия, не глядя на Култыша, сказала ему:

— Надо искать самово.

Култыш на это сердито отрубил:

— Я его в тайгу не посылал. — Схватил полушубок и подался на сеновал.

Как бы ненароком Клавдия забрела туда, выбрала из гнезд яйца, поправила на жерди веники и снова заговорила, обращаясь к Култышу, который делал вид, будто уснул:

— Детишки ведь у нас, Култыш.

Охотник резко приподнялся, отодрал от щеки лист и твердо отчеканил:

— Я не посылал его в тайгу — грéзить[1]!

Губы Клавдии дрогнули. Сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась вбок, и сделался он похож на дряблую репу. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба.

— Зачем было тогда болтать про эту Серебрянку? Зачем?

— Вытянул он у меня секрет самогонкой. Как удой, вытянул. Иуда он! — Култыш встал, отряхнулся и резко продолжал: — За это, знаешь, что бывает?

Да, Клавдия знала, что за это бывает, — самосуд! Смерть. Неписаный таежный закон оберегал охотников от воров. Закон этот был жесток и неумолим, как и сама

*

[1] Грéзить — делать что-то нехорошее (местное сибирское слово).

жизнь охотников. Он давал право жить и охотиться только тому, кто знал тайгу, умел, когда требовалось, трудиться до последнего вздоха, гнать зверя до того, что в глаза наливалась кровь и сердце отказывалось работать. Нет большего преступления, чем обокрасть охотника, лишить его добычи.

В кожаных сумах через перевалы и буреломы носит дорогую соль охотник, года два-три приваживает зверя, чтобы потом добыть его, и вот найдись человек и убей этого приваженного зверя, ограбь охотника, лиши его еды. «Вору в тайге нет места. Вору в тайге смерть!»

Клавдия знала это. Она спустилась с сеновала, долго плакала, прислонившись к деревянному косяку. Выплакалась, загремела коромыслом, дала затрещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку, и тот заревел на весь двор.

Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом[1] на шее, «жадиной», который хватает, хватает и подавиться не может.

«Это о муже», — догадался Култыш.

Дальше пошло о нем:

«Сидел всю жизнь в тайге сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями, и сам как пень стал — ни сердца, ни разуменья. Пришел, взбаламутил...»

Култыш крякнул, начал шарить в кармане, отыскивая трубку. Не переставая ворчать, Клавдия выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая.

— Слышь, ты! — крикнула она громко. — Домовничай тут, а ружье мне дай!

Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, коренастая, крепкая, решительная. И лицо ее было сейчас совсем не такое, что видел охотник всего час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и статью веяло от этой женщины, немного омужичившейся в трудах и заботах.

— Ладно, не дури! — буркнул Култыш, спускаясь по лесенке. Он знал, что Дикая пойдет куда угодно, чтобы выручить пусть постылого, но все-таки живого человека из

*

[1] Кибас — грузило у сетей.

беды. — И сама пропадешь и детишек осиротишь, — бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч.

Клавдия отстранилась.

— Ружье давай! — и прибавила: — Не думала, что ты такой злопамятный!

Култыш понял намек, смутился.

— Не дури, говорю, — уже испуганно твердил он, — что тебе тайга-то, коровий выгон? Один дурак забрался в нее, и ты туда же?

— Не твово ума дело! — отрезала Клавдия. — За то, что он таежный закон нарушил, — казните, но в лесу бросать человека никакой закон не дозволяет. Да и голод его туда погнал. Голод! Разумей это. А-а, где тебе! Ружье дашь или нет?

— Заладила: ружье, ружье! Чего ты с ним, с ружьем-то, делать станешь?! Это ведь не помело! — недовольно брюзжал Култыш. — А что касаемо голода, так я тоже не без сердца, хоть и пням молился. Но он опередить меня решил, покорыститься на беде людской. Вот и кукует теперь в лесу.

Култыш натянул засохшие ичиги, проверил в патронташе заряды, забрал свою суму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную суму с его плеч.

— Куда без сухарей-то?

— Я без еды в тайге не буду.

Клавдия не слушала. Она пересыпала из своего мешка сухари в суму Култыша, бросила узелок с солью, смягчилась:

— Ну, с богом! — Хотела еще что-то добавить, да отвернулась. — Ступай уж! Бабий язык и бабьи слезы в деле не помеха...

Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке.



Он пришел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Оньи часа два, не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как она расходилась! Гляди, какими словами оглоушила! Баба она справедливая. Пожалуй, справедливей ее и не встречал никого. Только покойный отец...»

Долго стоял Култыш среди обезображенных солонцов,

навалившись грудью на палку, насупив усохшее лицо, и, наконец, горестно выдохнул:

— Враг, ты и есть враг! Покойник-батюшка зряшных слов не говорил. И понапрасну тебя жена защищает, по слабости своей бабьей...

Собрал Култыш изъеденные горностаями кишки мараленка, унес подальше и закопал. Кострище тоже убрал, все до уголька. Неторопливо намял в пригоршни семян морковника, побросал их на выжженную плешинку.

Ночевал Култыш уже далеко от солонцов.

Дождь смыл следы маралухи и человека. Но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Амоса. Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево покруче и выхлебал.

В тайге стоял туман, первый в нынешнее лето. Все — и лес и земля — уже вдосталь напилось влагой. Тайга дышала спокойно и глубоко. Дым от огонька стелился низко, головни чуть слышно шипели и пощелкивали. Пихтач посизел от сырости, на колючих ельниках, на самых макушечках остроносых шишек дрожали крупные капли. С длинных игл кедровника, духовитых и мягких, скатывались росные дробинки в седой мох. Лиственницы распушили мягкие зеленые кисточки и сомлело замерли, боясь шевельнуться. На мхах бездымно горели кисти брусники, и сплошь пятнали землю блестящие от росы, разноцветные грибы сыроежки. Покой в тайге. Благость!

Култыш остатками чая залил огонек, с кряхтеньем просунул руки в лямки сумы и двинулся дальше, шаркая ичигами, мокрыми от росы. Иногда он останавливался, наклонялся и, точно читая какие-то письмена, в силу стародавней привычки вел разговоры с самим собой:

— Эх ты, охотник — горе луково! Вот ты лежал, а вон в ста саженях — корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, потому как глаза тебе дадены завидущие и оттого незрячие. Медведя бы на тебя стреляного, на сукиного сына. Он бы у какой-нибудь колодины сгреб тебя, показал бы, как с открытым хлебалом зверя преследовать...

В том месте, где Амос хватал недозревшую бруснику горстями, Култыш на минуту задержался и укоризненно покачал головой:

— А зеленцу-то не надо бы ести, лучше бы в кипяточек ягоду бросить, а разумней того — марьиного корешка выкопать — это ж наипервейшее средство от живота... Эх, люди! Где вы взросли?

Здесь же, на бруснічнике, Култыш спугнул выводок рябчиков и, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча: «Вот и птица возвертаться в тайгу стала. Жизнь-то, она непоборима, не-ет, брат, ее не застрелишь, не выжгешь огнем-полымем. — Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку. — И похлебку нам тайга-матушка сподобила».

Совсем близко чифиркнула рябчиха, собирая рассыпавшийся выводок. Култыш сказал ей:

— Все, все, боле не трону. Боле мне не надо!..

Было еще рано, и вполне хватило бы времени до темноты минуть перевал, но, видно, устал таежный бродяга. Приготовил он дровец на ночь, под бок пихтовых лапок набросал, портянки возле огня погрел, обулся и долго лежал возле огонька, посапывая трубочкой.

Думал. В дремоте, как в крупноячеистой мереже, путались, лезли одна на другую видения разные: вот отец Фаефан Кондратьевич манит, зовет. Он в последнее время почему-то чаще и чаще всплывал перед Култышом. Должно быть, свидятся скоро.

Пригрело ногу, накалился кожаный ичиг. Не открывая глаз, отодвинулся Култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна, молодая, в белом платье, со стародубом, уронившим голову. Такой, и только такой, она виделась ему всегда. Ведь до самой той минуты, до ледохода, она была в его мечтах и помыслах. Его нареченная... Наверно, тоже родились бы у них дети — двое. Два сына. Нет, сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей.

Тайга...

Утром Култыш едва разломался. Глянул на небо — светло. «Провалялся, старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должон же я чаю попить или нет? — злился он неизвестно почему. — Без чаю куда я годен? Обессилею вовсе...»

Скипятил чайку с брусничником. Пил. А откуда-то издали смотрели на него гневные глаза:

«Злопамятный ты!» Выплеснул чай Култыш, сердито бросил котелок в суму и подался в гору.

За перевалом он наткнулся на лабаз, принюхался — мясо уже припахивало. Он перетаскал маралину в речку, смыл с нее слизь и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного куска, а только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье. Пошел вниз по речке.

Возле черемухи с меткой вынул из воды большой кус вымытого до белизны мяса и буркнул:

— Чего, Амосушко, тяжко краденое-то?

И снова сердитый голос, рядом, за деревьями, совсем близко: «Голод его погнал, голод! А-а, где тебе...»

Плюнул с досады Култыш. Отрезал кусок мяса, поставил варить. Стараясь отогнать душевную смуту, пытался думать о чем-нибудь другом и не мог.

Тем временем сварилось мясо. «Чье мясо? Ты что думаешь, тайга только для тебя сотворена?»

— Тьфу, нечистый дух! — плюнул еще раз Култыш и без всякой охоты поел. Долго потом выковыривал былинкой что-то из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги.

Там унырок.

Там голубые камни — богатство земное.

Дальше этого места Амосу не уйти. Лежит, поди, охотничек, помощи ждет и крестится со страха, видя кругом голубое сияние.

В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень — красу земную. Два человека знали это место — отец Фаефан Кондратьевич да Култыш.

Незадолго до смерти привел его сюда отец, показал голубые камни, плиты, валяющиеся в распадке унырнувшего в землю ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, кроил горы и утесы.

— Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фаефан Кондратьевич и, вздохнув, добавил: — Вся гора голубая. Тайга мохом, оврагами да ветровалом и бурьяном заслонила ее от людского глаза...

Поднял Култыш плиточку — не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой с блестками звездочек. Рукой погладил — что льдинка гладкая, холодная.

И сотворится же такое чудо!

А Фаефан Кондратьевич рассказывал, как в солдатах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили. Губернатор тоже испугался и огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, Фаефан Кондратьевич видел колонны из камня, и тот камень мрамором звался. Только был он коричневого цвета с белыми полосами. Куда тому камню до небесного!

Потом на каторге он повстречался с «бунтовщиками» и многое от них узнал. Бесстрашные они были люди, но

телом жидки. Не выдержали каторги, многие сломились, поумирали.

— И мой тебе наказ, — говорил Фаефан Кондратьевич. — Как наступит время, пойди к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости. А пока в тайге оставайся. Кость хрупкая у тебя — изломают. Тут ты царь, там рабом станешь.

«Без малого тридцать лет прошло с тех пор. Лежит небесный камень, ждет часу своего. Дождется ли? Лежит камень, и я возле него караульщиком. Олешачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон Амос таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя».

Загорюнился Култыш. Глаза его повлажнели, как у пьяненького. А тайга кругом перешептывалась, словно бы успокаивала охотника: «Не расстраивай себя, Култыш, иди в лес, иди глубже, дальше, утешься...»

И охотник шел. Медленно шел, сгорбившись, с опущенной головой. Неладно было у него на душе.

Но вот Култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул:

— Вовсе заблудился охотник-то! Вот те и на!

Быстро-быстро засеменил Култыш, хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы оправдываясь, бормотал:

— Влево, влево забирать надо. Это же Малая Серебрянка. А во-он гора плешатая, там тебе Малая Серебрянка с Большой стекаются. Из горы из этой выныривает — и здорово живешь! Н-да, худы твои дела, Амос, худы! Тайга — клад, но с чистым сердцем надо к нему притрагиваться...

Недалеко от унырка ушел Амос — всего несколько верст. По кругу метался.

Култыш обнаружил его возле родника. Лежал Амос кверху лицом с широко открытыми остекленелыми глазами. Щемило и стискивало сердце Култыша, когда он стоял над сводным братом. Тяжелая дума давила охотника, скорбно томилась душа. Пропал человек, пропал дешево, бесславно. Разве для этого он рождался?

В одном глазу Амоса, как бельмо, отражалось белое облако, а в другом, словно в зеркале, неподвижно стояла вниз вершиной темная ель. Губы покойного были зелены. В горсти зажат пучок травы. Должно быть, в свой предсмертный час Амос, как собака, ел траву, еще цеплялся за жизнь.

Култыш защипнул сначала правый, потом левый глаз Амоса, сложил окостенелые руки на посиневшей груди.

Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, Култыш поел. После еды отдохнул и стал собираться в дорогу. Срубив две небольшие березки, он перехватил комли их опояской. На вершины березок положил покойника. Был Амос тощ, но тяжел. Култыш привязал покойника к волокушам. Топор, ружье, мешок Амоса и свои пожитки оставил в тайге, а сам впрягся в волокуши и неспешным, усадистым шагом двинулся к Онье.

Под шум волокуш, под шелест леса Култыш думал и молча рассуждал о жизни и смерти и, конечно, о тайге. И в который раз таежный скиталец приходил в этих молчаливых рассуждениях к выводу, что великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы — добывать корм; другому — быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо *норок*, чтобы ими упасти свою жизнь; птице — крылья. Человеку же дан только ум, да и то не всякому. Крыльев, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как, имей это человек, он давно бы истребил все вокруг и сам издох бы смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек все живое истребляет. На войне, солдат рассказывал, несчетное количество людей побито. А на каторге, отец говорил, по костям человеческим тачки катали.

Так думал Култыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Култыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, не подлежало в его разуме осуждению и сомнениям. А вот в мире у людей следовало бы кое-что переворошить, следовало бы...



На похороны Амоса Фаефановича собрались мужики и бабы почти изо всех домов. Чинно молились кержаки, читали над усопшим стихиры из толстой, поточенной мышами книги. Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора никто не бросил. Все шло, как полагалось. Мясо, добытое Амосом. Култыш приплавил, роздал по селу. Его приняли, сварили с зеленью, пошедшей в рост после дождей, и, садясь за еду, все говорили: «Господи, упокой душу раба тво-

его Амоса Фаефановича, прости ему прегрешения большия и малыя...»

«Стало быть, таежный закон существует не для всех, — думал Култыш. — Да и нет, видно, на свете таких законов, которые оградили бы человека от бед и напастей. А раз нет таких законов, значит, и счастья человеку нет».

На веревочных вожжах под тихие всхлипы медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом Амоса. Родственники бросили по горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченой рукой землицы.

— Не замай! — жарко дохнул кто-то в ухо Култышу.

— Ишь, какой родич сыскался! — раздалось громче.

— Погубил человека, сволочь!

— Не он бы, так не пошел бы Фаефаныч в эту распроклятую тайгу...

— Укокошил он его, люди! Ей-бо, укокошил! Сколько дён по тайге шлялся. Живым бы застал ишо.

— На-ме-ренно не торопился...

Култыш сначала затравленно озирался, а потом сник, опустил голову. Что делать? Со зверем он бы еще совладал, а это ж люди, человеки! Он знал, нутром чувствовал, что вся эта задавленная голодом, озлобленная суеверным страхом толпа, кольями забившая старого жалкого киргиза, жаждет отдушины, хочет облегчить душу. Кто-то ж есть виновный в тех бедах, какие на них свалились. Не бога же виноватить!

Сдвигается толпа вокруг охотника, точно лес в ненастье. Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но, смелее от страха, подталкивают кержаки охотника к краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся. Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячелетняя боль, смешанная со страхом и злобой.

— Каторжанца отросток! — кричат, подхлестывают себя люди.

— От него злобство на нас перенял!

— Он напасти принес!

— Бедой на село свалился...

— Змею пригрели! Тогда еще, на саяике, оттолкнуть следовало!

— Чего слова тратить? Спускай его!..

Теснее сдвигается толпа и все настойчивей подталки-

вает к могиле Култыша. Оступись, упади — моментально землей забросают, а потом будут сидеть на запорах, обходить стороной кладбище, шарахаться в собственных домах от загробных видений и молиться, молиться.

Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали. Тогда Клавдия закричала на все кладбище:

— Люди, опомнитесь!..

— А-а, полюбовника защищаешь!..

— У нас скот пал, дети вымерли!

— Мужнюю веру осрамила, поселенка тряпичная!..

— Молчать! — раздался тонкий, сломившийся от непривычного усилия голос Култыша.

Это *молчать*, слышанное только от исправника, ошарашило людей.

Култыш вдруг распрямился, до синевы сомкнул губы и двинулся на толпу.

— Чего у меня в горсти? Чего? — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке порох, который уже вспыхнул и вот-вот рвануть должен. — Чего, я вас спрашиваю? — не унимался Култыш и, заикаясь, как в детстве, сам себе ответил: — З-земля! А вы откуда взялись? Из з-земли! А тайга откуда взялась? Из з-земли! Так почему же татями живете в ней и боитесь ее, как мирового судьи?

Охотник передохнул, горькая усмешка тронула его морщинистые губы.

— Порешить? Закопать? Валяйте!.. Меня бояться нечего: я смертен. А вот она, — показывая через плечо на увалы, продолжал Култыш, — она, нет! — И кивнул головой на темную, как ночь, могилу. — Он не чета вам был, покрепче костью, ан и его смяла тайга-то! Э-эх, вы!

Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу. Она дробно рассыпалась на крышке домовины.

Сделалось совсем тихо.

Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившей сердца этих людей, не повел их за собой. Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им. Всем чужой. И они ему тоже чужие.

В тайгу! В тайгу!

Отряхнул охотник штаны, вытер о них руки и пошел. Люди молча расступились перед ним. Они знали: теперь он уходит от них навсегда, и не пожалели об этом. А лишь

позавидовали, что этот человек был таким, что перед ним все они и даже смерть были бессильны.

Ушел он, и больше в селе его не видели.

Когда наступил рекостав, Клавдия запрягла лошадь и поехала в Изыбаш попроведать охотника.

Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток перешибал запах тления. В руке Култыша вместо свечи цветок стародуб. Такой же, как и тот, что хранила за образами Клавдия. На столе исходил небесным сиянием голубой камень. Зимнее солнце, проникая в окошечко избушки, ударялось в него косыми лучами — в камне вспыхивали, переливались искры.

Резвился перекатный Изыбаш, не усмиренный даже холодом. В торжественном оцепенении стояли леса. Ослепительное морозное солнце сияло в небесах, освещая ему путь.

Искрился снег на ветвях кедра и на черном лиственном кресту, стоявшем под этим кедром на угоре. Осиротела могила Фаефана Кондратьевича. Осиротела охотничья избушка. Но осталась в ней истопля дров, узелок с солью, коробок спичек — *серников* и засохшие пахучие стародубы под матицей. Приходи, добрый человек, занимай всегда открытую охотничью избушку. И уловишь ты неслыханный запах цветов, услышишь, как призывно шумит в горах осиротелый Изыбаш!..

*

Хоронить охотника на кладбище «опчество» не разрешило. Клавдия отвезла его за поскотину и на той же елани, где был закопан киргиз с внучонком, схоронила. Весной Клавдия принесла и посадила на одиноком бугорке кедр с тремя пышными лапками. Не хотела она, чтобы последний покой Култыша затоптала скотина, как это случилось с могилой старого киргиза и его внучонка.

Кедренок оказался живуч и настырен, растолкал траву, татарник, лебеду и пошел в рост, вытягивая веточками нити липучего вьюнка и наивные, светлые, как глаза ребенка, цветы чистотела.

В тот год, когда Клавдия определила сынов своих на работу в город, а сама, будто исполнив все, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой Култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть одиноким. Стучат шишками о грудь земную вечнозеленые кедры, умеющие так мудро молчать вечерами.

1958—60 г.

Пастух и пастушка

СОВРЕМЕННАЯ ПАСТОРАЛЬ

Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком и камнем,
И перлом — всем, чем ты была!

Теофиль Готье

И БРЕЛА ОНА ПО ДИКОМУ ПОЛЮ, НЕПАханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, и колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, как по наледи, поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, и шаг ее был суетливый, сбившийся.

Насколько охватывал взгляд — немая степь кругом, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали ее, да у самого неба тенью проступал хребет Урала. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начина-

лось небо, где кончалось море — она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик с крупной цифрой порябил-порябил и утвердился перед нею. Она спустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу с пирамидкой. Была когда-то на пирамиде звездочка, но, видно, отопрела.

Могилу затянуло полынью и травою-проволочником. Татарник взнимался рядом с пирамидкой, но выше ее не решался подняться. Несмело цеплялся он заусеницами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустилась на колени перед могилой.

— Как долго я искала тебя!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребливал пух из шишечек татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, и угрюмо нависал над нею древний хребет, устало и глубоко вдавившийся грудью в равнину, да бельма солончаков отблескивали все так же холодно и немо.

Но это там, дальше, у неба. А здесь лишь скорбно шелестели немощные травы и похрустывал костлявый татарник.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Бой

Орудийный гул опрокинул и смял ночную тишину. Просекая тучи снега и тьму, мелькали вспышки орудий, и под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженно

земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Наши войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой, как и под Сталинградом, отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами и полками ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день метались по фронту. Вечером выкатились на взгорок «катюши», поизорвали телеграфную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так называли на фронте минометчиков с реактивных установок-«катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные списки пэтээров. Густо, как немытая картошка, насыпанная на снег, виднелись солдатские головы в касках и шапках.

В полночь приволоклась тыловая команда, принесла супу и по сто боевых граммов.

В траншеях началось оживление.

Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной — казалось, враг, вот он, ползет-подбирается, — торопила с едой, чтобы поскорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника и как он может ударить врасплох.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу и эрэсовцам. «Только по нам не палить!» — ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось, и у молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель и неизвестность, надеялись: пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, а мо-

жет, в двух, правее взвода Костяева послышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полуторасотки-гаубицы, и снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных, мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть и накатываться. Завывали шины, немазано скрежетнули эрэсы, и озарились окопы грозными всполохами. Вперед, чуть левее, часто и заполошно тявкала батарея полковых пушек.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщения забило местами вровень со срезами, да и не различить было эти срезы.

— О-о-о-од! Приготовиться! — крикнул Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время ударило из снега струями трассирующих пуль, мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега возникла и покатилась на траншею темная масса людей. С кашлем, криком и визгом ринулась она на траншею, провалилась, завязла, закопошилась.

Началась рукопашная.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, мерзлые, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбираясь — кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, и в сильной левой руке он держал лопатку, а в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал в сугроб, зарывался, потом вскакивал и делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял и отбрасывал что-то с пути.

— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей и понимать, что взвод его жив и дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

— Ребя-а-а-ага-аа-а! Бе-ей! — кричал он, взрыдывая.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя и взвод. Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Оттоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатились в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и слепой ярости.

Ракеты, много ракет взмывало в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, и в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете делалась черной, как порох, и пахла порохом. Секло лицо, забивало дыхание.

Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу и крушил все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли.

— Бей его! Бей! — Борис стрелял из пистолета и не мог попасть, а сам пятился по траншее, уперся спиною в стену, перебирал ногами на месте и, как во сне, не понимал, почему не может убежать и что ему мешает.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, и сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то, темнея, проваливался. Он дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, и лом уже был не ломом, а выдранным с корнем дубьем. Руки его длинные и с когтями... Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от него. Полыхающий факел за спиной — будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло это чудовище, поднялось с четверенек и дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя.

Мохнаков рванулся из траншеи, побрел, загребая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, и рухнул к его ногам.

— Старшина-а-а-а! Мохнако-о-в! — Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал его за шинель.

— Карау-у-ул! — тонко выл на последнем издыхе Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную нору. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась; и все в нем вдруг закостенело, сцепилось в твердый комок — теперь он попадет, твердо знал — попадет.

Ракета. Другая. Пучком всплеснулись ракеты, и Борис увидел старшину. Он топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

— Живой! Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.

— Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. — втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула.... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

— Танки! — разноголосо завопила траншея.

Из темноты понесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудищами возникли из ночи. Скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они крушили и перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходилось сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрэсов, адским огнем озарив поле боя, качнув окоп, как люльку, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И наши, и чужие солдаты попадали влежку, жались друг к другу, затискивали головы в снег, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, срывая ногти, старались быть меньше, утягивали под

себя ноги — и все это без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул нарастал.

Возле тяжелого танка ткнулся и хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом и забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой перекатывающийся ворох снега, слепо ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы, и русские. Танк возник, зашевелился безглазой тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину и Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили и перемалывали мерзлую землю гусеницы.

— Да что же это такое?! Что же это такое? — Борис, ломая пальцы, вжимался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, как суслика, из норы, но он вырывался и снова лез в землю.

— Гранату! Где гранаты?

Борис перестал биться в снегу, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину и полз вслед за танком, который пахал траншею, медленно, метр за метром прогрызая землю и снег, отыскивая опору для второй гусеницы.

— Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... сейчас! — Взводный бросал себя за танком, а ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, и он падал, запинаясь о раздавленных людей. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, как рюмку, боясь расплескать ее, и плакал оттого, что не может настичь танк — ногами плохо владеет.

Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судорогах, и в это время, выпроставшись из снега, Борис приподнялся и, ровно в чику играя, кинул под сизый выхлоп машины гранату. Жахнуло, обдало лейтенанта снегом и пла-

менем, ударило комками земли в лицо, забило рот и катануло его по траншее, как зайчонка.

Танк дернулся, осел и смолк. Со звоном опала гусеница и распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, и еще кто-то фуганул в танк гранату.

Остервенело лупили по танку ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорается. Возник немец без каски, стриженый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. Он с живота строчил по танку из автомата, что-то кричал и подпрыгивал. Когда кончились патроны в рожке автомата, немец отбросил его и, обдирая кожу, начал колотить голыми кулаками по цементированной броне танка. Тут его и подсекло пулей. Он сполз под гусеницу, подергался маленько в снегу и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, пометалась по ветру и закрыла его безумное лицо.

Бой откатился куда-то в сторону, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь и хрипя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязшие в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотою, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди все тявкала полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины, и затрещал запоздало и обрадованно ручной пулемет, а станковый молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры чужих солдат, от низко севших плоских касок казавшихся безголовыми, и бросались во тьму, следом за своими, с криком и плачем.

По ним редко стреляли и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветенье ракет. И чьи-то жизни ломало там и уродовало. А здесь все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны и гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились и шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, и к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и

рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко стриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он тянул цигарку и все посматривал на тушу танка, темную и неподвижную.

— Дай мне! — протянул руку Борис.

Старшина окурка ему не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, а потом уж кисет, бумагу и, когда взводный неумело скрутил сырую цигарку, прикурил и закашлялся, старшина бодро воскликнул:

— Ладно ты его! — и кивнул на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину: такую громадину — такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, гарью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову его ударяло, в глазах возникали радужные круги.

— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.

— Давай! — отобрал у него цигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул взводного ближе к себе. — Идти надо, — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцами выковыривать землю.

— Что-то... Тут что-то...

— Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопал на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, как доскою, бил по голове, не больно, не оглушительно. Борис на ходу черпал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный, но живот нисколько не остужало, а наоборот, даже жгло. Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санинструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановилась и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

— Живы! — обрадовался Борис.

— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то повинился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося, ещё вялого офицера, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

— Офицерья наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко: солдат вперед, на мясо, а сами под броню... — Он склонился к санинструктору: — Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт был ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о колено и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она туго стянула лоб старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, а нашими телефонистами — как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, и тут их обоих и размичкало гусеницей.

Четыре танка остались на позициях взвода, а вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазовые коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «катюши».

— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце...

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, и отрядил одного бойца к командиру роты, а если не сыщет ротного, велел бежать к комбату.

Из подбитого танка добыли бензина, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офи-

церские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарился там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

— Е-е-есть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И... немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс распределила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, — студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили над ранеными козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок, и согрелись немного в работе. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые; и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучился водитель. «Ну что ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты.

Одного за другим посылали трех бойцов в батальон, но никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стукала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывал обожженный водитель.

Борис засунул руки в рукава и виновато потупился.

— Где ваш санинструктор? — не открывая глаз, спросила девушка.

— Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы. Она,

напрягшись, ждала — не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла еще секунду, другую, вслушиваясь. — Нужно идти, — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

— Бойца!.. Я вам дам бойца.

— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу. Вдруг что.

Спустя минуту Борис вскарабкался на верх траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались липучей, и Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

— Карышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

— Выставил.

— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина нехотя поднялся, затянул туже полушубок и сам поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. — Прикажете артиллеристов сюда? — прихватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с огневой позиции, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев русских, побитые танки, чадящие машины, укатывались ку-

да-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снеговой мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял все снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, как догадался Борис, не унимаясь бухали два миномета, а с вечера их было там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то, по неведомым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края начали смущенно свертывать стрельбу, одна за другой; рявкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека еще долго докатывались толчки земли и звякали на поясах солдатские котелки от содрогания.

Перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал и лепился уже без шараханья. Он валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей и копился, дожидаясь, когда тут внизу уймется огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастывать головы из снега, оглядываясь недоверчиво вокруг.

— Все?! — спросил кто-то.

«Все!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулеметов и чуть слышные раскаты взрывов.

— Вот вам и все! — буркнул взводный. — Быть на месте! Проверить оружие!

— А-а-а-аев!.. А-яа-аев!

Голос приближался.

— Ан-ан... Ая-я-аяев...

— Вроде вас кличут? — навострил тонкое и уловчивое ухо бывший пожарный, ныне рядовой стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения: — О-го-го-о-о-о! — грелся Пафнутьев голосом.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер мокро с лица.

— У-уф! Ищу, ищу! Чего же не откликаетесь-то?

— Ты бы хоть доложился...— заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

— А я думал, вы меня знаете! Связной ротного,— вытряхивая рукавицы, удивился посыльный.

— С этого бы и начинал.

— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забивая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

— Кончай травить! — прогудел старшина Мохнаков.— Докладывай, с чем пришел, и угощай трофейной, если разжился.

— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.

— А вы, значит, тут,— не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордоворот! Лучше греет...

— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку нигде не встречал?

— Не-е. А чё, сбегла?

— Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка.— Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом.— Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил: — Как доберусь до батальона, первым делом пришлю за ранеными.— И, стыдясь скрытой радости оттого, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь, братцы! Скоро вас увезут.

— Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет...

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и когда пришли в расположение роты, там никого уже не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, как бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера и особенно напарника, который уснул на промежуточной точке,— телефонист посадил уж батарейки в аппарате, пытаясь разбудить его зуммером.

— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от гудящего, как оса, зуммера.— Лейтенант Костяев, что ль? — И, полу-

чив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом. Я околел до смерти... — Продолжая ругаться, связист отключил аппарат и все повторял: — Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! — Вынул из-под зада котелок, на котором сидел, охнув, поковылял по снегу отсиженными ногами. — За мной! — махнул он. Резво треща катушкой, он сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться местью: если напарник не замерз, пнуть его как следует.



Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой, — совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, и даже чересчур приветливо, встретил своего взводного.

— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — Был он сильно возбужден боевыми успехами, а может, хватил маленько горячительного.

— Во война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи. А у нас? — прищелкнул он пальцами. — Вторая рота почти без потерь; человек пятнадцать, да и те блудят небось либо дрыхнут у хохлуш, окаянные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

— А нас напарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбился же, — хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой. — Во напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды набью! А ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда! — Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать пальцем в карту. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, как

редиска. — Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле, между хуторами и селом, — большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов и полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

— Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай, — показал Борис на жбан с горлышком.

— Ладно, ладно, — отмахнулся комроты. — Возьму раненых, возьму. — И начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, — наказывал он. — Да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, а может, сделалось светлее от того, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расшеперилась середь дороги расплюснутая легковая машина, из нее расплывалось грязное пятно. Снег был черен от копоти. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи своротены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая, как на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, и у костерка грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки и машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще неосевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам и хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы — не пехота — народ союзный.

— Ладно. Хорошо. Ели?

— Чё? Снег?

— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, принюхивались. Но пришел Филькин и прогнал всех, а Борису дал нагоняй ни за что, ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

— За баней был? — спросил он.

— Нет.

— Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубок толсто напряденной пестрой шерсти. Залп артподготовки прижал их за баней — тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками, посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты.

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревками, а старик — в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал их потому, что взъемы у немецких сапог низки, и сапоги не налезали на его больные ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъема.

— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

— В сумке лепехи из мерзлых картошек, — объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и начал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров.

Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не смогли и решили — так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные, потухшие лица: старухино — ее же полушалком с реденькими висюльками кисточек, старика — осохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, бугорок лопатами прихлопали, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет — земля-то мерзлая, со снегом, и тогда селяне, может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву, и никто не осудил его за это: покойные-то — старики.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Свидание

И ты пришла, заслышав ожиданье...

Я. Смеляков

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо и молча, не дожидаясь, когда сварится картошка.

Пальцами доставали прокисшую капусту из глечика, хрустели, крякали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветви акаций и жгуты соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней Ар-

кадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны и боком подсел к столу:

— Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом. Старшина Мохнаков поднял с полу немецкую канистру, налил полную кружку, подсунул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

— Запыживай, паря!!!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался. Судорожно дергаясь и всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и он жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

— Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, — с беспокойством думал взводный, — а то уже и жутко даже...»

— Вы тоже выпили бы, — обратился к нему Корней Аркадьевич, — право, выпили бы... Оказывается, помогает...

— Я дождусь еды, — отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым. — Видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, а когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел — и у него три дня стыли ноги в этих сапогах. И он поскорее сменял их. Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

— Промерзли? — спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку и взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», — хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком. По освещенному огнем лицу хозяйки пробегали тени. И было в ее маленьком лице что-то, как будто недорисо-

ванное, подкопчено лампадками или лучиной деревенской было оно, и проступали отдельные лишь черты лика. Хозяйка чувствовала на себе пристальный и украдчивый взгляд и покусывала припухшую нижнюю губу. Нос у нее ровный, с узенькими раскрылками и припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, и они делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили как бы отдельно от лица. Но из загадочных, как бы перенесенных с другого, более крупного лица, глаз этих не исчезало выражение глубокой, устоявшейся печали. И еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им место.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горсткой раскаленных гвоздиков, и от них шел сухой струйный пар. Рот хозяйки чуть приотворился, и руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее — и она, вздрогнув, уронит руки, как не свои.

— Может быть, сварилась? — осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

— А? — хозяйка резко отступила в сторону. — Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем. — Произношение не украинское. И ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех женщин здесь научили повязываться, прятаться и бояться.

Люся выдвинула кочергой ведерный чугун на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукой и сунула палец в рот.

Прихватив чугун солдатской портянкой, Борис отлил воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник и потерянно наблюдала за Борисом.

— Вот теперь налейте и мне, — поставив чугун на стол, произнес лейтенант.

— Да ну-у-у? — громко удивился Мохнаков. — К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — и опять шевельнулся угол рта старшины, будто подкова одним концом разогнулась.

Борис даже не посмотрел на старшину.

— Подвинься-ка! — двинул он в бок Шкалика.

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не упал со скамейки.

— Напоили мальчишку! — буркнул Борис, не обращаясь ни к кому. — Садитесь, пожалуйста, — позвал он Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывающему шестку и все еще прячущую руку под передником.

— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку и по груди.

— Н-не, девка, не отказывайся, — распевно завел Пафнутьев, — садись, не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев. — Я вас очень прошу.

— Хорошо, хорошо! — Люся как будто застыдилась, что ее упрашивают, что лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. — Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка и передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей, и она стеснялась себя.

— Напрасно вы здесь расположились, — скованно заговорила она и пояснила Борису: — Просила, просила, чтоб проходили туда, — махнула она на дверь в чистую половину.

— Давно не мылись мы, — сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

— Наоставляем трофеев.

Старшина налил всем и Люсе тоже. Стали чокаться. Зазвенели кружки, банки, звякнул стакан, из деликатности отваленный Люсе. Она подождала с поднятым стаканом — не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил, и Люся, потупившись, вымолвила сама:

— С возвращением вас... — и отвернулась к печке, — мы так вас долго ждали. Так долго... — она говорила с какой-то виноватостью. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

— Вот это — по-нашенски! Вот видно, что рада! — загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шка-

лик хотел опередить Карышева, да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Взводный с досадою отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, и ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие. Оттого чувствовали они себя иной раз бросовыми людьми и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило «для сугрева», но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас совершенно безгрешно насчет баб и выпивки. Пил сильно, но не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщину, бывший боец сельской пожарной команды Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу, и, накопив литр, а то и поболее, и дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», как объясняли они эти свои беседы. А потом пели — Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом солнце зы-ва-сия-а-а-ало,
Гы-де черы-най во-е-еора-а-ан про-кы-рича-ал.
Пы-рошли часы, пы-рошли мину-уты,
Ковды-ы зы-девче-е-онкой я-а-а- гуля-а-ал...

— Откуль будешь, дочка? — лез с вопросом к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, раскрасневшийся от выпивки. — По обличью и говору навроде русская? — И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

— Дайте человеку поесть.

— Да я могу и есть, и говорить, — Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступней. Один лишь старшина незаметно ощупывал ее потаенным взглядом. От этого всепонимающего, налитого тяжестью взгляда ей становилось не по себе. — Я не здешняя.

— А-а. То-то я и гляжу: обличье... Не челдонка случаем? — все больше мягчая лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

— Не знаю.

— Вот те раз? Безродная, что ли?

— Ага.

— А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев — лысый. Эти-то два отличия они и использовали предметами для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболокся? Взбредет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре, — и зафитилит из орудьи!» Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц подумает — миномет тута — и накроет!»

Солдаты в покат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне и стал их видеть и понимать по-другому и ничего уже неловкого в солдатских шутках не находил.

Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости да основательно. В «умственные» разговоры встревали редко, но уж если встревали — слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, впавшего в рассуждение насчет рода людского: «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим в особенности, потому, как сам из рабочих и главнее всех сам себе кажешься. А всех главнее на земле — крестьянин-хлебопашец. У него есть все: земля! У него и будни, и праздники в ней. Отбирать ему ни у кого ничего не надобно. А вот у крестьянина от веку норовят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс-у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь! Вот он и лезет везде, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет. Его бьют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитроватой мудрецой поглядывал на Корнея Аркадьеви-

ча. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевая ее, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке и ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того, ни с сего ляпнул:

— А я из Чердынского районy!..

— Ложился бы ты спать, из Чердынского району, — заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его в армию забрали — и оказался Шкалик на фронте, в пехоте.

— Есть такое место на Урале, — продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать. — Там знаете какие дома?!

— Большие! — хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный оттого, что с хорошей службы слетел. Состоял он при особом отделе армии, но одного, осужденного в штрафную, до ветру отпустил, а тот взял да в село ушел, гимнастерку променял и сапоги, пьяный и босой возвратился. За потерю бдительности Пафнутьев и оказался на передовой.

— Ры-разные, а не большие, — поправил его Шкалик, — и что тебе наличники, и что тебе ворота — все из... изрезанные, изукрашенные... И еще там купец жил — рябчиками торговал... ми...мильены нажил...

— Он не дядей тебе случайно приходится? — продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подъедает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

— Не-е, мой дядя конюхом состоит.

— А тетя — конюшихой?

— Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? — Шкалик прошелся по застолью налитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу. — «Подлиповцы» читали? Это про нас...

— Читали, читали... — начал успокаивать его Корней

Аркадьевич.— Пила и Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать. Пойдем баиньки.— Он подхватил Шкалика, поволок его в угол на солому, а Пафнутьеву бросил: — До чего ты ржавый крючок!

— Во! — кричал Шкалик.— А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис.— Дался он вам...

— Я сурьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходился,— вяло подумал Борис.— Больше не надо выпивать...». Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

— Извините,— сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд до невзаправдашности красивых глаз. Будто с экрана, издалека, глядела она, и то темнело, то прояснялось лицо ее.— Держу при себе как ординарца, хотя мне он и не положен,— пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку.— Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.

— Зато мягкосердечный, добренький зато,— неожиданно вставил Мохнаков, глядя в потолок и как бы ни к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели А в горле его ржа появилась. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — этого никогда еще не было. Старшина, как родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас, в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми и хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором глядели на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насыла-

лись с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, а потом к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрыв глаза. — Что мы повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене! — морщился Борис. — Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Споемте? — нашелся взводный.

Звенит зва-янок насче-от па-верки-и-и,
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-а-ал...—

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот тощей ладонью.

— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. — Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек. — Я сегодня думал. Вчера думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кроволитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Послед-ней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле — материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее...

— Стоп, военный! — хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку. — Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит... — Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок. — Иди, прохладись да пописять не забудь — здесь светлее сделается, — похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, и видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. — Простите! — церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.

Большеголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. Злой, хитрый, ловкий солдат Пафнутьев. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Мохнаков выпил самогона. Налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:

— Запыжь ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут баял чернокнижник? Не слышал, правда?

— Ни звука! Я же песню пел, — нашелся Пафнутьев и, как бы продолжая песню, умильно, с пониманием грянул:

Ро-сой с тра-я-вы-ы он у-ю-умыва-ялся-а-а,
Молил-ся бо-е-огу на-я-а васто-о-о-ок...

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал. Его затошнило.

— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, краснея, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал царапать ледок на стекле.

— Да что вы, да я всякого навидалась! — пыталась поправить неловкую заминку Люся. — Подотру. Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, но Карышев придержал ее и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. — Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!

— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина, нагловато щурясь. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой Люсе вдогонку.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Столько унижали в жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, что кукиш старшины под нос вроде бы и пустяк, да все же царапнуло душу, у него раскисли глаза.

— Жалостливость наша, — промямлил Пафнутьев, и все поняли — это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. — Вот я... обутый, одетый, в тепле был, при должности, и ужасти никакой не знал... Жалость меня, вишь ли, разобрала... Чуствие!

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивая. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Как-то подшибленно стал ходить старшина, заметили солдаты, и чаще подбрасывает пуговицу или монету, и не ловит ее игриво, а прямо-таки выхватывает из пространства. Начал было вместо пуговицы синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка — этакая веселая игрушка. Но бойцы зароптали: дескать, если желательно старшине, чтобы ему оторвало кой-чего, пусть жонглирует вдали, а им все, что с собой, — до дому сохранить охота.

В хату возвратился Ланцов и мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул на скамье, разбежавшись, пнул дверь.

В потемках сеней наткнулся на Шкалика. Тот не мог найти скобу. Борис втолкнул Шкалика в хату и прислушался. В темном углу сеней слышалась возня и Люсин срывающийся голос: «Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!..»

— Мохнаков!

Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся, тяжело и смрадно дыша.

— Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеный воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь и уйдет в хату Люся.

— Чем могу служить? — придвинулся старшина. Дыхание его выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил шаг, смерил лейтенанта взглядом с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

— Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены.

— Ты знаешь, чем меня оконтузило.

Старшина запахнул полушубок, осветил взводного

фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожильях, шея скособочилась — натер шею воротом шинели, а может, старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные.

— По-нят-но! Спа-си-бо! — Мохнаков понял: этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьет! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот...

— Стрелок какой нашелся! — нервно рассмеялся старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось, ударилось в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда он загорелся, еще раз придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бороденку. «Ну, смотри, паря!» — предупреждали глаза старшины из темноты. — Я ночую в другой избе, — сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком. — Катитесь вы все!.. — крикнул уже издали старшина.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, в ногах слабость. Давило на уши, и пузырилось, лопалось что-то в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против дома. Голые, темные, в веник собранные тополя недвижны, и подрост за ними — вишенник или терновые кусты — клубится немыми взрывами.

Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По улицам метались огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, и где-то напуганно лаяла охрипшая собака.

«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков!» — Борис опустился на порожек сеней, засунул руки меж колен, мертво уронил голову.

Лай собаки отдалился...

*

— Вы уже закоченели, товарищ лейтенант! — послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. — Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей; лязг

осколков, огненные вспышки, крики — все это скомкалось, отлетело куда-то, и дергающееся возле самого горла сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место.

— Меня Борисом зовут, — возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный. — Какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание, все еще отчетливое, скользкое, будто по ледяной катушке катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавших людей, и эта женщина с театральными, невзаправдашними глазами, зябко прижавшаяся к косяку двери.

— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится. Вам принести шинель?

— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. — Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

— Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек... — Хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить. — А старшина... вернется?

— Нет! — преодолевая замешательство, коротко ответил взводный, и хозяйка сразу оживилась, заспешила.

— В избу! — нашаривая скобу, смеялась она. — Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата... — Она не открыла дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки, и пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по-самоварному бак с водою. Взводный поискал, куда бы пристроить портянки, но все уже было завешано пожитками солдат, и от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич. — Борис при-

жимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается и вянет его нутро. — Все уже спят, и вам пора.

— Варварство! Идиотство! Дичь! — будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. — Глухой Бетховен для светлых душ творил, а фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц! Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекраснее, тем больше хочется лапать ее насильникам...

— Может, все-таки хватит? — оборвал Борис Корнея Аркадьевича. — Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.

— Что вы, что вы? Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич человеческое. Мы тут отучились уж от людских-то слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Простите старика. — Он потискал костлявыми пальцами обросшее лицо. — Напился, как свинья! И вы, Борис, простите. Ради бога! — Уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он хлюпнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! Как мне вас жалко! — Свистнув прощально носом, он отчалил от этих берегов, задышав ровно, с пришлепом.

— Пал последний мой гренадер! — через силу улыбнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно глянула на лейтенанта.

— Нет-нет! — поспешно отмахнулся он. — Запах от нее... впору тараканов морить!

Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис отыскивал место среди разметавшихся, убитых сном солдат. Шкалика — мелкую рыбешку — выдавили наверх матерые осетры — алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта, как в буран.

Взлетели планки пяти медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться.

Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, рывком выдернул из-под них клок измочаленной соломы и начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с пола шинель, телогрейку лейтенанта и забросила их на печь. Приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.

— Ну, зачем вы? Я бы сам...

— Идите сюда! — позвала Люся. Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за нею.

В передней горел свет. Борис зажмурился — таким ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто. Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. Пол земляной, но гладко, без щелей, мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике, — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скудная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья и спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел на лампочку нерусского образца — приплюснутую снизу.

Люся, тоже ровно бы потерявшись в этой просторной выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбили, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши летчики, видать, не знали об этом. Локомобиль немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели, да ночевать-то ему почти не доводилось, в штабе и спал.

Отступали немцы за реку бегом, про локомобиль забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узенькой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный неровно пригнанный пол, застланный пестрой рядниинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены

против окна — чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

— Вот тут и ложитесь, — показала Люся на кровать.

— Нет! — испугался взводный. — Я такой... — пошарил он себя по гимнастерке и ощутимее почувствовал под нею давно не мытое очерствелое тело.

— Вам ведь спать негде.

— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на дверь. — Ну, на скамье. Да и то... — он отвернулся, покраснел. — Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, и она не знала, как все уладить. Она смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернувшись с ситцевым халатом, протянула его.

— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она. — Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась. — Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.

Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна пуговица была оловянная, солдатская, а сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

— Я вас не выпущу! — Люся держала фанерную дверь. — Если хотите, чтобы высохло к утру, — раздевайтесь!

Борис опешил.

— Во-о. Дела-а! — Почесал затылок. — А-а, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — Решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнулся и, собрав в беремя монатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.

Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардей-

ский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпорола желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения.

Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил — цветок-то из стружек! Червоный цветок напоминал сырую рану, и занудило опять нутро взводного.

— Это что? — Люся показала нашивку.

— Ранение, — отозвался Борис и почему-то поспешно соврал: — Легкое.

— Куда?

— Да вот, — ткнул он пальцем себе в шею. — Пулей чиркануло. Пустяки.

Люся внимательно поглядела, куда он показал: чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанту, и он словно бы в галстуке. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея и как все устало в человеке от пота, грязи и пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.

— Пусть все лежит на столе, — сказала Люся и снялась с места. — Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню.

«Побаню!» — подхватил взводный тутошнее слово.

— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!

В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине. Он скорее выпрямился, распахнул полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода или страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел. «Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам».

Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.

— «Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой, однооконной комнате, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну, может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствова-

ло халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей, и Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри. «Поспать бы минуток двести-триста, а лучше — четыреста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное...» — Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало этой старинной, по-русски жесткой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать, слушая самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.

— С кем это вы тут?

Лейтенант смотрел на Люсю издалека.

— Да вот на Мельникова-Печерского напал, — отозвался он наконец, — хорошая какая книжка.

— Я ее тоже очень люблю, — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите, мойтесь. — Повязанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять обыденно отдалились.

За русской печкой, в закутке, как и во множестве украинских хат, была лежанка. На ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным жидким мылом, мочалку, ведро и ковшик.

— Крещайся, раб божий! — сказал Борис, дождавшись, когда Люся прикроет дверь в переднюю, и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.

Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а толстая кожа. Из-под кожи этой, грубой и соленой, обнажается молодое, осудороженное усталостью тело, и так оно высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, а по телу медленно плывет истома, качает корыто, будто корабль на волне, и несет куда-то в сладостную тихую даль полусонного лейтенантишку.

Он старался не плескать на пол, не обшлепать стену и печку. И все же обшлепал и стену, и печку, и наплескал на пол.

В запечье сделалось совсем душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, и в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виделось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено — наступала вольность на несколько дней: бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи кирпича. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взыскующе-суровым взглядом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвязывался мешком и включался в работу. Печник одобрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе предлагал: «Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?..»

Ответом ему было презрительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами у мужиков и, грязный, мокрый, возбужденно звал: «Мама! Смотри, уж печка получается!..»

А она и в самом деле получалась: из груды кирпичей, из глины вырастало сооружение — зевастое чело, глазки печурок, даже бордюрчик возле трубы.

Печку наконец затопляли, и работники сосредоточенно ждали — что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая поначалу дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делаясь пестрой, как корова, становясь необходимой и привычной в дому.

На кухонном столе отец с печником распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Принимай работу!» — требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликалась. Печник обиженно совал в карман скомканные деньги, прощался с хозяином за руку и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь: «Я б с такой бабой дня не стал жить!»

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопил-

ся уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек из прошлого, в котором все теперь было исполнено особого смысла и значения.

Отжав тряпку под рукомойником, он сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, как бы спаявшийся с гимнастеркой плесенно-серыми наплывами.

— Воскрес раб божий! — с деланной лихостью отрапортовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся теперь уже открытым взглядом, по-матерински близко и ласково глядела на него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы, взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что не угадывался в нем окопный командир.

— Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина потеряет голову из-за вас!

— Глупости какие! — отбился лейтенант и тут же быстро спросил: — Почему это?

— Потому что потому, — заявила Люся, поднимаясь. — Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь с богом! — Люся мимоходом погладила его по щеке, и было в ласке ее и в словах какое-то снисходительное над ним превосходство. Никак она не постигалась и не улавливалась. Даже когда смеялась, в глазах ее оставалась недвижная печаль, и глаза эти так отдельно и жили на ее лице своей строгой, сосредоточенной и всепонимающей жизнью.

«Но ведь она моложе меня или одногодок?» — подумал Борис, юркнув в постель, однако дальше думать ничего не сумел.

Веки сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.

*

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, гордящийся тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиганство, ныне пододевшийся в комсоставский полушубок, в чесанки и бе-

лую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

— Ой! А я выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на речку. Утром думала... — виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печи, ждала, пока Борис переоденется в комнате. — Вы приходите еще, — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. — Я и выстираю тогда...

— Спасибо. Если удастся, — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав: это она старшины побоялась. С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты.

— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он когда бывал не в духе, всегда так обидно называл своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей. — Э-эх, прапоры, прапоры! — вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу занимающемуся рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступавшему в заснеженных полях.

Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком сон. Он вообще-то ничего мужик, вспыхивает, как береста, трещит, копоть поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдается. Засел по оврагам да в полях и держится. А чего держится? Зачем? Сдавался бы и не дрог на холоду... И комроты спал бы, и прапорам своим спать бы дал, а хозяйка постирала бы имущество. Какая-то она странная...

— Кемаришь, Боря?

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Совсем светло сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и просится в санчасть!..» — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке.

— Видишь поле за оврагами и село? — спросил Филькин и сунул Борису бинокль со словами: — Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов,

товарищи командиры, — показывая рукой на село за полем, продолжал комроты. Держа на отлете бинокль с холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет. — По сигналу ракет — с двух сторон!..

— Опять мы?! — зароптали взводные.

— И мы! — снова разъярился комроты Филькин. — Нас что сюда рыжики собирать послали, что ли? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей! — Филькин сурово поглядел на Бориса. — Бить фрица, чтоб у него зубы крошились! Чтобы охота воевать отпала...

Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги.

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко и энергично, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чисто поле.

Солдаты сперва ворчали, но потом залегли в снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев, — чего еще ждут, проклятые? Чего вынюхивают? Богу своему окаянному о спасении молятся, что ли? Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худенькие сады по склонам оврагов, врассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, ныривая в сугробах.

Ударила артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега... двинулись следом за ним. Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины, и Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще не ясная. Многие огневые не перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, а после каяться будут, магарычи ставить, чтоб жалобу на них не написали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полуторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж по-

верху. Бойцы отползли к огородам, к уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон. Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Пехота, она умная, тут всякий солдат себе стратег. Когда-то Борис, как и многие молодые, но прыткие от начитанности командиры, этого не понимал и понимать не желал. На фронт из полковой школы он прибыл, когда немец спешно катился с Северного Кавказа и Кубани, а наши его догоняли, меся сначала кубанский чернозем, а затем песок со снегом, и никак не могли догнать. Борису так хотелось скорее настичь врага и сразиться, так хотелось!

«Успеешь, младший лейтенант, успеешь! Немца хватит на всех, и на тебя тоже!» — снисходительно успокаивали его неторопливо топающие, покуривающие табачок, рассудительные бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку и рюкзаком, горбато дыбящимся за спиной, они совсем не походили на тот образ бойца, какого мечтал вести вперед Борис. Они и двигались-то неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе, или в станице, мало побитых врагом, и располагались на ночевку удобно, обстоятельно, иные даже и на пару с черноокими, податливо игривыми казачками.

«Вот, понимаешь, воины! — негодовал младший лейтенант. — Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!»

Сам он до того изнервничался, до того избегался, а затем и наголодозался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и на руках, а по телу пошли чирьи. Его особенно изумили мозоли на руках — земли не копал, все только суетился, кричал, бегал — и вот тебе на!..

Врага настигли в Харьковской области. Дождался-таки боя молодой и горячий командир. Дрожало все в нем от нетерпеливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстреливать врага в упор, а если понадобится, и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет — из нагана какая стрельба?! Но в руках умелого и целеустремленного воина древний семизарядный наган тоже мог стать грозным оружием.

И не успели еще разорваться последние снаряды нашего артналета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями опадающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из траншеи, громогласно, как ему показалось, а на самом деле сорванно и визгливо закричал: «За мной! Ур-ра!» — и, махая наганом, помчался вперед. Помчался и отчего-то не услышал за собой грозного топота и героических возгласов. Оглянулся: солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, как будто не в бою, а на работе были они и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого внимания друг на друга и на него, боевого командира.

«Трусы! Негодяи! Вперед!..» — заорал пуще прежнего младший лейтенант, но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же и подсекло пулями фашистов. И тогда пришло молниеносное решение: пристрелить. Пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов, с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой, совсем не боевой... И, как на грех, плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся и начал медленно орудовать лопатой, закапывая сначала голову, а потом и дальше.

Борис на него заорал, даже затопал и собрался, нет, не застрелить — боязно все же стрелять-то, а стукнуть подлеца наганом. Как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, бесцеремонно рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгреб под себя, будто кубанскую молодуху. «Убьют ведь, дура!» — сказал солдат и стал куда-то стрелять из винтовки, а потом вскочил и, невообразимо проворно для его возраста, ринулся вперед, и вроде бы как занырнул в воду, крикнув напоследок: «Не горячись!.. За мной следи...»

Смеяться над Борисом особо не смеялись потом, но так, между прочим, подъелдыкивали: «Нам чё? Мы за нашим командиром, как за каменной стеной, без страху и сомненья!.. Он у нас как побежит, как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи подсчитывать остается и трупы супротивника...»

Не сразу, нет, а после многих боев, после ранения, после госпиталя застыдился себя Борис, такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного, дошел головой своей, что не солдаты за ним, а он за солдатами! Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего, и тверже всего он знает, что пока в землю зако-

пан — ему сам черт не брат, а вот когда выскочит из земли наверх — так неизвестно чего будет: могут и убить, и поэтому, пока возможно, он не выберется оттудова и за всяким-яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылазить из окопа и идти вперед. Уж если свой ванька-взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда ванька-взводный, поминая всех богов, попа, Гитлера и много других людей и вещей, вылезет наверх и даст кому-либо пинка-другого, зовя в сраженье, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, замешкается с каким-либо делом, а дело, не пускающее его наверх, всегда найдется, и всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется и вылезать-то вовсе не надо — артиллерия, может, лупанет, может, самолеты его или наши налетят и начнут без разбору своих и чужих бомбить, может, немец сам убежит, либо что еще случится... А так как на войне много чего случается и часто случается — глядишь, эта вот секунда-другая и продлит жизнь солдата на целый век, в это время, может, и пролетит его пуля...

Но прошел всякий срок. Дальше уж оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распаляя самого себя матом, разом отринув все земное и постороннее, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той точке, к пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закоченелому фашисту, словом, к заранее намеченной позиции, сразу же падет и, если возможно, палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана не смертельная — боец палит еще пуще, коли подползет к нему свой брат-солдат помочь перевязкой, он его отгонит, призывая биться. Сейчас главное — закрепиться, сейчас главное палить и палить, чтобы враг не очухался. Бейся, боец, пали, не суетись, не метусись и намечай себе предмет для следующего броска — боже упаси ослабить огонь, боже упаси покатиться обратно! Вот тогда солдатики слепые, тогда они ничего не видят и не слышат, и забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько за пять боев не выложат...

Но вот закрепились бойцы и на следующий рубеж перекинулись — вздохнул раненый солдат, рану пощупал и на-

чал принимать решение: закурить ему сейчас и потом себя перевязывать или же наоборот? Санитара ждать или самостоятельно двигаться к окопу? Лучше двигаться. Живой останешься — хоть его ешь табак-то, а перевязывать себя ловко можно в запасном полку, под наблюдением ротного санитара. Лежа под огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем несподручно, да и индпакета не хватит. А санитаров не дождаться, нет. Санитары, большей частью кучерявые девицы, шибко много лазят по полю боя в кинокартинах и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес. Но тут не кино, тут их что-то не видать...

Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь от него навстречу пуле или осколку, долог путь обратный. Ползет, облизывая ссохшиеся губы, солдат, зажав булькающую рану под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом сделался суеверен. Солдат даже заискивающе просительный сделался: «Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!»

И вот он, окоп родимый. Скатись в него, скатись, солдат, не робей! Будет очень больно, молонья сверкнет в глазах, и ровно оглоушит тебя кто-то поленом по башке. Но это своя боль. Что ж ты хотел, чтобы при ранении и никакой боли?! Ишь ты какой, немазаный — сухой!.. Война ведь война, брат, беспощадная...

Бултых в окопную яму, как в омут, аж круги красные пошли по сторонам, аж треснуло что-то в теле и горячее от крови одежда сделалась. Но все это уже не страшно. Здесь, в окопе, уж не дострелят, здесь воистину как за каменной стеной! Здесь и санитары скорее наткнутся на него, надо только орать околь есть силы и надеяться на лучшее. Бывает, здесь, в окопе, ослабивши напряжение в себе, и умрет солдатик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что все вот вынес, перетерпел, до окопа добрался... в госпиталь бы теперь, и жить да жить... Он даже не помрет, он просто обессилеет, ослабнет телом, но сознание его все будет недоумевать и не соглашаться с таким положением — ведь все вынес, все перетерпел. Ему теперь положено лечиться и жить, он заслужил...

Нет, он не помрет — просто сожмется в нем сердце от одиночества, и грустно утихнет разум.

Ну, а если все-таки по-другому, по-счастливому если? Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, вынес первые бредовые, горячие ночи, огляделся уже, поел щей, напился чаю с сахаром, которого накопилось аж целый стакан! И письма бодрые домой и в части послал, а там, глядишь, первый раз, держась за койку, поднялся и слезно умилился жизни, свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживает мослы его, вроде бы как сплющившиеся от лежания на казенной койке. И случалось, случалось — с передовой, из родной части газетку присылали с каким-нибудь диковинно-устрашающим названием: «Смерть врагу». «Сокрушительный удар» или просто «Прорыв», и в «Прорыве» том выразительно описано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя будучи раненным и «заражал своим примером...»

Удивляясь на самого себя, пораженный словами: «бился до конца», «заражал своим примером», — солдат совершено уверует, что так оно и было. Он ведь и в самом деле «заражал», и столько в нем прибудет бодрости духа, что с героического отчаяния закрутит солдат любовь с той самой сестрицей, что подняла его с койки и учила ходить, — аж целый месяц, а то и полтора продлится эта пламенная, испепеляющая любовь. И когда снова вернется солдат в родную роту — станет сохнуть по нему сестрица, может, месяц, а может, и больше, до тех пор сохнуть, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем и день сегодняшний не затемнит все вчерашнее, ибо живет человек на войне днем сегодняшним. Выжил сегодня — слава богу, глядишь, завтра тоже выживешь, а там еще день, еще — смотришь, и войне конец!

Нет, не сразу, не вдруг уразумел Борис, что воевать, не погибая сдуру, могут только очень умные и хитрые люди и что будь ты хоть разгерой — командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках, — когда вымахнете из окопа, оба вы: и он — солдат, и ты — командир, становитесь перед смертью равны, один на один с нею останетесь, и тут уж кто кого...

*

Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издол-

бленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

«И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Совал молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все.

Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Между ними сужалось и сужалось белое пространство. Казалось, серой саранчою заполнилась белая земля. С двух сторон на всех скоростях катили танки. И вдруг сверкнуло игрушечно, покатилось в клубах снега что-то вихреватое, неудержимое.

«Кавалерия!» — ахнул Борис, и у него подпрыгнуло, задергалось сердце, как в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне атаковали спешившись. «Значит, совсем плохи дела у немцев», — решил Борис.

Закружило, завертело на поле. Снег запылил, поднялся. Дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли доносило до хутора. Пехотинцы сначала кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но унялись и они.

И за оврагами на поле тоже все унялось. Танки ворвались в село. Две машины кострами горели на поле, пустив большой дым в небо, к солнцу, все больше яснеющему. Кавалерия настигала разбегающиеся табуны противника. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая, словно бы на охоте по ныряющему подранку.

— Вот и все! — почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: — Все, товарищи! Капут группировке!

Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал и простуженным дискантом выдал «ура!». Не поддержали его солдаты.

— Чё вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!..

Бойцы подавленно смотрели на поле за оврагами, уже истерзанное, испятнанное, черное. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: «Не дай бог попасть в такое вот...»

Филькин начал угощать всех бойцов без разбора душистыми трофейными сигаретами, балагурил, развлекая народ, молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию людей, а по списочному составу, и к орденам представить всех до единого — герои! Он бы еще много чего обещал, но его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису, и когда тот достал себе обугленную картофелину, мотнул головой и усмехнулся:

— Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя и скоро, видимо, не будет. Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну он у меня дофорсит! Я его откомандирую к вам. Ты ему лопату повострее, ружье большое выдашь, а котелок...

— Это мы можем, это — пожалуйста!..

Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле, двинулся было на окраину хутора, но Филькин ухнул до пояса и уже за оврагами, выбирая снег из карманов, вяло ругался:

— Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках, и особенно возле изувеченных деревцев, кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по истолоченному, опятнанному кровью полю.

Обороняясь от жалости и жути, Борис зажмуривал глаза: «Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?»

Точно перешибленный в пояснице, Корней Аркадьевич оперся на дуло винтовки:

— Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему их не научит? Достойны тогда своей участи...

— Не вякал бы ты, мудрец вшивый! — процедил сквозь зубы комроты Филькин.

Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.

— Боец! — кривился, глядя на Шкалика, комроты Филькин. — Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, тол-

пился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. Приблизившись, пехотинцы различили — народ возле клуни толпится не простой: несколько генералов, много офицеров и вдруг обнаружился командующий фронтом.

У Бориса похолодело в животе, и потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку и с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор, в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?

Комроты Филькин доложил.

— Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он, хотя и был в чистой долгополой шинели, в папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и горестно сжатым губам. Лицо его было восковатого цвета, подтаявшее будто. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, угадывалась безмерная усталость. В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то невеселой мысли.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а вразумлял так:

— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж видно! И я вам обещаю: как возьмем его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, по-

ходный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, и на нем — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками. Он плакал, ладонью стирая пыль с лица и мундира генерала.

Здесь же толкалась переводчица в красиво сидящем на ней полушубке, в меховой шапке, из-под которой выбивались крупные завитки кудрей. Она что-то говорила старенькому солдату по-немецки, но, судя по всему, слова не доходили до него.

В разжавшейся, уже синей руке генерала на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, а этакая дамская штучка, из которой вроде бы только мух и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленой клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был худ, в очках, с серым, будто инеем взявшимся, лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставная челюсть. Очки не снялись даже после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротничка мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Клещем впился в нее стальной крючок.

— Командующий группировкой, — подсказал майор, — не захотел бросать своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицерьем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

— Таранили и нас — не вышло! — не к месту похвастался Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собираясь что-то спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и просигналила машина.

Майор велел нести генерала. Борис из-под лба глянул на щеголевато одетого, чисто выбритого офицера. «Фронтовой барин! Надорваться опасаетесь! Всю грязную работу нам...»

Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забегали: ему, видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами этаким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели и с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки — голодный, злой лейтенантишко.

— Да на кой мне такая орудья?! — небрежно отмахнулся майор. — Отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор брезгливо сморщился, помогая старикашке подняться с колен.

Со щелком вынув обойму, Филькин запустил ее в угол, за веялку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, и, как бабку, подкинул пистолет к ногам старика-немца. Тот не брал пистолет, пятился, и тогда девушка сказала ему что-то бархатисто-чувствительное. Старик клюнул носом в поклоне, цапнул сухими и цепкими, как у птицы, лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону: — «Данке! Данке шен», — он тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, и стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он, как старинная плюшевая вещица, будто молью побитый. Суетясь вокруг стрелков, что-то наговаривал выходец этот из пыльных веков, пытался помогать нести господина своего. По рыхлым щекам старика попрыгивали слезы, и во всем облике его было безмерное, неподдельное горе.

Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробьи вспорхнули на веялку и нырнули в нее, как только люди удалились.

Возле клуни ждал «студебеккер» с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор подсадил его, и солдат снова забормотал что-то благодарственное, заискивающее. Приняв бережно голову генерала в руки, он волоком подтащил покойника к кабине, ногою раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее голову генерала. Девушка-переводчица бросила высокий нарядный картуз. Солдат, как вратарь, ловко его изловил, упав на одно колено.

— Данке шен, фройляйн! — не забыл он учтиво поклониться переводчице, надев картуз на генерала. Тот из

жалкого старикашки сразу же превратился в важного, griffin сановитого мертвеца.

Командующий фронтом был уже возле саней, в головке которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулак.

— Разумовский! — позвал командующий, и майор, руководящий погрузкой генерала, метнулся к саням.

— Су-шусь, та-рищ рал! — как на параде, рявкнул майор.

Старикашка-немец поднял голову, молитвенно сложив птичьи лапки, закатил глаза в небо, вежливо прося тишины.

Командующий с досадою, нетерпеливо шмыгнул носом и повелительно приказал:

— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя, прочего не можем. — Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример поведения. Однако в последних словах командующего просквозило накипевшее злорадство, и понял Борис — какая-либо игра в благородство после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром в поле, за этим селом, неуместна. Командующий, видать, давно отучен войной притворяться, и выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру, и много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мертвых и пленных генералов он, должно быть, навидался вдосталь, и надоело ему на них смотреть.

Чего он приволокся, этот чужеземный генерал, в заснеженную Россию? В эту колхозную клуню, на кукурузные снопы? Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько уж отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, в этом только и свободен. Если этот сановитый немец не мог достойно жить, то мог бы ради солдат, соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что

надеяться на чудо и на бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей — жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением, перевела приказ командующего о погребении генерала с почестями, и старенький солдат, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои птичьи лапки, и твердить все ту же фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

— Данке! Данке шен, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и по-крестьянски, бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем невоинственной спине командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, — виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, полозьями обнажало трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего — все долго и подавленно молчали.

— С ординарцем-то что делать — не спросили? — прервала молчание переводчица и округлила красивые, чуть подведенные глаза.

— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята. Спасибо!

— Не на чем! — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого, видать, сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую цигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и старикашка-немец оборонял от них покойного господина. Майор что-то отвечал шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь

с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась за них, и Филькин звучно плюнул вслед машине:

— Лахудра! — шагнув в колею, пробитую танком, он брезгливо скривился: — Вонь от этого генерала или от денщика! В штаны они все наклали, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье и сон. Неодолимо хотелось лечь тут же на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

*

А в хуторе людно и тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.

— Старшина! — звонко крикнул Борис.

Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных.

— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли все, как псы!

— Отставить!

— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался: — Мямля! Откуль и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше и увести с собою остатки взвода.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито — черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то и грелись.

— Отдыхаете культурно? — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкою расцарапал ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

— Греетесь, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сей-

час... — солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами, Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, и один пристреленный немец забился у костра, выгибаясь дугою, а другой рухнул в огонь. Как вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную, некоторые почему-то удирали на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землею, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.

— Ложись! — Борис упал на одного из пленных, вдавил его в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали из дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

— Маришку сожгли-и-и! Селян моих в церкве сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!..

Мохнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, лоб, греб снег рукавицей в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

— Тиха, друг, тиха!

Солдат перестал биться, сел и, озираясь, сверкал глазами, все еще накаленными после припадка. Потом разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата и, протяжно вздохнув, похлопал его по спине.

В ближней, полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой это или чужой.

И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, а иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом и наплывающими под глазами синяками послюнявил цигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою! Хюрер? Хюреры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и вползали раненые. Они тряслись, размазывали слезы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брел, спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затяжно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легкораненый немец, должно быть из медиков, тоже услужливо и сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

— Не ори! Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!

И раненые, хоть наши, хоть чужие, понимали его, послушно, как в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке ухвата, и делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, драных обуток, клочков одежды, осколков и пуль. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь разных людей.

Топилась щелястая, давно не мазанная печка. Горели в ней обломки частокола и ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач, из тех вечных «фершалов», что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдья, коему он вырезал грыжи, драл зубы, спасал баб от самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой, врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его тут вроде бы не касалось. Выше побоища и кровопролития надлежало ему оставаться и, как священнику во время панихиды, «быв среди горя и стенаний», умиротворять людей спокойствием и глубоко спрятанным состраданием.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, и когда вышли из избы, он, вытирая снегом руки, завел:

— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, а глазом не моргнет...

— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите... — Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому потруднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом: — Мохнаков где?

— Умотал куда-то, — пряча глаза, отозвался Шкалик.

«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полу шинели, потащил из кармана рукавицы.

— Идите во вчерашнюю избу, а то и ее займут. Я скоро...

В оврагах, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и в снегу валялись убитые кони и люди. Оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет и листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками и подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито, все как после светопреставления — и дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались ломь, пенья, обрубки.

К убитому немецкому офицеру вел след новых, вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака бросалась на нее, по-щенячьи тявкала. Ворона отлетала в сторону и ждала.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным вяло болтающимся дорогим ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода и алчности. Длинными, примороженными, как капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного европейского замка.

— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затявкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, слизывала сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и дрожала обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски-холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, чистила в снегу клюв.

Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона проводила его поворотом головы и спорхнула вниз. Борис облегченно снял руку с пистолета.

На Мохнакова лейтенант наткнулся за ближним поворотом оврага, хотел закричать, но сведенные губы шевелились беззвучно. Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы да горло в пупырышках, зачерненных потом и грязью, дергались, как у линялой птицы.

— Что ты, что ты? — подошел и похлопал Бориса по груди старшина.

— Не прикасайся ко мне!

— Не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона неловкость и страх. — Откуда тебя черти взяли! Бродишь, понимаешь...

Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Потом глянул почему-то на небо, различил свет и пошел на него. Но все колыхалось перед ним, и он упал в воронку, стукнулся о мерзлый ком и от боли очнулся.

Два окоченевших эсэсовца сидели в воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами.

Мохнаков выволок Бориса из воронки, плеснул из фляги чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в обмерзшем нутре Бориса. Что-то скребло его по груди, отдавалось в ушах — старшина ножом очищал его шинель.

— Не... не... не...

— Экий ты, ей-богу! — старшина с досадою щелкнул трофейным ножом. — Война ведь это — не кино! Тут, видал? Голый голого... и кричит: «Рубашку не порви!» — принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты понять этого не умеешь. — Он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя...»

— ...Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще ни шиша в бабах не тямлишь. Немцам и бордели, и отпуска... А у нас...

«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис. — А-а, про баб опять...»

— К потаскушкам и приставал бы! Зачем же к честной женщине-то лезешь? Совсем озверел?

— Затмилось в башке. Напился же!.. Столько поубито, сведено народу, чего, думал, какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил меня? — испытующе, сбоку глядел Мохнаков на лейтенанта.

— Да!

Старшина скрипуче крякнул, затянулся цигаркой, выпустил себе на глаза дым.

— Светлый ты парень! Почитаю я тебя, — Мохнаков пальцами раздавил цигарку, вытер руку об валенок. — За то почитаю, чего сам не имею... А то бы... Э-эх, не понять тебе. Шибко ты молод... Я же весь истратился на войну. Весь. Сердце истратил... И не жаль мне никого. Меня бы палачом над немецкими преступниками. Я бы их!

Чувствуя себя в чем-то виноватым, Борис произнес:

— Ты вот что... тебе бы подлечиться. Может, попросить полкового врача?..

— Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!..

— Пойдем отсюда, Мохнаков, а?

Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж протянул было, но спохватился и убрал руку.

По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым, рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу, и во всей его с

размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке было что-то мрачное. В глуби его, как в тайге, в которой он родился, жил, бил зверя, угадывалось что-то затаенное и беспощадное.

Борис слушал, как паровозно пыхтит Мохнаков, — и не верилось ему, не хотелось даже привыкать к мысли, что такого, диковинной силы человека можно потерять так вот, из-за пустяка. Богатырь и умирать должен по-богатырски. Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпиталях, знал и голод, и холод, и окружения, и прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что он придерживался старинного правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем теперь...

Борис уткнулся лицом в жестяную твердь полушубка старшины, открыл глаза.

Старшина остановился у среза оврага, упершись во что-то взглядом. Лейтенант проследил за взглядом Мохнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто заваленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега, и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона не давали цивильные.

Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег сверху был чист и рассыпчат, а внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.

Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:

— Хильфе!..

Под недавней щетиной, остренькой, но уже седой, шелушились коросты; впалые щеки земляно чернели...

— Хильфе! Хильфе!.. Зи мир битте... реттен зи... мих...

— Чего он говорит?

— Просит спасти.

— Спасти! С двумя-то перебитыми лапами? — старшина отхаркнулся в снег. — Своих с такими ранениями...

Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.

Немец ловил его взгляд:

— Реттен зи виллен... Хильфе...

— За мной, старшина! — Борис ухнул в снег, заторопился. Сзади слышался голос, испеченный морозом. Он ломил уши, хватал за горло. Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти и все протягивал руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами. — Ну! — гаркнул на Мохнакова взводный. Рванувшись вверх, он приступил полу шинели и стал вплавь выбиваться из оврага.

Донеслось хриплое, надтреснутое завывание — так кричат в тайге больные, изнемогающие звери, безнадежно покинутые своим табуном.

Борис прикрыл уши рукавицами.

Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались по дорогам люди. Снежно и тихо вокруг до звона в ушах.

Мохнаков велел Борису вытряхнуть снег из валенок. Присевши на опрокинутую повозку, он послушно перевернул портянки сухим концом, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу...».

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенные снегом, валялись убитые кони. За хутором, в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, и уже налажены были прожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластал огонь, а в глухо закрытых бочках, на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки на себя, а шинели, валенки и шапки — в бочку.

Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях чернели кляксы сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот, и здесь же показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антон Рыбкин, напе-

вая песенки, запросто дурачил затурканных, суетливых врагов.

Зрители чистосердечно радовались удачам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне.

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченной реденькими столбами, провода на которых обкусаны, да и столбы где пошатнулись на бок, где и вовсе спилены на дрова.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги «студебеккеры». В машинах плотно, один к одному, сидели замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые...

— Ишь! — ругался Мохнаков, — фрицев на машинах, а мы пешком! Хочь дома, хочь в плену, хочь бы и на том свете...

— Часы-то взял?

— Нет, выбросил.

Вечер медленно опускался. Синь проступила по оврагам, и жилистой сделалась белая земля. Тени от столбов длинно легли в поля, а возле деревьев загустели. Даже в кювете настоялась синь. Ходили саперы со щупами и тоже были синие, бесплотные. Поля — в танковых и машинных следах, будто перепоясаны ремнями. Снег из края в край искрился. Радио по лесу слышалось. Тихими сумерками накрывало израненную, безропотную старуху-землю.

Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно раскраснелась, и ушлые глазки сияли возбужденно и лучезарно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал ему ложиться спать, а сам примостился у припечка, да так и сидел, весь отсыревший изнутра, на последнем пределе усталости, и время от времени облизывал губы, шершавые, как еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, а только согреться и забыть обо всем на свете. Жалким и одиноким почему-то казался себе Борис и рад был, что никто его сейчас не видит: старшина снова остался ночевать в другой избе, а хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть, у этой одинокой и нездешней женщины.

Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Непознанная еще вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове, и не пугает, а, наоборот, как бы

пробуждает любопытство внезапной простотой своей — вот так заснуть бы в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате и от всего отрешиться. Разом, незаметно и навсегда...

Это было бы так хорошо... разом и навсегда.

«Что это я? Что за блажь? Какая дурь опять в голову лезет?» — очнувшись, подумал лейтенант и ощупью, придерживаясь за стены, пробрался в маленькую, дальнюю комнатку. Не открывая глаз, он разделся, побросал амуницию куда-то во тьму и упал на низкую кровать.



Никакие потрясения еще не могли отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил.

Длинный виделся ему сон: земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею чистое-чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав, и след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, и небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды.

Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, ссыплются вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, и будет вода, небо, солнце — и ничего больше! Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности и пустоты наполнено все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в беспрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, и они шарахались по вагону. Старшина Мохнаков гонялся за птицами, свертывал им головы и бросал под нары. «Хильфе! Хильфе!» — кричали птицы. Борис хватал Мохнакова за руки. «Жрать чего-то надо?! — отбивался от него старшина. — Приварок сам в руки валит!» «Хильфе! Хильфе!» — хрипели птицы и, выскальзывая из вагона, беззвучно хлопали крыльями по воде...

Сон крутился на одном месте, и жутко было ожидание: вот-вот произойдет что-то. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд, потом вздрогнул, схватился за кровать и проснулся от этого взгляда.

Рядом стояла Люся.

— У вас горел свет, — заговорила она поспешно. — Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать... Я думала, вы не спите...

Он еще не вышел из сна и ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было, включили его, видимо, потом.

— Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела на него, досмотрелась вот! Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо, мол, что пришли снова те же военные ночевать. Она уже привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить лечь в чистую половину. На кухне устроились... А на улице морозно... Хорошо, что бои кончились... Еще лучше, если бы вовсе война кончилась... А солдаты где-то раздобыли сухих дров. Но сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один этот пожарник — кум...

— Какой я сон видел!

Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил сам с собою или за кого-то ее принимал.

— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает... — Люся поникла головой. — Я думала, вы больше не придете...

— Почему же?

— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была за рекой.

— Это разве стрельба? — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис слышал, как кисточки кукольно-загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастаю-

щееся в груди стучание и все ускоряющий бег, он сглотнул слюну.

— Какая... ночь... тихая... — И минуту спустя уже ровнее: — Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы все под разливом. Весна была. Жутко так... — Он чувствовал: надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уж и заподглядывал, и задрожал весь! — Какая ночь... глупый сон... какая ночь... тихая... — Голос его пересох, ломался, все в нем ломалось: дыхание, тело, рассудок.

— Война.... — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнулось в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубился вокруг, испепеляя воздух в комнате, сознание, тело... Дышать нечем. Все вещее в нем сгорело. Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал:

— Мне... хорошо... здесь... — и, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

— Я рада... — донеслось издали, и он так же издалека, не слыша себя, откликнулся:

— Я тоже... рад... — И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом и как бы бредовом свету, есть та, у которой стремительно катится вниз исток грудей, и кружит он кровь и гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, как лист с дерева, закружила и понесла, понесла над землею — нет в нем веса, нет под ним тверди... Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на свете!

Далеко-далеко, где-то в глухом пространстве он нашел ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже не видимую глазом пушинку тела почувствовал,

будто бы не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось. Сердце зашлось в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнанно упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял и ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже глухо простонал.

«Так вот оно как! И зачем это?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно. Вот если б все это забыть, сделать бы так, будто ничего не было, тогда бы уж он не посмел обижать женщину этими глупостями — без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...

Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле навязчивый, всегдашний груз свалился с него и тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.

«Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме — стыд и смятение, а в тело льется благостное, сонное успокоение.

— Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных в тишину слов, женщина влепит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно и от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушились неведомые доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась... И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным.

— У меня... первый раз это... — И, подождав немного, совсем уж тихо: — Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала слезу щепотью, повернулась к нему, сказала печально и просто:

— Я знаю, Боря... — И с проскользнувшей усмешкой добавила: — Без фокусов да без слез наш брат как без хлеба... — Легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая: — Выключи свет. — В тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку. А потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, и окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик — не боится, летает.

За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, как лошадиное сердце на подъеме, работали моторы самолетов, «везу-везу» — выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью, луч запорошился в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, а в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза, прямо и упорно глядящие на взводного. «Что же ты?»

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбежать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаяния, каких-то слов.

— Ложись, — обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. — Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, и опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался что-то вымучить из себя, как услышал:

— Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и

раскаяния нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробивалась в ее голосе.

«Как же это?..» — смятенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, как за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно и тогда его, может быть, не заметят.

— Какой ты еще... — услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром — она придвигалась к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: — Разреши мне тут, — точно показала Люся рубец на шее, — разреши поцеловать тут, — и, словно боясь, что он откажет, припала губами к неровно заросшей ране. — Я дура?

— Нет, почему же? — не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо — виноват он кругом. — Если хочешь... — обмирая, начал лейтенант. — Можно... еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо, трепетно.

Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, а шелест слов обезоруживал его, ввергая в гулкую пустоту.

— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик... — Она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и глупы, и смешны.

Преодолевая скованность, захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она когда-то успела расплести косу, — зарылся в них лицом и ошеломленно спросил:

— Что это?

— Я не знаю. — Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: — Я не знаю...

Горячее срывающееся дыхание ее отдавалось нерозными толчками в нем, и, неожиданно для себя, он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его расслабленного и отдалившегося рассудка:

— Милая...

Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, уже сам готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:

— Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстранялись друг от друга, и тела их, только что оцепенелые от тяжести, как бы налитые раскаленным металлом, остывали.

Наступило короткое забытье, но они помнили один о другом и в этом забытье и потому скоро проснулись.

— Я всю жизнь, с семи лет, может даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала его, — ласкаясь к нему, говорила Люся складно, будто по книжке. — И вот он пришел!

Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех, когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой, совсем клопом, с семи лет, точно, с семи, слышал это имя и видел, точно, видел, много-много раз Люсю во сне и называл ее своей милой.

— Повтори еще, повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо:

— Милая! Милая! Моя! Моя!

— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас!

И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди — мертвецы, мертвецы...

— Что с тобой? Ты устал? Или?.. — Люся приподнялась на локте и пораженно уставилась на него: — Или ты... смерти боишься?!

— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... — слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собою заговорил: — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею...

Страшно, когда само слово «смерть» делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить...— Он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя.

— Ты устал. Отдохни. Отдохни.— Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь.— Ох, как сердчишко-то! — и придавила ладонью то место, где сердце: — Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, вот та-а-ак...

— Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потерла ладонью висок и повинилась:

— Прости... Я забыла про войну

Опять самолетик затрещал над хатою, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу. Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Донесло песню:

Сур-ровый голос раз-да-ет-ся:
«Кля-а-ане-емся-а зе-е-земляка-а-ам:
Па-ку-уда сер-ердце бье-о-отся,
Па-ща-ады нет вра-гам!»

Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то прибивалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень. На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, и обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор. Рявкнул, остановился, и мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

— Взяли! Взяли! Взяли! — разнобойно кричали за окном, и голоса начали удаляться.

«К фронту. Фронт догоняют»,— отметил Борис.

На кухне кто-то громко стал отплевываться, сморкаться. «Карышев,— догадался лейтенант,— закаленный табакур. Он и ночами встает жечь махорку». Заскрипела, хлопнула дверь — вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшом, выпил, должно быть, холодной воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах, ударил взрыв, брякнуло гулко, как по тазу, раскатился гул в морозной ночи, задребезжало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

— Еще чьей-то жизни не стало...— послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали,

вслушиваясь в ночь, чего-то ожидая. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными в гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.

— Я думала, ты на меня сердишься, — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это времени...

В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки грудей, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и, задремывая, говорила:

— Ты все-таки уснул бы, уснул бы...

«Не спи. Побудь еще со мной. Не спи!..» — слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову и заговорил:

— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был... — Он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка. Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные не доступны злу — казалось мне прежде...

Люся слушала, боясь дохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

— И ты знаешь, — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней, — знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением. — Он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя. — Видишь вот...

— Мы рождены друг для друга, — как писалось в старинных романах, — не сразу отозвалась Люся. — Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да. — Она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса. — Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение, — дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. — Я слышу тебя...

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники, и чуть слышна, почти невнятна, сиреневая музыка...

Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.

— Я, кажется, опять заснул?

— Ты так забился, так забился... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.

— У меня голова кружится...

— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

— Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.

— Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.

— Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не мешало бы. Никого не разбудим?

— Не-е. Я сторожкая! — Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову и отвернула лицом к стене. — Не смотри, говорю!

Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась, — шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой.

— Эй, человек!

— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда он уткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила:

— Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, как в гипсе, слепок ее тела...

Он осторожно дотронулся до простыни.

Под ладонью была пустота.

Люся объявилась в дверях с посудою, с хлебом и картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выдул, и замерла увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, но видел как бы уже со стороны.

— Ты что?

К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось.

— Я здесь! — тронула она его.

Он передернулся и до хруста сжал ее руку.

Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки и, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой и салом, и он чистил картошку для нее, а она для него.

Поели и стало нечего делать, и не о чем уж вроде бы и говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, и тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати:

— Смерти или живота?!

— Ах, какой ты! — прикрыла она завлажневшие глаза.

— Дурной?

— Псих! И я псих... Кругом психи...

— Просто я пьяный, а не псих.

— Нельзя так много, — увернулась Люся от его рук.

— Можно! — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.

— Ты слушай меня. Мне уж двадцать первый год!

— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

— Вот видишь, я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять переждали, притихнув. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками

по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее зрачков. Под ресницами и под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они. И ничего им больше не хотелось: ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем в полудремном забытье и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Прощание

Горькие слезы застлали мой взор.
Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня в серый рассвет.

(Из лирики вагантов)

Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одноголосо зарыдала соседская дворняга в переулке, и, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. «Ну что ты, что ты, маленькая! Не бойся...» — Бояться нечего — опасность лейтенант сразу бы почувствовал — нюх у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огородом в проулке, яро, весело горела хата, заваливаясь шапкой крыши на бок, соря ошметками пламени по огороду.

«Высушили славяне портянки!» — подумал Борис почему-то весело — уж очень резво пластала хата. Борис знал, что в хатах этих матица — она же и дымоход. Пока топят соломой — ничего, а как запалят дрова или скамейки да еще бензинчику плеснут солдаты — ни жилья тогда, ни портянок.

— Полицая жарят! — глухо произнесла Люся и стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, на подхвате у фашистов. Наших людей, как утильсырье там сортировал: кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого куда... — Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, то серело, заваливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно.

— Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой. С собакой в Россию пожаловал. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака — скользкая, пучеглазая... Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек — упитанных выбирал... съедобных! Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака загрызла девушку... — Люся закрыла лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев покатилась бледность, — на человека, видать, притравленная... Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... там!.. Там!.. — показала Люся одной рукой, а другой все зажимала глаза, и Борис, чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что она, Люся, видит что-то страшное и сейчас, придушенно спросил:

— Что?.. На твоих глазах?!

Она тряхнула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, и все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях...

Он притиснул ее к себе и не отпускал до тех пор, пока она не успокоилась немного. «Бить! Бить так, чтобы зубы крошились! Правильно, Филькин, правильно!» — вспомнив командира роты, утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: «Она! Надо было пристрелить...»

— Поймали его партизаны. — По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил — не без ее участия. — Повесили на сосне. Собака его выла в лесу... Грызла ноги хозяина... До колен съела... Дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропитаться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит костями, и пока не вымрет наше поколение — все будет слышно его...

Собака в переулке уже не рыдала, а хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышалось, и колокол не звонил.

— Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех бы подчистую искоренить...

Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому, покатому лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее.

— Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? — попросила Люся. — Я хочу к ним привыкать. Хочу все знать о тебе.

Борис понял: больше всего сейчас она хочет отвлечься, забыть что-то, уйти от тяжких видений.

— Учителя, — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец — завуч теперь, а мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась еще в ней, как в гимназии. — Он прервался, и Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее. — Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы, — он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. — Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, плишки в щелях гнезда вьют. Весной на угреве медуница цветет, а летом — сорочья лапка и богородская травка, и березы растут, старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлы были: пограбят, пограбят, а потом каждый на свои средствия — храм! И все грехи искуплены! Простодушны все-таки люди. Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквям кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой — все небо в крестиках! И крику!.. Крику!.. Ты не спишь?

— Что ты, что ты?! — ворохнулась Люся. — Скажи... Мама твоя косы носит?

— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вро-

де как бы сын и внук сразу... — Он поправил подушку, навалился на нее грудью.

Воспоминания далекие, безмятежные. Они прикипели к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. А разве себя перескажешь?

Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.

Росами и туманами — холодными, травянистыми пахли они. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками надевался на купола церквей. От реки шел запах прелой коры, и туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывала из-под срубов землю, отрывала гнилые сутунки.

Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала, прозевавшая отход реки, рыбья мелочь. Вороны прыгали вдоль расспертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клекотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Отпущенные, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки пальцами втыкались вглубь, припадая ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, и туманы в эту пору, да и весь городишко, пахли рыбой и плесенью. Штабеля бочек поленницами росли выше и выше, и пароходов, барж приставало все больше и больше. Обветренного, истосковавшегося по обществу, пододичавшего народа — северных рыбаков людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксуньими бочками женщины, и ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, неспокойные, и все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.

— Парваны и девки любят у нас встречать пароходы. Каждый пассажирский. Парят себя ветками — комары и мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис, и Люся

догадалась, что перед ним прошли какие-то, лишь ему известные картины, и он продолжает их видеть отдельно от нее.

Она отодвинулась, но Борис даже и не заметил этого, он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь.

— Гонобобелью — это у нас голубику-пьянику так называют, — или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что это я про комаров да про ягоды?! — спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма почитаем.

Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало одним: и жизнь, и душа, и мысли.

— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее и она не устанет быть у него на побегушках.

— Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой. — Ох, Борька! — она погрозила ему пальцем. — Балованный ты!

— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не позволял. А этот, чердынский, дорвался...

Люся развела складки на его переносице, пальцем прошлась по бровям, которые начинались тонко и, взлетев к вискам, круто спадали вниз.

— Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину — иногда на такое занятие уходит вся жизнь, и считается, что это и было истинной любовью, — он отбился сконфуженно:

— Не стоит заниматься моей персоной...

— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай, читай! — Он заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел непривычной, мужицкой жалостью:

— Утомилась?

— Читай, читай!

Писем была большая пачка. Борис выбрал одно, расправил уголки, погладил и, как в вспышке зарницы, увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в припачканных чернилами пальцах, почудилось даже — услышал, как скрипит перо, вызывая мелкие строчки:

«Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала — ты вынужден отвечать и станешь отрывать время от сна. А я не могу не писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на «а» и «о». Отец твой переживает — был сдержан и сух с тобою, недолюбил, как ему кажется, недосказал чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было...

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...

Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил — каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказывал мне, как он учил тебя ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло. Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибился в улово, но тебя снова развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел преграду и с ликованием: «Папа! Я лодку при-

вел!» А он: «Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить пескарей — надо к вечеру успеть наживить перемет».

Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не куксись, пожалуйста!).

Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, а детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках, значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивши пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать-то он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас уже ночь. Морозно. Может, там, где ты воюешь, теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую.

Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если бы это было возможно!..

Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет... Я заплакала. «Девочка моя!» — сказал он. Да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фонвизина-Костяева».

Письмо кончилось, а Борис все еще держал его перед собой и, не отрываясь, смотрел на бегущую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч; и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку над лбом, которая всегда вызывала ухмылки учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полуша-

лок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, а за ними угадывается темный провал реки, заторошенной льдами, и дальше — мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвально-глубоких распадках. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону неприглядной, обрывающейся за рекою земли — он, и где-то, отделенная окопами, тысячами верст расстояния, меж двумя враждующими мирами, — она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

— Старомодная у меня мать, — сказал он нарочито громким голосом. — И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел, что все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила:

— Я должна о себе... Чтоб не было между нами...

Борис попытался остановить ее.

— Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка! — вытирая лицо ладонями, будто омывая плечи и грудь одеялом. — Какой ты ласковый! Ты в мать. Я теперь знаю ее! Зачем войны? Зачем? За одно только горе матери... Ах, господи, как бы это сказать?

— Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал...

...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войска спали в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и занырывая в обтаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившимися глазами глядела в потолок. В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не сближала их, не рождала таинства. Она наваливалась холодной тоскою, недобрым предчувствием.

— Я бы закурила, — Люся показала на этажерку.

И, не удивляясь и, опять же, не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил цигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала цигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее туже и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ.

— Зажигалка того самого фрица, — Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. — Хозяина повесили в бору на сосне, а зажигалочка осталась... заправленная зажигалочка, костяная... — У Люси клокотало в горле. Она затягивалась табаком по-мужицки умело и жадно. — Девок он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

— Зачем ты мне это?

— О-ох, Борька? — бросив на пол цигарку, срубленно упала Люся на него. — Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтоб мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!.. — она тут же укротила себя, промокнула лицо простыней. — Все! Все! Прости. Не буду больше...

Он невольно отстранился от нее, и опять его потянуло на кухню, к солдатам — проще там все, понятней, а тут черт-те какие страсти — ужасы, и вообще...

— Чого сыдышь тай думаешь? Чого нэйдэшь, не гуляешь? — усмехнулась Люся и запустила руки в волосы лейтенанта. — Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие... Не умеешь ты еще притворяться... Мужчина должен уметь притворяться...

— А ты... Ты все умеешь? — Борис пугливо замер от своей дерзости.

— Я-то? — она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. — Я ж тебе говорила, что старше тебя на сто лет. Женщинам иногда надо верить... — и треснуто, натужно рассмеялась. — Ах, господи, до чего я умная!.. Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все, как у добрых людей.

— Не будет ссоры. Вон уже светает.

Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет.

— На заре ты ее не буди...— прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса: — Спасибо тебе, солнышко ты мое! Взошло, обогрело... Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легко, накоротке приникла к нему.

— Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть...

Борис дотронулся губами до ее губ, и она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в беремя и стал носить по комнате.

Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он начитанный! Млея, слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах у честного народа, три километра, все три тысячи шагов...

«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила:

— Нет, не так! Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые... — Люся прервалась и чуть слышно выдохнула. — Ничего этого не будет...

Он не хотел ее слушать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про вечную любовь, про счастье и верность.

Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то вытряхивает шинель.

Люся сползла к ногам лейтенанта.

— Возьми ты меня с собой, товарищ командир,— прижимаясь к его коленям щекою, просила она, глядя снизу вверх. — Я буду солдатам стирать и варить. Пере-

вязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми. Воюют ведь женщины...

— Да, да, воюют. Не смогли мы обойтись на фронте без женщин, — отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный. — Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы...

— Жутко умный ты у меня, лейтенант! — Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.

Борис прилег на кровать и мгновенно провалился, как в подполье, в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал никогда.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроила на спинку стула гимнастерку, отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые, положила и присела на кровать, тронула Бориса за нос. Он проснулся, но не открывал глаза, нежился.

— Вот, — откидывая рукой выбившиеся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку. — Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, так приятно! — и сокрушенно покачала головой: — Баба все-таки есть баба! Никакое равноправие ей не поможет...

Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя и уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял ленивыми руками, с уже отмякшей, восковой страстью, потянул к себе.

— Нельзя! Все встали! — уперлась она в его грудь руками.

Но Борис не выпускал ее.

— А если узнают?..

— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался, а Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.

— Товарищ лейтенант, я насчет винишка! — раздался бойкий голос Пафнутьева. — Если осталось, конечно...

— Есть, есть.

— Чё, без горючего-то зажиганье не срабатывало?..

— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис.

«Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять его

будут солдаты, мол, взводный-то у них — парень не промах, хотя с виду интеллигентный!» Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое боевое похождение лейтенанта, и он не сможет ничего поправить и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут, как да чего оно было? И ох трудно, невозможно будет отвертеться от проницательных вояк!»

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

— Шкалику не давать! Тебе и остальным тоже не ковшом.

— Ясненько! — Пафнутьев подморгнул взводному.

— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! — буркнул Борис.

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. Похожа была Люся на девочку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее, на стеклах переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы.

— Какая вы красивая, мадам!

Она потеребила ленточку, намотала ее на палец.

— Я сама, еще в девчонках это платье шила...

— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

— Просмешник! Ладно, все равно другого нет. — Люся уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли, пота не истребило стиркой. — Мне хочется сделать что-нибудь такое... — подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой, — сыграть что-нибудь старинное и... поплакать. Да нет инструмента, и играть я давно разучилась. — Она шевельнулась раз-другой кисточками ресниц и отвернулась. — Ну, поплыла, баба!.. Как все-таки легко свести нашего брата с ума!..

Борис тронул косу, шею, платье — ровно бы уносило ее от него, эту грустную и покорную женщину, с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее и то, что было с ними и только у них...

Она ловила его руки, пытаясь прижать к себе: вот, мол, я, вот, с тобой, тут, рядом...

*

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распоряжалась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобиво подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжелых боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе, — на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то: «Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!» Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы юный командир за всех один не отдувался!

Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженым послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассолу с увещеванием: «Не умеешь, так не пей!»

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собою дверь в переднюю, она послюнявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают и, глядишь, задержатся они здесь.

Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывая цигарку, щурил глаз от дыма, повествуя:

— Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает, а я курю да поглядываю, как она бегает по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со двора пахнет. Тихо. И, главное, ни души. Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А чё, старушонка, не побаловаться ли нам?» Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: «У вас, у кобелей, одно только на уме! Огород вон неполо-

тый, в избе не прибрато, ребятишки где-то носятся...» «Ну-к чё, — говорю, — огород, конешно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!» В силах я еще тогда был, на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, другу, пяту... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых! Влетает моя Зойка уж наизготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавися, злодей!..»

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы.

Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, и с придыхом сообщила ему на ухо:

— Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот и лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

— Ваша часть еще день или два простоит здесь!

Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю и закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

— Ой! — вскрикнула Люся, — это к несчастью!

— Какое несчастье? — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы? Суеверная ты! Отсталая! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

— Машины? Какие машины? Двое ж суток!..

— Кто натрепал? — Мохнаков побуравил народ покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине.

Мохнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалика.

— Няньку тебе!

Невелик скарб при солдате. Как ни волынили, а все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две, сменили они ночевок, двигаясь по фронту.

— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина не конь, ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстуженно. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

— Мне извиниться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то грубо бормотнул, прихлопнув шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, вышел.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговки, и черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, а лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, а голос был буднично спокоен.

— Да.

— Так иди! Я провожать не буду. Не могу. — И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах и мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородочек ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, и снова расстегнулся рукав, а хвостик косы упал в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением опустил косу на ее спину.

— Я же не виноват... — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой, как в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» — Борис большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.

— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло. — Виноватых нет.

— Прощай тогда... — Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, как в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли кто чего?

Никто ничего не забыл.

«Солому не убрали. Наовинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж... Долгие проводы — лишние слезы...» — Борис подпинал солому и отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, как капуста. Беловатые дымы — топят соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посредине.

Борис подивился, что прежде этой церковки он почему-то не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже

топились печи, и дымы оттуда тянулись вдоль реки, а в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый норов, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепает снарядами или бомбами селение, а в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал: кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодушнее выспавшихся, поевших горячей пищи солдат, да еще к тому же узнавших, что не топать ножками до передовой.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушах с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, а точнее, с довоенных выставочных плакатов. Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, а кто норовил и под кожушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть, москаль! Гэть!», «Та що ж ты, скаженный, робышь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мэни!», «Та ихайте скорийше!».

Но по всему было видно — не хотелось им так скоро отпускать москалей и нравилась им вся эта колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, а шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от закостеневшего ли воротника было трудно дышать, и мысли ровно бы загустели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, да лейтенант пока этого не знал. Он

суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушек. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожделенно на дивчин не решился бы.

— Мужаешь, Боря! — изумился Филькин.

Лейтенант собрался ответить шуткой же, но увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем в машину забралась и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они ей сделались родные, — говорила, чтобы лейтенанта берегли, — наказывала, — чтобы Шкалику больше пить не давали...

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила...

— Храни тебя бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич, а Карышев поправил на ней платок и вскользь погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкою полевой сумки ей на нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.

— Лейтенант, лейтенант! — торопил взводного шофер, сдерживая машину. — Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин.

— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отвороты его шинели, — но мы же неверующие. Атеисты мы... Осталось только завыть во весь голос...

— Вот еще! Только этого и недоставало! — боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя: — Озябла. Ступай!

Он запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, нанесенную ей. Но студебеккер, сыто заурчав, рванулся с места в карьер — взводного вдавило в спинку сиденья. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов, и она осталась в его памяти — потерянная и недоумевающая.

На машинах пели, ухали и подсвистывали сами себе солдаты. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на косогор, и голова ее подползла к лесу.

— Адрес! — сорвалась и побежала Люся. — Батюшки! Адрес-то!..

Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь...

На опушке соснового бора, равнодушно тихого и мрачноватого, того самого, где висел на сосне чужеземец, тупорылая заморская машина задела кабиной ветку сосны, другую, третью — и снег, будто занавес в театре, упал, закрыв от нее все.

Люся остановилась обессиленная, задохнувшаяся.

Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.

Все было и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку и помахать им, Люся качалась всем телом будто в поклоне и твердила одно и то же:

— Воюйте скорее, миленькие!.. Живые будьте все...

Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намокшей косы намерз и свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-щенячьи подвывая, залезла Люся в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодцеватый сержант, постучав в дверь, вошел и начал оправдываться:

— Было открыто. Мы думали — хата брошена...

— Живите.

Стряхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, и все протяжней завывала отверделым ртом и стучала зубами. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморозь по сухим зрачкам, из которых выело зерно, и они сделались пустотелыми.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Успение

А жизни нет конца
И мукам — краю.

Петрарка

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, и лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-и-мачеха, подснежники острой пулей пробивались наверх. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом и сбивая строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую и низкую траву. И не было возле скотины пастухов, а все пастушки школьного и престарелого возраста.

Ветры дули теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В эту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формировку. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, как вобла, лейтенантишко — проситься в отпуск.

Замполит сначала подумал — лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, и хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня удержала его.

Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.

— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя деревянной хохлацкой люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: — Та-а-а-ак. — Взводный как взводный. И награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль «За боевые заслуги». И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое... Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверенный, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, — возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной...

«Н-да-а-а-а! Умотает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило из человека человеческое. Успел вот когда-то втюриться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. «А если потом в штрафную...»

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскочегарил трубку и совсем не по-командирски сказал:

— Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожгла глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил — замполит не знал и повел разговор дальше: про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь обмозгует.

— Стоп! — замполит даже подпрыгнул и по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев! И тебе везет! Значит, в карты не играй, раз в любви везет!.. — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку выбило за время наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии, может быть, сделать его политруком в батальоне — парень молодой, начитанный, пороху нюхал.

— Дашь крюк, но к началу занятий чтобы как штык! Суток тебе там хватит?

— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего сколько в нем за это время перегорело...

— Давай адрес. Надо ж документы выписать.

— А я не знаю адреса!

— Не зна-а-е-ешь?!

— Фамилию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось все... А иной раз нет...

— Ну, ты силе-о-о-он! — с еще большим интересом всмотрелся в лейтенанта замполит. — Как дальше жить-то будешь?

— Проживу как-нибудь.

— Иди давай, антропос! — безнадежно махнул рукой комиссар. — Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи...

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него

были? Встречу придумал — как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты. И если пройдет мимо... Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя — она не пройдет. Остановится. Она спросит: «Борька! Ты удрал с фронта?» И, чтобы попугать ее, скажет: «Да, удрал! Ради тебя сдезертировал!..»

И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки, и ждал. Люся вышла из дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он, не отрываясь, смотрел, как она идет. Диво-дивное! В том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались и сбились на носках туфли, и на платье уже нет черных лент, а нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли. Люся похудела. Тень легла на глаза, коса уложена кружком на затылке, строже сделалось лицо ее.

Она прошла мимо.

Ничего уже не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою...

Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

— Борька!?

Она подошла к нему, дотронулась, пощупала медаль, ордена, нашивку за ранение, провела ладонью по его щеке, услышала колючесть ершистой растительности.

— В самом деле Борька!

Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

*

Но ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не отводили на переформировку, его пополняли на ходу, и Борис, теряя людей, не успевая к иным солдатам

даже и привыкнуть, топал и топал вперед со своим взводом и оказался уже в Западной Украине.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет — к своим, видите ли, попал.

Недавно появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но важный, родом из города Ростова. Он принес ведомость на жалованье. Солдаты шумно изумлялись — им, оказывается, идет жалованье! Расписались сразу за прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны. После этого капитан прочитал лекцию о пользе щавеля и содержании витаминов в клевере и крапиве, так как последнее время с кухни доставляли зеленую похлебку и солдаты грозились заложить гранату в топку кухни.

Лекцию насчет пользы витаминов капитан провел как бы в шутку и как бы всерьез, на вопросы отвечал шуткою, но построжел, когда его спросили: не с клевера ли у него брюшко? Брюшко оказалось от больного сердца. Разговор сам собою перешел на второй фронт. Крепкими словами были обложены союзники за нерасторопность и прижимистость — все сошлись на том, что из-за них, подлых, приходится жрать зеленец и переносить временные трудности.

Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику и даже в легкую атаку на село сходил, занявши которое, солдаты подшибли гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи. Ростовский капитан посмеивался понимающе, глодая дикую гусятину.

Мясцом капитана попотчевал Пафнутьев. Он притирался к ростовскому капитану, таскал его багажишко, выкопал ему щель, принес туда соломки и вовремя, к месту интересовался: «Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?».

Словом, увел Пафнутьева капитан с собой. «Кума с возу — кобыле легче!» — решили во взводе.

Во время затиший Пафнутьев навещал родную пехоту, всех без разбору угощал папиросами из военторга. Поболтав о том о сем, поотиравшись на переднем краю, он уволакивал узел трофейного барахла: одеял немецких, плащ-палаток, сапог. Барахлишко — догадывались солдаты — Пафнутьев менял на жратву и выпивку.

Однажды Мохнаков мрачно бухнул Пафнутьеву:

— Ты вот что, хитрован! Или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкалывай до победного конца. Уж двадцать лет как у нас холуев нет!

— Холуев, конечно, уж двадцать лет как нет, — не вступая в пререкания со старшиной, поучительно ответствовал Пафнутьев, — да командиры есть, и кто-то должен им приноравливать. Товарищ капитан не умеют ни стирать, ни варить. Антилигент они. — Докурив папироску, Пафнутьев поглядел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы, — туда ночью ходили в разведку боем штрафники. — Штрафников-то полегло эсколько! — заохал Пафнутьев. — Грех да беда не по лесу ходят, все по народу... Хуже нет разведки боем. Всё по тебе палят, как по зайцу...

Мохнаков взял Пафнутьева за ворот гимнастерки, придавил к стене траншеи, подержал, пока тот не захрипел.

— Понял?! — старшина подкинул вверх и поймал гранату-лимонку.

— Как не понять?

— Тогда запыживай отсюдова!

— Я-то запыжу, — отдышавшись, начал мять папироску пляшущими пальцами Пафнутьев. Закурив, он уставился на трофейную зажигалку, излаженную в виде голой бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался промеж ног. — Я-то запыжу, — убирая зажигалку в нагрудный карман, нудил Пафнутьев. — Вот кабы ты вместе с Боречкой не запыжил туда... — кивнул он головой на нейтралку, где с ночи лежали и мокли под дождем убитые штрафники.

Старшина ткнул ему в нос гранату, дал понюхать. «Да, а ежели не потрафишь товарищу капитану, да ежели он сюда вернет, да потом бой ночью ежели...» — Пафнутьев вдруг задергался, завизжал и выбил гранату из руки Мохнакова:

— Не стращай девку му... она ведь видала!

Ростовский капитан на другой же день пожаловал в окопы, сопровождаемый неприступно важным ординарцем. Опять капитан выспрашивал фронтовиков о нуждах, сулился ликвидировать их и, как бы между прочим, интересовался: не состояли ли взводный и старшина в связи с женщиной, которая была под оккупацией, держала квартиранта фашиста и даже с генералом у нее будто бы шашни водились.

«Пафнутьев, стервоза, обработку переднего края начал!» — отметил старшина.

Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.

Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор и, если возможно, захватить высотку справа от него и закрепиться. Мохнаков целый день торчал в ячейке боевого охранения, с биноклем — высматривал, вынюхивал, и ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимый гам и пальбу такую, что хутор фашисты в панике оставили и высотку тоже.

Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщений на высотку, и блаженно радовались тому, что копать не надо. На высотке брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже и телефон был подсоединенным. «Гитлер капут!» — орали в телефон бойцы. С другой стороны им отвечали: «Руссиш швайне!». Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их и пели похабные песни с политическим уклоном.

Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским иванам «гросс-капут». Тут как тут явились на отвоеванный НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов, всегда, мол, мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды с зимы минированы: еще один оборонительный вал немцы сооружали.

Около полудня появился в поле боец и попер напропалую по низине.

— Кого это черти волокут? — Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.

— Сапер запыживает, — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло,

вроде как бы дверь в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.

— А-а-ай! Мамочка-а-а! — донеслось до окопа, и Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:

— Тошно мне! Это ведь Пафнутьев! — и заругался: — Какие тебя лешаки сюда ташшыли, окаянного? Трофеи унюхал, трофеи!

— А-а-ай! А-а-а-ай! Помоги-и-и-ите-е-е-е! Помоги-и-и-ите!

Карышев перестал ругаться, засопел и мешковато полез из окопа. Старшина схватил его за хлястик шинели:

— Куда прешь, дура! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низинку. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса, под которыми уже обозначались беловатые всходы калужника и прокололись иголки свежего резуна. В кочках, разбрызгивая воду и грязь, бился Пафнутьев и все кричал, кричал, а над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик.

— Будь здоров! — наказал старшина Карышеву.

Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.

— Кшить, дураки! Кшить! — старшина утирал рукавом пот со лба и носа. — Рванет, так узнаете!

Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрывов побелела и пахла порченым чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавши первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению, а Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.

— Не бойсь! — буркнул Мохнаков. — На вот, кури. — Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман — там у него хранилась знатная зажигалка.

— Возьми зажигалку на память.

— Упаси нас бог от тебя и от твоей памяти.

— Прощенья прошу, Николай Василич, — запричитал Пафнутьев. — Наклепал я на товарища лейтенанта и... на тебя...

— Его-то зачем? Ну я, скажем, злодей. А его-то?..

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана еще один пакет, разорвал зубами. Пафнутьев все причитал, каялся.

— Ладно, не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул старшина. — Люди на войне братством живы, так-то...

— Выташшы, Николай Василич! Ребятишки у меня, Зойка. Сам семейный... Всю жизнь... молить всю жизнь... — Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк — старшина туго-натуго притянул бинтами к паху его мошонку. «Чтобы не укатилось чего куда», — мрачно пошутил Мохнаков, взваливая на загорбок податливую, будто разваренную тушу солдата.

В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем как унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые, плывущие жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

— Простите, братцы! — Пафнутьев отвалился на носилки, прикрыл лицо рукой. Кадык его, покрытый седой реденькой щетиной, заходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина чего-то недовольно бубнил, оттирая гимнастерку и штаны.

*

Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они возвращались на передовую и уже подходили к хутору, утомленные ношей, утратившие осторожность, как вдруг, без эха, ударил выстрел.

Карышев сделал шаг, второй, все с тем же ощущением в душе благости деревенского вечера. Это не выстрел, нет, это с оттяжкой щелкнул бичом деревенский пастух, гнавший из-за поскотины, с первой травки залежавшихся в зимних парных стайках коров. Ноги солдата уже подла-

мывались в коленях, а он все еще видел избы, тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденькую, еще не наспелую вечерницу-зорьку с прозеленью и вдруг уперся взглядом в передовую линию — ремень траншей стеганул его по глазам, и все вокруг встало на ребро, опрокинулось на Карышева: дома, деревья, небо...

— Ку-у-у-ум! — дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

— Западите! Западите! — повторяя, бежал по траншее Мохнаков.

Карышев и Малышев — опытные вояки, поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я, — проговорил он, прерывисто схлебывая воздух.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать было, вытирал ладонью вспыхивающую на губах друга красную пену и все насылался:

— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай... — Губы Малышева разводило, и лицо его было серое, а лысина почему-то грязная. Весь он сузился, исхудал разом, и сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек. Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы, и все понуро ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что оказать и сделать. По хате поплыл тонкий, протяжный звук, будто из телефонного зуммера. Это Малышев зашелся в плаче и старался придавить его в себе, но ничего не получалось у солдата.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», и перевел взгляд на кума. Борис понял — ему надо уходить. Распрямился взводный и не услышал под собою ног.

— Моих-то, — прошептал Карышев.

— Да об чем ты, об чем!.. Не сумлевайся ты в смертный час! — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев. — Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то теперича-а-а! Зачем мне жи-ить-то?..

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою стойку

или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: «Так умеют умирать русские люди! Вот так!..»

В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки и уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

— Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с кумом до фронта; женились в один день; в колхоз записались разом. Бывало, гуляют, так кум домой утайком волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: «Отворяйте ворота, да поширше!..»

Ночью, без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень впору пришелся на одичалом хуторском западноукраинском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и каменьями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего средь могил, шарахнулась в темноту зловещая птица.

На этом же кладбище было три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их и побросал за ограду, туда же запустил и ржавые каски, и они громко звякнули в темноте.

Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей старшина. От висков, из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло, губы потрескались. Ходил он неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки. Спал мало, ел плохо, не пил совсем, курил только беспрестанно да военное дело выполнял с лютостью — искал смерти.

Но и смерть его сторонилась.

Раздобыл старшина чистое белье и новый вещмешок. Белье надел, а вещмешок упрятал в ячейке. В мешке было что-то круглое. Думали, домашний каравай хлеба.

Но потом солдаты разнюхали, что это противотанковая мина, и гадали — зачем она старшине?

Не отбив сгоряча, дуриком у них взятую высотку, немцы бросили в атаку танки. Артиллеристы ударили по танкам, один повредили, а остальные рванули к окопам и достигли высотки. Пэтээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную землю.

Танки навалились утюжить траншею. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы.

Окутанный пылью, резво бренча левой ослабевшей гусеницей и покачивая пушкой с надульником, лез к наблюдательному пункту старый танк. На лобовой броне его взблескивали царапины, пестрая краска отваливалась лоскутьями, как старая шкура со змеи; свежий шов электросварки тянулся по поддону от переднего люка.

Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк пускать через окопы нельзя — за десяток наработает!..

«Запыживай, паря!» — Мохнаков надел вещмешок за спину, затянулся в последний раз от толстой цигарки, притоптал окурок и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. И старшина увидел оплавленное лицо водителя в детской розовой кожице — бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел.

Они глядели друг на друга всего лишь мгновение, но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, не трудно догадаться было — немец все понял: этот русский с тяжелым, ссохшимся лицом идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес: «Райцентр Мотыгино, улица Мыльная, номер дома...».

Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться некем: старшины не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление, Ланцова Корнея Аркадьевича забрали в армейскую газету. Из старых солдат остались во взводе Малышев и Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, и не за распоряжениями, а просто узнать — не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплому ободку и частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами затхловатое, крупнодробленое, склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изжевывать ее всю, до крошечки — солдаты оторвали от себя последнее — уважать фронтовое братство он научился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, обыгавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородою командир роты Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин обнял взводного, по спине похлопал:

— Я буду ждать тебя, Боря!

В дороге лейтенанта нагнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъевшийся в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах и катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие, танками прорытые колдобины, но он все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку и как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешанном логу повозка завязла. Борис пробовал помочь Шкалику, да силенок у того и у другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я чичас, товарищ лейтенант!» — и прытко побежал впереди лошади, дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, заклубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чащу, упало и покатилось колесо от телеги: из редеющего дыма выпадывало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки.

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они, рядом стоят дощечки с намалеванным черепом — ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может подумал, Борис и потер распухшие, зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно

бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, а страдания в сердце не было. Привык. Ко всему привык. Притерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль и дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке везде быть с солдатами забрался в общую очередь и все пропускал тех солдат, которые казались ему тяжелее его раненными.

На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать ссохшиеся рыжие бинты, а отодрала их, как фанеру, с плеча Бориса, промокнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему белую таблетку, оглянулась вороватo и сама съела такую же. Бориса начало укутывать кудельно-волокнистым сном, и у сестры тоже затуманились глаза.

Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. Борис отдаленно и вяло сказал: «Не знаю», — потому что боль отозвалась везде. Врач озадаченно глянул на больного:

— Наклюкаться где-то успел, сердечный, — и потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, защекотала струйкой спину, живот. Бориса понесли со стола. Ему сделали укол, потерли виски нашатырным спиртом и разрезали плечо крестнакрест.

Через неделю, от силы через две — заверила лейтенанта старшая сестра санбата — он снова будет в строю. Что-то тут не так: ранение в плечо простым не бывает, при нем ни тряхнуться, ни ворохнуться — болит все. Да пусть — не все ли равно где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, а, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в

санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремою.

В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, а из логов, где еще серели обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, и, бросив чиненое одеяло, опустился на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал, и мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы и оседали на распустившийся ивняк. Ивы гудели и шевелились от пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам.

Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, вознесшихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом автоматные очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одеяло еще только сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то легко коснулось руки, защекотало ее. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

— Лю-у-у-уся-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

— Лю-у-у-уся-а-а-а-а?!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилу, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

— Больной, ты не видел Люсю?

Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

— Повариху не видел, спрашиваю?

Он силился что-то понять.

— Ты чего, совсем уж ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует?

Бабочка успела улететь.

— Ничего я не помню, — с досадою сказал лейтенант.

— Оно и видно. — Женщина покатилась на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: — Лю-у-у-у-уся-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

«Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. — Лю-у-у-уся-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?!»

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт — не помеха, не помога земле. Она занята своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь, шевелящуюся в недре, и до него, выдохшегося человечишки, нет ей никакого дела — она вечна, а он мимолетный гость на ней.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

— Болит?

Борис опустил голову:

— Болит.

Врач через очки бодуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

— Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой коротконогой санитарки, что искала повариху Люсю.

— У нас тут не курорт, а санбат! У нас каждое место на счету... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке, лейтенант беспомощно улыбался. На его глазах однажды сибирский веселый пареван добивал гаечным ключом подраненную утку. Вот ведь оказия какая — еще утка эта несчастная в голову лезет... Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом и так вот за-

просто живет, тогда как настоящие люди сражаются в это время, умирают за него...

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

— Так выбросьте меня... на помойку.

Сестру, избалованную лестью, властью и мужским вниманием, передернуло. У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войной, врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбату причинам. Не одного еще такого вот мямлю-мужика обратает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей, увезет с собою после войны в южный городок, где сытно и тепло, да и помыкать простофилей будет еще лет десять-двадцать, пока тот не помрет с надсады.

— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и, вовсе уж задушенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

— Попробуй! — начала старшая сестра.

— Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к дверям.

— Успокойтесь, успокойтесь!..

— Привязать этого героя к койке! Сделать укол! — громко, чтобы слышно было раненым в других палатах, объявила старшая сестра.

«Господи! Это — женщина?!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

— Вот, достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст эта пэпэжэ в халате белом.

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

— Не надо привязывать. Пожалуйста...

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. Распустились, понимаешь, мол, эти раненые, спасу нет.

Уже отмякший от укола, слипающимся сознанием, Борис отметил: «Да-а, и это тоже женщина!..»

Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице

крапал дождь, цыпушкою поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос кукушки...

Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцевито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно видел и слышал после нервной вспышки Борис.

— Не спите? — убрав полу сырой шинели, врач присел на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я назначил вас на эвакуацию. У вас началось обострение. — После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: — Души и остеомиэлиты в походных условиях не лечат. — И грустно добавил: — А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно...

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей и принимайте мир таким, каков пока он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно пострашнее войны...

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, вздох, и мягкие, расползающиеся шаги поглотила ночь.

Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно. Дождь и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза и притих в себе.

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих... Но если ее нет, тогда все, тогда, значит, остался от человека мешок с костями. Потому-то и на передовой бывало: даже очень сильные люди вроде бы ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, как ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей. И однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли: «А меня скоро убьют». Иные даже и срок определяли — «сегодня или завтра». И никогда, почти никогда не ошибались...

*

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной

простыней. Сестра и няня, две заезженные санпоездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, разносили посуду с горлышками и утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая и терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку, и Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых ранбольных.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пашут землю на быках и коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виделись среди пашен и перелесков. Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола и неровного камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже кое-где бегали тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле. Борису вспомнилось где-то и когда-то услышанное: «Только одна истина свята на земле — истина матери, рождающей жизнь, и хлебопашца, вскармливающего ее...»

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, перепоясанный бинтами, как революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенанта табаком, кашляя беспрестанно, и с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядька перевернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:

— Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Преет! Гриб в назьме завелся! Хорошо!.. Ой, пигалица, пигалица! Летат, вертухается! Батюшки! И грач, и грач! По борозде шкандыбает, черва ишшет, да серьезный такой!.. Нашел! Наше-ел! Рубай его, рубай! Х-хосподи...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня малохольненьким. Суп ел торопливо, проливал на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу и хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:

— И тут на коровах пашут! Захудала Расея, захудала! Вшивец-Гитлер до чего довел, мать его и размать!..

— Оте-ец! Оте-е-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

— А я чё? Рази изругался? Вот мать твою...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, а балаболил, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать. — Вот оклемаюся в лазарете, и на пашню, на па-а-ашню! — Слово «пашня» он прямо-таки выстанывал. Дядька и Борису давал бодрый совет: — Ты, парень, не скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю! Она выташшыт. В ей, знаешь, какая сила! Камень колет! А это хто же, а? Хто же это?! Клюв-от кочергою?

— Кроншнеп это.

— Зачем птицу немецким словом обозвали? Кулик это! Кулик и все!

— Ну, кулик, кулик. Не лайся, ради бога!

— А я рази?!. Все! Все! Теленок-от, теленок-от! Взбрыкивает! Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались за Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, и вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам — разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к гулу и бряку лейтенант скоро привык, и поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны. «Зачем все это? Для чего? Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копаться в земле и однажды сунется носом в эту же землю. А может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу вот таким вот мужикам, миллионам таких мужиков».

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек на станциях. Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то.

Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений. Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-чалдонски растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах и крестики стрижей в небе.

— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, подняла голову от стола, вытерла губы косынкой и подошла к Борису, положила ладонь на его лоб.

Губы лейтенанта светились, будто наляпанные алой краской на желтом картоне; глаза начищенно блестели, горя последним накалом; губы поплясывали — никак он не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.

— Чем же тебе помочь, не знаю, — прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.

— Спи, миленький. Злосчастным, видать, ты уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет. — Арина похлопывала по одеялу, байкала его как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, а веки беспокойно подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта простенькая из простеньких станичная девушка, и все-таки она приблизила к нему образ той женщины, которую память не удержала, сохранив лишь глубокие и невзаправдашно красивые глаза. До конца не понятая, до конца не увиденная, та женщина тоской остановилась в нем, и тоска эта красной и жаркой корью пекла его душу.

Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством притронулся к Арине.

— Вот уходилась — стоя сплю! — испуганно отпрянула Арина.

— Ты минуту-две и спала всего.

— А-а. Как птичка божья — ткнулась и готово. Ты, оказывается, разговаривать умеешь?! Какая печаль-то у тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут, — показал на грудь Борис, — заболело... — Мелкий кашель встряхнул его, защекотало нутро.

Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

— Ладно, молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.

На большой, дымной станции, где сдавали работники санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья еще раз, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый вокзал с облупленными стенами, черные, грязные пути, и грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в глазах — все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодел, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным чемоданом, та единственная женщина, которую он уже с трудом, по глазам только и узнавал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог бы узнать ее сразу.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретилась взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула к поезду, но тут же отступила назад и уже без интереса пробегала взглядом по другим окнам, другим поездам.

Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, трясла его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыки он уже не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, и в загустевшей глуби его плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина с иконописными бездонными глазами.

Очнулся он от прохлады. Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу, и делалось сквозно и совсем свободно внутри. Весенняя гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.

Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами, билось тише и реже, тише и реже. Поезд оторвался от рельсов и плыл к горизонту, в нарождающийся за краем земли тихий и мягкий мрак — он тоже уходил в небытие.

Не желая останавливаться, сердце еще ударилось силь-

но раз-другой в исчахлую жестяную грудь и выкатилось из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона. Тело Бориса выпрямилось, замерло. Под опустившимися веками еще какое-то время теплилась багровая и широкая заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, а потом и заря остыла сыспотиха в остекленевших зеницах лейтенанта.

Утром Арина подошла умывать Бориса, а он лежит, сморщив рот в потаенной улыбке. Попятилась, закричала Арина, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткою, среди поленниц дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. В безлесом южном Приуралье кто-то вынул из букс паклю на растопку. Буксы загорелись, ось заклинило, и осмотрщик вагонов мелом написал: «больной». Вагон отцепили на маленьком полустанке.

При вагоне оставили Арину, чтобы она похоронила здесь покойного лейтенанта и с отремонтированным вагоном дожидалась санпоезда из обратного рейса.

Покойник оказался и в самом деле несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в большое степное село. Начальник полустанка сказал, что земля в России всюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши сарая, пирамидку заострил из старого сигнального столбика, и двое мужчин — начальник полустанка и дежурный оператор — да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки и скорбно помолчали над могилой фронтовика. Арина, или винясь за что-то перед ним, или пронзенная печальной минутой и бедным похоронным обрядом, горестно покачала головой:

— Такое легкое ранение, а он умер...

Они собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку.

Арина все оглядывалась, ровно бы на что еще надеясь, и утирала глаза рукой, измазанной землею.

Могильный холм скоро окропило травою, и в одно дождливое утро размокшие комки просек тюльпан, подрожал каплею на клюве и открыл розовый рот. Корни жили-

стых степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

*

...И, послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:

— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.

Низко склонившуюся над землею седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце катилось за горбину степи, все так же калила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером. Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. Покой окутывал степь.

— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России.

1967—1971

Звездопад

Я РОДИЛСЯ ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ В ДЕРЕвенской бане. Об этом мне рассказала бабушка. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему».

Каждое сердце обновляет ее...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в начальной школе, и возле нее был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Оста-

лась одна проходная будка, где дежурил вахтер и принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так и буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект, «пикировали» в город мимо вахтера, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание и горели уши. Тогда еще не было в ходу слова «пошляки», и оттого, стало быть, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом, несколько раз подряд? Если не приходилось — и не надо. Это очень мучительно быть несколько раз под наркозом.

Я помню, был маленький и играл с ребятами на сеновале. Они бросили на меня охапку сена, навалились, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали меня. А когда отпустили, я долго был как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз — вдох, два — вдох. Потом станет душно и захочется крикнуть, рвануться, вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванешься, и крикнешь. Рванешься — это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь — чуть слышным шепотом.

Но неведомая сила внезапно вздымет тебя с операционного стола и бросит куда-то в бесконечную темноту, и летишь в глубь ее, как звездочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И все.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя не существуешь.

Я почему-то думаю — так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Минуло больше двадцати лет, а меня душит запахом больницы, в особенности хлороформом. Вот поэтому я не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось все, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски сцепления в двигателе подсоединялись один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова все отдалялось, проваливалось. Но вот я еще раз почувствовал, что мне душно, что я лежу, и кругом тишина, и только пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел туда, боясь закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто газетным абажуром, и я постепенно разглядел и увидел, что абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Она в белом халате, поверх воротничка вроде бы темнела косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на ее остренькие плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. А я смотрел на нее. Мне хотелось воды, чтобы смыть из горла тошноту, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее и хотелось плакать. Я ведь был все равно что захмелелый, а хмельные русские люди всегда почему-то плачут или буянят.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость и оттого, что лампа вот горит, и что вот девушка читает, и что я снова вижу все это, вернувшись невесть откуда. И, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвел глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она пошла ко мне. Я все слышал, но маскировался, сам не знаю, почему.

Она склонилась надо мной. И тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, изогнутые ресницы, слегка припухлую, неравную губу, тоненькую шею, вокруг которой в самом деле была повязана цветная косынка. Нет, вру. Она не повязана была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна

пуговица на халате была пришита черными полинявшими нитками. И еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка — двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я все, все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был еще какой-то свет, который озарил мне всю ее!

— Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

— Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потянулся к стакану, но девушка отстранила мою руку, ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она спросила:

— Вам дать снотворный?

— Не, — испугался я, застигнутый врасплох этим предложением, — я не хочу спать. — И, чего-то стесняясь, добавил: — Я уже наспался...

— Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая прийти в любую секунду ко мне. Но я не звал ее, не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир минометного расчета, все время невнятно командовал: «Огонь! Огонь!.. Зараза! Вот зараза!.. Вот за-ра-за... Во-о-о-за-ра-за-за-за...» Это уж всегда так: отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-нибудь неполадка стрясется: курок не спускается либо ствол змеевиком сделается. А у Рюрика, видать, мина в «самоваре» зависла, вот он и ругается. Мину из трубы веревочной петлей достают. Опасно! Вот он и ругается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но все равно проснешься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла, положила ла-

дошку на мой горячий лоб и ровно бы всего меня накрыла этой прохладной и мягкой-мягкой ладошкой, потому что всему мне сделалось сразу легче, нервная дрожь, смятение, духота и покинутость оставили меня, отдалились, утихли.

— Ну, как вы? — снова спросила она.

И снова я сказал:

— Ничего... — Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. — Ничего, — повторил я и заметил, что она собирается снять ладошку с моего лба и уйти. Я сглотнул слюну и чуть шевельнул пальцами здоровой руки: — Вы... вы какую книжку читаете?

— «Ха́ос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

— Не-ет. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Это вроде бы тоже Ширванзаде?

— По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдет и заторопился:

— А я много книжек читал. — Мне тут же стало жарко, и я пролепетал: — Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... — И разом возненавидел себя за такое хвастовство, и отвернулся к стене, и отрешенно ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдет и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я прислушался.

Да, она стояла рядом, и я, кажется, слышал ее дыхание.

— Вам, может, почитать? — спросила она.

— Ой, пожалуйста! — обрадовался я.

Девушка огляделась, покусала губу.

— Ах, нельзя! Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжелый. Знаете что, давайте лучше пошепчемся, а?

— Чего-о?

— Ну, поговорим шепотом.

— Давайте, — сразу переходя на шепот, стыдливо согласился я.

И мы заговорили шепотом.

— Вы откуда? — наклонилась она ко мне.

— Сибиряк я, красноярец.

— А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар — Красноярск.

— Ага, совпало, — тряхнул я головой и задал самый «смелый» вопрос: — Как вас зовут?

— Лида. А вас?

Я назвался.

— Ну вот мы и познакомились, — сказала она совсем уж тихо и отчего-то опечалилась.

А я лихорадочно соображал: уж не сделал ли опять что-нибудь неловкое?

— А теперь помолчим. Вам еще нельзя много разговаривать. Вам поспать бы.

— Нет, не буду, мне уже ничего... — запротестовал я, — хорошо.

— Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то уж, готово дело, расчувствовался. Она небось со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул, балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы.

Солдаты просыпались, кряхтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран, боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань — знакомая картина.

По окну криво текут капли. Ветка черная видна, вся усыпанная каплями, светлыми, круглыми. Два нахохленных воробья сидят на ветке — подачек ждут — крошки им из окна бросают.

У нас с поврежденным позвоночником лежит Афоня Антипин из города Бийска, или из деревни, что под Бийском. Он без подушки лежит, на матрасе, набитом песком. Кровать его поставили так, чтоб хоть эту ветку видно было, воробьев — все радость какая-никакая.

За ним, так, чтоб можно было руками дотянуться и подать Антипину чего потребуется, глыбится грудью, брюхом и сыто хрюкает ноздрями старшина Гусаков, командир полковой разведки. Обе ноги у него в гипсе, желтые, гипсом вымазанные, пухлые ступни и пальцы с кривыми ногтями торчат из-под одеяла — оно ему коротко, одеяло-то, а он, скабрезник и посказитель, поясняет, что одеяло ночью с ног стягивается по причине воздействия хорошего харча и прелюбодейных сновидений.

Старшина спит здорово, но чуток, как птица, — разведчик! — и, учуяв шевеление в палате, хуркнул затяжно, прощально и сладко, завыл, открыв широченный зубатый рот.

Зевая, он подтянулся, схватившись за спинку кровати, и глянул за окно:

— Прилетела стая воробушков на землю зерна клевать, ох и настала погодушка, растуды же, туды ее мать! Ну, что, Афоня? — это он к Антипину обращается, они из одного взвода разведки, и ранило их в одном поиске, и, кажется, вернулось из поиска-то всего двое — Гусаков с перебитыми ногами выпер с нейтралки Антипина на себе. Что-то, видать, не додумал, не доглядел Гусаков, перед тем как идти в поиск, и вот всячески выслуживается за всю перебитую группу перед Антипиным. Впрочем, если б на фронте можно было воевать без ошибок, мы бы уж давно в Берлине были.

— Шоб тому хвюреру! — ворчит вислоусый украинец, мой сосед, схватившись за полоску бинта, приклеенную к животу. — Шоб ему на тым свити було як мэни сейчас...

— Как дела? — спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший минометом.

— Живу, — коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

— Курить будешь? — опять полез с вопросом Рюрик.

— Без курева тошно.

— А я, братцы, закурю, — испрашивая у всех разом разрешения, сказал Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком, и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

Утренняя разминка продолжалась, шел ленивый трёп, и ожидание няни с тазом для умывания, и позднее — завтрака.

— И что за сторона такая? Мокрень и мокрень! — жаловался старшина Антипин, делая передышки. — Текот и текот, текот и текот! Это ж весь тут отсыреешь. Вот бы меня домой — у нас уж мороз так мороз, жара так жара. И люди не подвидные, хоть в грубости, хоть в ласке нараспашку. Меня бы домой, а?

Это повторяется изо дня в день — Антипин намекает старшине, чтобы тот выхлопотал эвакуацию в другой, желательно алтайский, госпиталь. Но дела Антипина плохи, ему нельзя и здесь-то шевелиться, даже много разговаривать нельзя, силы его убывают. Старшина Гусаков и все мы это знаем. Потому старшина увиливает от разго-

вора с Антипиным. Он громко, с показной озороватостью, командует:

— Кому что снилось? Докладай!

— Дак чё может нам сниться? Война! Все она, проклятая...

— У меня опять мина в трубе зависала, мучался, мучался, — откликается из угла Рюрик.

— Выудили?

— Да уж и не помню.

Худой, непородистой щетиной обметанный мужичонка, из тех, чьей фамилии не узнаешь, имени и роду-племени тоже, пока он не помрет или что-нибудь выдающееся с ним не случится, вдруг подал робкий и смущенный голос от двери.

— А мне баба приснилась. — Мужичонка сделал паузу, и вся палата заинтересованно насторожилась. — Голая! Прет на меня, понимаешь, и грудя у ей, как мины... — Мужичонка опять прервался, сглотнул слюну.

— Нну-у!!! Дальше-то чего?! Дальше?..

— Дальше? Испугался я. Попятился...

— Э-э-эх! — простонал старшина Гусаков. — Везет мужикам! Хватался бы за мину-то...

— Э-э, нет! — Мужичонка оживился. — Я — сапер! Сдуру за мину не схвачусь. А ну как и рванет!.. Я думаю: такой сон к выздоровленью, братцы, а? — повернул он разговор на серьезное направление.

— Знамо! Баба голая да еще чужая уж зазря не приснится!

Мы с Рюриком и рты пооткрывали — внимаем! Я и про боль, и про наркоз, и про все позабыл, но тут, после долгих попыток все же уселся на кровати мой сосед, отстонался, отхныкался и укоризненно покачал головой:

— Ай-яй-яй! Парубки тут, диты неразумные, а воны таку шкоду размовляють!..

Старшина Гусаков сконфуженно крякнул, прокашлял скрипуче горло и, приподнявшись на локте, нашел меня взглядом:

— Ну как ты там, недорезанный парубок?

— Живу! — коротко, как и Рюрику, ответил я, не спуская глаз с лампы.

«Хорошо-о, — сердился я неизвестно отчего, — очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался — и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат,

такими штучками не доймешь... Я, брат. Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого черта она горит днем? Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали: керосину не хватало. А тут, видали, палят!»

Я оперся здоровой рукой о кровать, сел, и все пошло передо мной кругом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, — девятнадцать....

Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда. Нос набок, рот большущий, уши круглые, как у соболя; в треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне все, и я о нем тоже — мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

— Дай докурить, — подсел я к Рюрику.

Он обкусил замусоленную цигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы.

— Раза два дерни, и все, довольно.

— Ладно.

Я затянулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя — он ранен в живот.

— Носит тебя тут, — заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперед.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра, кастелянша, няня и другой

разный народ — все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру, зашли, чтобы подвергать их исправлению и вообще поменьше с ними церемониться. Впереди всей челяди, как сухонький, маленький полководец Суворов, только без шпаги, — Агния Васильевна — главный врач. У нее одной приветливое лицо, весело сверкает старомодное пенсне да серые вихры из-под белой шапки торчат. Лицо, как она ни тужится делать его строгим, выражало давнее озорство, и я всегда думаю, с первого дня, как ее увидел, что как, наверно, любил ее какой-то парень! Без ума!

Агния Васильевна, может, угадала эти мои хорошие о ней мысли и, может, потому ко мне хорошо относится, но прикрывает такую свою слабость строгостью. Уж так она строга ко мне, так строга, что уж мне порой и смешно даже. Но только не сейчас.

Лидочки нет среди челяди, сопровождающей Агнию Васильевну. Жаль. Ну ладно. Я и на Агнию Васильевну люблю смотреть. Я бы не знаю что для нее сделал, а она даже и не взглянет в мою сторону! Задрала рубаху на том мужичонке, которому баба голая приснилась, постучала, послушала и заключила:

— Вас жена так заморила или на фронте отощали? — И, не дожидаясь ответа, кинула через плечо сестре, изготовившейся писать: — Усиленное питание!

Ох уж эта Агния Васильевна! Ну до чего же я ее люблю! Да что там люблю, обожаю просто! Вот если б она это знала и посмотрела бы на меня!.. Хоть разок!.. Нет, не смотрит.

Азербайджанца Колю (у него другое имя, но трудное, и он махнул рукой: «А какой разница?! Пусть будит Коля!») слушает Агния Васильевна, слушает, щупает. Коле щекотно и он ужимается, хихикает. А еще месяц назад богу, или — как он у них там? — аллаху, что ли, душу отдавал. Когда ему сделали операцию, он, обалдевший от наркоза, утром мостился и мостился на кровати, улыбаясь всем нам светлой такой улыбкой. «Ты что?» — с ужасом, придавленно вопросил кто-то наконец. «А я сичас на кина пойду!» — все так же лучезарно улыбаясь, заявил Коля. Ну, тут все мы застучали, забренчали чем только можно, прибежали санитарки и Колю к кровати привязали.

Агния Васильевна звонко завезла по Колиной спине ладонью:

— В палату выздоравливающих!

Что тут началось! Азербайджанец рубаху на себя, вскочил, глазами засверкал:

— Вот! Кто прав? Я прав! Вот! Мне Полше гаварили: «Пamрешь!» Украине гаварили: «Па-а-амрешь!!» и Левове, и Винице, и Киеве — «Памрешь! Памрешь! Памрешь!» Как памрешь? Пачиму памрешь? Ни сагласный! Жить хачу! Вина пить хачу! Танцивать хачу! Девушек любить хачу! — Колю тут же осенило: — Дайте я вас па-сссы-цилую! — Раскинув руки, Коля двинулся вперед, но Агния Васильевна остановила его:

— Потом, потом! Придешь в ординаторскую и сколько твоей душе будет угодно — целуй! Мы изготовимся к этой процедуре, а сейчас обход. Не мешай!..

Говоря это, Агния Васильевна медленно двигалась к койке Антипина, и тон ее и выражение лица заметно менялись. Возле Антипина она пробыла недолго и все время уводила глаза. А он ловил ее взгляд, не умеющий и все-таки часто вынужденный врать.

— Вас переведут в другую палату, — сказала Агния Васильевна, помолчала. — В отдельную.

— В изолятор?

— Нет-нет, что вы! Просто в отдельную палату. Там тише, теплей. Удобней там...

Антипин все понял, попробовал бороться, отстоять еще что-то:

— Зачем же? Мне здесь хорошо. Ребята все свои... привык я к ним. Гусаков, товарищ старшина, однополчанин... ребятишки вон молоденькие! Веселые. Мне здесь глянется... — торопился Антипин, видя, что Агния Васильевна поднялась и собирается уходить от его койки.

В палате сделалось тихо. Так тихо при мне еще ни разу не было.

Агния Васильевна остановилась возле койки моего соседа.

— Ну, а тут все пече?

— Пече, доктор, ох, пече...

— Шов рубцуется нормально. В палату выздоравливающих! Она у нас самая холодная. Чтоб не пекло! — Что-то неприятное, свойственное только докторам и всем тем, кто может беспрепятственно властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами, появилось в голосе Агнии Васильевны. Я ее такую не любил, боялся и потому затаился под одеялом и не лыбился уж ей встречно.

— Та як же ж?.. Та ж болыть! И так пече. Так пече... — ныл мой сосед.

Но Агния Васильевна ровно бы и не слышала его. Сдернула с меня одеяло, послушала, велела показать язык.

— Покурил?! — Я опустил покаянно голову. — Разве от хлороформа мало обалдел? Могу добавить!

— Н-не! — испугался я. — Ну его!

Что-то похожее на улыбку тронуло сухие губы Агнии Васильевны, и пенсне сверкнуло приветливей.

— Ходить когда разрешите? — осмелел я.

— Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать — скоро, прыгать станешь — полежишь.

«Зависит, — раздраженно повторил я про себя. — Ну, зависит если, так полежу смирно. Не жалко».

Больше никакого разговору в палате не было. Деловито и молча закончив обход, Агния Васильевна удалилась из палаты и, комкая в руках фонендоскоп, что-то на ходу раздраженно сказала старшей сестре. Та плаксиво скривила губы и отвернулась.

Афоня Антипин накрылся с головой одеялом и лежал плоский, неслышный, будто и не было никого под одеялом.

Старшина Гусаков залез рукою под себя, шарил где-то в тяжелых гипсах или под гипсами, выудил из недр кровати плоскую грелку, брезгливо выплеснул в плевательницу лекарство из мензурки. Грелка заскрипела коровьим выменем, захлюпала влагой, и по палате угарно поплыл запах самогона.

— Афонь! Афонь! — потянул с Антипина одеяло старшина. — Тяпни для сугреву, а? Тяпни!..

Антипин не отзывался. Старшина опрокинул одну, другую, третью мензурку в себя, попробовал еще выдавить из грелки чего-нибудь, но больше даже не капало, и тогда он сдавил мензурку в руке так, что она хрустнула, и из пальцев старшины кровь брызнула на постель. Старшина, не замечая крови, мрачно матерился и спрашивал: где и как еще самогонки достать? Но этого никто не знал и никто, кроме старшины, находящегося в недвижном состоянии и все же умудряющегося через нянь добывать горючку, сделать такое не сумел бы, таланту не хватило бы, и, как бы оправдываясь за эту нашу бесталанность, Рюрик угрюмо сказал:

— Руку обрезал.

Старшина глянул на руку, досадливо бросил: «А!» — и стал обмывать ее из графина над плевательницей.

Я не смог пролежать, как было велено, и двух дней. Однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кроватей, побрел к двери. Перед тем как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался прической — больше-то нечем было любоваться.

Я и забыл сказать, что с тех пор, как окончательно очнулся от наркоза, я занимался только своей прической. Случилось так, что до этого у меня никогда не было прически. В деревне бабушка меня стригла наголо ножницами; в детдоме всех нас чохом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше вершка дело не пошло — обкорнали. Ну а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать еще вот о чем. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведен из армейского госпиталя, где и начал отращивать чуб.

Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим. В общем, нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы все равно не шевелятся. Рука совсем-совсем не болит. Она висит, ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мертвая рука.

Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня единственная профессия — составитель поездов, и семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки.

«А, наплевать! Не один я такой! Не пропаду! Не так страшен черт...»

Мне надо выбраться в коридор, ну просто позарез надо. А рука, глаз, нога — это все пустяки. И то, что я в одном белье, — тоже пустяки. Я обернул одеяло вокруг бедер, как римский патриций, и вот в такой юбке щеголяю. Все ребята ходят в таких же. Так прилично, не видно аккуратно завязанной бинтами прорехи, и теплее, и вообще удобно.

Главное — это моя прическа, мой, можно сказать, единственный козырь. Говорят еще, что я веселый и беззаботный парень. Очень веселый. Да, я люблю пошутить, знаю всякие там присказки. Парубок, словом!

Уверен, что, если бы Лида поговорила со мной еще раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт и про

тому подобное, что она сразу бы сомлела и взоры наши и вздохи наши слились бы воедино!

Где я это вычитал? Сильно написано!

Вот я и в коридоре. Вспотел. Прислонился к стене. Горит всего одна лампа. Электростанция в Краснодаре еще не восстановлена. И вообще город живет еще трудно — это я знаю по разговорам.

В дальнем конце коридора наша «культурница» Ира беседует с раненым. Судя по всему, намечает план культмероприятий. Я начал продвигаться вдоль стены, к этой парочке. Раненый с сожалением выпускает руку собеседницы и досадно смотрит на меня. Я же на него не смотрю. Мне не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестренка с огромными глазами, у которых белки блестят, как фарфоровые, и повыше черной завязки дышит ямочка, а спрашиваю совсем про другое:

— Ирочка! Который час?

Удивленная моим игривым тоном, Ирочка пожимает плечами, давая понять тем самым своему собеседнику, что она ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имеет, и говорит мне время. Я еще полюбопытствовал: когда завтра откроется библиотека? Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесет книги и, кроме того, доложит главврачу, как я шлялся без разрешения по коридору.

— Что ж, валяй! — вздохнул я и отправился в свою палату. По пути заглядывал во все открытые двери.

Будто через нейтралку «за языком» к противнику крался я к своей койке по нашей, глухо затемненной палате, и все же за моей спиной раздался внятный шепот:

— И кто там оно ходит? Хлебом, винам просит? — Рюрик! Ну, не скроешься, не спрячешься от этого командующего «самоваром»!

— Охламон! — ругается Рюрик. — Сестрицу перевели в операционную. Операционная мадама с одним товарищем капитаном активно дружила! Огния свет Васильевна этого не любит!.. И еще учти — дежурит сестрица через сутки...

— По мне хоть через трои!..

— И зовут ее Лидкой.

— По мне хоть Маргариткой!..

— И ушивается возле нее тут лейтенантик один.

— По мне хоть генерал!

— Дурында! — взъелся и подскочил Рюрик. — Кого

охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик! Я в этих вопросах!..

— Когда и выучился?

Рюрик отвечает не сразу, напускает на себя важность, неспешно скручивает цигарку, ну все-все делает степенно, важно, а ведь такой же оголец, как и я, и, главное, знает ведь, что никакого действия этот солидный кураж на меня не производит, а вот поди ж ты, кочевряжится! Видать, такая уж порода у этих саратовских брехунов!

— У нас, у саратовских, знашь как?!

— Ну, как? — гляжу я на него, ухмыляюсь.

— А вот так! Родится малый — ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло: «Я не знаю, как у вас, а у нас, в Саратове, девяноста лет старухи шухерят с ребятами!..» — Рюрик аж заподпрыгивал, аж задом об койку заколотил так, что пружины забрякали.

— Трепло! — сказал я, отобрал у него цигарку, дотянул, поглядел в кругленькое зеркальце, лежавшее на тумбочке Рюрика, поплевал на ладонь, приплюснул ерша на маковке и отправился «к себе» — обдумывать положение.

В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на стены керосиновые лампешки с большей частью побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол.

Копотно, людно. Пахнет горелой соляркой, карболкой, йодом, хлороформом, гниющим человеческим мясом и кровью.

Нынче этакое скопище запахов изысканно называют «букетом».

Но еще смешанней, еще запутанней и разнообразней коридорный треп — этакая «мыслительная разминка» перед сном, короче — самая настоящая трепотня людей, без дела слоняющихся из угла в угол.

Вот возле школьной карты, истыканной спичками, изрисованной намусленными карандашами и разными чернилами, сошлись «стратеги». С видом если не заправского преподавателя академии, то хоть заместителя по политчасти, директора нашей школы ФЗО — человек в кальсонах и с желтушно цветущими глазами водит по карте пальцем:

— Главное препятствие на нашем пути: Висла и Одер. Героические наши войска уже один из этих рубежей одо-

лели и ведут неукротимое давление с Сандомирского плацдарма — и лагерь хищного врага трещит по всем швам!..

Ему внимают, открывши рот, четверо контуженых — этим хоть что говори, они все слушают и ничего не понимают, а пытаются по губам угадать — что к чему.

Интересное вот тоже свойство с людьми происходит — отшибет память человеку, и он впадет в детство, не только умственно, но и телесно, глядишь сзади: стоит школьник в кальсонах, шея тонкая, затылок, как у петуха, даже и кость наружу, ручонки в кисти плоские, плечи узенькие, грудь запала.

«Как сюда ребятишки-то затесались?» — подумаешь. Но, глядь-поглядь, человек-то в морщинах, на пятках старые мозоли известью взялись, кожа с них сходит, от годов сутулится человек, а взгляд младенчески несмышленый, пытающийся что-то осознать... Сестры и няни зовут их: «Ребятишки, ребятишки...»

Два белоруса, поддерживая друг дружку, лепятся к стене возле карты. Ну, эти хоть кого слушать готовы и верить чему угодно. Оба они счастливые — недавно из освобожденного города Витебска впервые за три года письма получили! Плакали, обнимались, за сестрами гонялись, чтобы и их обнять и поцеловать. А те Агнии Васильевны боятся — еще подумает чего, с работы прогонит, недаром кличут ее Огнея! Огневка! Огнюха! С Огнюхой не забалуешься!

— Так то ж выходиць?.. — после долгого обдумывания задает добровольному политруку-политинформатору вопрос один из белорусов. — У тым логове скоро наши будуць?

Но не успевает «политинформатор» подтянуть кальсоны, сползающие со впалого живота и ответить умственно, с достоинством на вопрос, как находится человек, вся и всех подвергающий сомнению.

— Держи хлебало шире! Он у себя даст прикурить, немец-то!

— То ж ня дай бог у конце войны загинуць! — простовато высказывает таимую многими про себя тревожную мысль второй белорус. — Ня дай бог!..

Махорочный дым слоями плавает по коридору. На подоконнике двое контуженых, еще не выучившихся говорить и писать, но уже наловчившихся играть в шашки «в Чапаева», — это когда щелчками выбивают строй шашек противника, сражаются на щелчки по лбу.

Давно они сражаются, у обоих уж лбы буграми вздулись, а их, дурачков, болельщики подначивают — они и рады стараться, раскраснелись, трясутся, с кулаками уж готовые друг на дружку пойти! Зрителям потеха!

Больше всего народу возле старшего сержанта Шестопалова. Вот уж травило так травило! За ним с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и зрителей — есть не давай, только бы Шестопалова слушать! Он забрался с ногами на кожаный, единственный в коридоре, диван, и оттуда слышится:

— Купимо бугая?.. — Дальше уж ничего не слышно, народ просто валится друг на дружку со стоном и рыданиями.

Мимо пробегает, култыхая загипсованной рукой, паренек с подергивающимися шеей и глазом, умеющий шевелить ушами. Но сейчас ему не до фокуса с ушами: видать, разболелась рука или черви под гипсом завелись, а может, клопы залезли! Это уж беда, если клоп под гипс попадет, — ничем его, гада, оттуда не выгонишь! Попитается, попитается и тут же отдыхает, а потом опять жрет. Черви, те дурь выедают, и польза от них из-за этого, но когда их много разведется и рану они подчистят, тогда начинают мясо точить — тут уж скорее гипс надо снимать, иначе ревом реветь будешь! А реветь нельзя, кругом люди, и тоже больные.

Ах, сколько я уже видел всего и знаю! — мрачные мысли, проникшие было в мою голову, на которой заметно отрос чуб так, что я его начал уже на бок зачесывать, отвлекла и разбила одна занимательная пара: угрюмый человек в короткой пижаме, с бровями, из которых вполне рукавицы вышли бы, если бы с толком кроить, и узкозадый, суетливый человечек с козлиной неряшливой бородкой — один из них будто бы подполковник, а другой — артист. Наверное, так оно и есть: говорит всегда этот, с бородкой, а тот слушает, не выражая никаких чувств ни слухом, ни видом.

Я увязался за этой парой — интересно же послушать артиста!

— Н-да-с! — семенил старичок, заплетаясь в одеяльной юбке. — И не спорьте! И не возражайте! — Тот, с бровями, не только не спорил и не возражал, он даже бровью-то своей меховой не повел! — Богиня Коринфская была поднята со дна моря неподалеку от ...ского голубого грота!

Вот черт, не расслышал! Какого грота! А все из-за Ше-

стопалова: он опять чего-то траванул такое, что госпиталь закачался от гогота, и дежурная сестра выскочила из палаты со шприцем наизготовку и цыкнула:

— А ну, тихо! А то всех переколю!..

— И не спорьте, и не возражайте! — настаивал артист с бородкой. — Обычай целоваться не губами, а носами распространен не только среди африканских племен, но и на некоторых полинезийских островах, следовательно, миграции народов...

Нет, он, пожалуй, не артист, он ученый, пожалуй. А может, и артист, и ученый сразу! А может, просто хлопуша и болтун, как Рюрик! Целоваться носами? Это как же? Тут и губами-то не знаешь, как это делается. В кино только и видал, да в книжках читал. Но книжки и кино — что они? Искусство мертвое и только!

А вот если бы...

Я отправился в санпропускник, устроился возле ванной комнаты на колченогом диване и грянул во всю головушку:

Я — цыганский барон,
Я в цыганку влюблен!..

На мой голос явился «псих» из девятой палаты и закатил глаза:

— К-к-к-к...

— Пой, — сказал я мрачно. Я уже знал, что заики или те, кто перенес контузию и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят.

И «псих» запел:

— К-канчай му-му-узыку!

«Психами» мы звали контуженых. Их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженого, ни одной дырки, а он все равно что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную, — разве это человек? Все выбито, истреблено. Из него заново пытаются сделать человека. Но удивительное дело, почти все контуженые болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот: я еще только начал петь, а он уже явился.

Поскольку многие из контуженых были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там, на поле боя, все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, который уже заметно подлечился и верховодил в девятой палате:

— Уйди! Я еще немного попою и перестану!

Иван, как птичка, свернул голову на плечо, глуповато уставился на меня печальными глазами и открыл рот. Я отвернулся от него и грянул дальше:

Знает свод голубой,
Знает встречный любой,
Даже старый наш клен
Знает, как я влюблен...

Иван хихикнул и поддернул кальсоны.

Я замахнулся на него.

Лицо Ивана вытянулось и сделалось вовсе глупым. Я ушел в палату. Так и не дозвался я, кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось.

А в палате-то у нас перемена! Пока я шлялся да соло исполнял в санпропускнике, вместо Антипова Афони танкиста положили. С Сандомирского плацдарма партию раненых привезли. Танкист мечется, кричит: «Горим! Братцы, в нижний люк! Горим! Братцы, не бросайте!..» И бьется-бьется — того и гляди с койки свалится. Нянь в госпитале не хватает, поэтому без уговоров и приказов возле послеоперационных и «тяжелых» добровольно дежурят те, кто пошел на поправку.

Эту ночь мы поделили с Рюриком. Он тоже начинает потихоньку бродить по палате, правда еще за койки держится. Не спал также старшина Гусаков. В изолятор к Афоне его не допускают, самогонкой он не разжился — не на что самогонки купить: и часишки, и все, что было, уже позагонял.

Рюрик поздней ночью убрел в операционную, явился оттуда с Лидой — она что-то несла в мензурке. Я не видел Лиду с того самого раза, поспешно вскочил с кровати.

— Здрасте!

— Здравствуйте, здравствуйте! — мимоходом бросила она — и к Гусакову: — Ну что вы, ей-богу! У нас на операции нет спирту, иодом обходимся. Нате вот... — и сунула ему склянку.

Гусаков, не глядя, что в ней, выплеснул из мензурки в себя и скосоротился:

— Чё это? Тьфу!

Лида положила ладонь на лоб танкиста, и он сморился, обмяк под ее ладонью. Я-то знаю, помню прикосновение этой ладони! Лучше всякой процедуры. Может, даже лучше всякого лекарства эта маленькая прохладная ладонь.

— Ах, ребятишки, как я устала, если б вы знали! — пожаловалась Лида мне и Рюрику. — Такие дежурства иногда выпадают... такие!..

— К Афоне нельзя? — прохрипел Гусаков.

— Нельзя! Вам сказано!

— А он живой?

— Живой-живой! Господи! Что я вас, обманывать стану?!

Гусаков отвернул голову, скрипнул зубами, засыпая, — каким-то снотворным, видать, угомонила его Лида.

— Ну, я пойду, ребятишки! — вздохнула Лида и посидела еще маленько. — Не хулиганите тут без меня?

— Анделы! — просвистел шепот Рюрика.

— Вы у меня молодцы! — Лида поочередно потрепала меня и Рюрика по отросшему волосью. — Хуже будет, — кивнула она на танкиста, — зовите. Свет совсем не тушите: во тьме раненые хуже себя чувствуют. Хотя, что это я? Вы ведь все знаете, — и она еще раз дотронулась до меня и до Рюрика и пошла из палаты. И так пошла, что вот хоть верьте, хоть нет, я едва не разревелся: такая она была худенькая, усталая, такая жалостная — ну спасу нет никакого!

Вот так штука!

Оказывается, голос мой растревожил не одних контуженных! Он достиг ценителя и проповедника искусств — культурницы Ирочки, которая немедленно мобилизовала меня в самодеятельность. После недолгого сопротивления я согласился петь для народа, робко надеясь, что уж если не чубом, то песнями своими покорю кой-кого.

И вот стою я в палате выздоравливающих (здесь в прежние времена был школьный спортзал) и под баян пою грустную-грустную песню:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой.
Не надейся на тихую воду,
Острый камень лежит под водой...

Я и раньше участвовал в самодеятельности и даже приз однажды получил на районной олимпиаде — коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось. Тогда первоклассница Муська

Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот все помню. И как пельмени всей оравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом; и как задом наперед кино показывали; и как курили в уборной и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы всегда грозились отлупить вас и не лупили, потому что в нашем детдоме был закон — не бить девчонок и тех, кто еще мал. А мы ведь драчуны были, ой, драчуны! И учиться нам все некогда было, и прешили с нами взрослые люди. Я все помню, все!

На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щеку и попал в рот. И Рюрик говорит, что проглотил его впопыхах. Врет, пожалуй. А может, и не врет. Попробуй, узнай у саратовского, когда он врет и когда правду говорит?!

Рюрик лежит пробитой щекой на деке баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днем.

Злая буря шаланду качает.
Мать выходит и смотрит в окно
И любовь, и слезу посылает
На защиту сынка своего.

Слова песни мы с Рюриком восстанавливали по памяти и, по всей видимости, сильно изменили их в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос и чувствовал, что припев этот получается доверительней и что дурной совет давала мне Ирочка: петь громче, чем, мол, громче, тем шибчей проймет. И что она понимает в искусстве! Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурницы попала? Должность все-таки...

А баян ведет меня, требует не отставать.

Сразу солнце заплещется рыбкой,
И лучи серебром заблестят.
Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад...

Пока Рюрик пробегает проигрыш, я жду (надо повторить две последние строчки и закончить песню) и мысленно успеваю пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни, такой еще небольшой, такой нескладной, и все-таки моей, дорогой мне жизни.

Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один. И встречать никто не будет. Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни не приспособленным...

Умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожалели обо мне все, и Лида, может, пожалела бы. И сказала бы, может: «Эх, парень-то был — и пел славно, и чуб у него был ничего...»

Я окидываю взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежат и сидят раненые. Молодые и старые, русские и нерусские, беззаботные и грустные, с прическами и без причесок, с костылями и без костылей, с руками и без рук, с ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушает мою песню.

Среди раненых, рядом с офицером сидит Лида. Я уже давно перестал смотреть в ее сторону. И тушеваться перестал. Что мне до нее, когда вон сколько глаз смотрят на меня и чего-то ждут. Я сам раненый, я сам почти убитый, и потому я знаю, чего от меня ждут. И я обнадеживаю их, этих знакомых мне и незнакомых изувеченных людей:

Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад.

Я не пою, я почти говорю им это твердым голосом, из которого исчезла моя, такая еще жиденькая печаль, печаль хотя и много уже повидавшего, но все же девятнадцатилетнего человека. И вижу, что мне поверили. Однорукие стучат о колени, лежащие колотят костылями об пол: аплодисменты.

Рюрик встает и чопорно раскланивается, как перед чужими, направо и налево. А мой глаз упрямо косит туда, где сидит Лида. Она делает несколько вежливых хлопков и обращает свои глазищи к молоденькому офицерику, который отрастил усики, форсистые черные усики. «Кому что нравится, конечно. Кому — чуб, а кому — усики», — мысленно глумлюсь я над этой парочкой и слышу заполошный шепот Рюрика:

— Поклонись, поклонись, дуб! Полагается!

— Иди ты! — Я выскочил из палаты.

Мне теперь все нипочем.

Да, на этот раз Рюрик не соврал: Лиду и в самом деле перевели в операционную, правда, будто бы временно, да

мне-то не легче от этого. Я не мог видеть ее хотя бы издали. А если и видел, то проходил мимо нее с гордым видом и безразличным тоном бросал: «Здрасте».

Я пытался не замечать ее и, когда она появлялась поблизости, я отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. Заложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил: «Прут наши, прут! Скоро по домам!» Или: «Краснодар — препаршивый городишко, и люди здесь больно уж какие-то гордые», — и, как дурачок, хохотал.

А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное летчицкое пальто и пошел провожать Лиду, то с горя закрутил с Капой из электрокабинета.

Пальто это меня доконало!

Опытные солдаты заводили знакомства с поварихами, а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяния.

Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, и меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу.

— Как на русской печке! — шептал я истомно.

Капа, черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала, — Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской этаким властным колдуном, этакой владычицей нездешнего царства, делая непринужденные, размашистые росчерки в карточках больных.

А я травил:

— Вот знаешь, Капынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке, на русской, задницу печешь, пот по всем членам текет, в трубе ветер воет: у-у-у-у-у! у-уууу — ну чисто волк и волк! И такая жуть кругом, аж тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так ще-окотно!..

Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем:

— Будешь хулиганить — отключу!

Э-э, нет, мне не хочется, чтобы меня отключили, — самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне Капа «по блату», из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как провожу ее домой, на глазах у Лиды и офицерика

того, так будут знать! Вот только пальто летчицкого у меня нету, даже и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать...

— Хочешь, Капынь, стишок почитаю? — предлагаю я и удивляюсь самому себе: ну почему это вот с Капой могу трепаться как угодно, а как Лиду завижу — все заколодит: и ум, и язык, и все-все!

— Ну, где стишок-то? Давай! — Капа отложила ручку, кокетливо изогнула шейку, ждет.

— А-а, стишок-то? — Я шевелюсь в теплом кресле, устраиваюсь удобней и начинаю: «У лукоморья дуб срубили, златую цепь в торгсин снесли, кота на мясо истребили»...

Капа давно тут работает, всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный, про любовь, единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной, старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребро в драке с городской шпаной:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил...

Но к этой поре меня уж так размаривало, так во мне слабело и распускалось все, что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться, и я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится.

Так, кажется, ни разу и не дочитал я Капе стихотворение до конца. Да, по правде сказать, я до конца его и не помнил.

Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что, если врачи говорят «хорошо», — это значит плохо. Так оно и вышло.

Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:

— Больной, будем готовиться к операции.

— К какой опять?

— К обыкновенной.

— Так я готов. Режьте! Чего вам еще? Клизму мне не надо. Брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик...

Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза.

— Когда на операцию? — заторопился я.

— Завтра, в одиннадцать. — Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.

Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты.

А тут еще процедурная сестра Паня, лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток.

— Кто-то последние известия слушать будет! — возрадовался Рюрик. Ну что вот ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак: «Ну, погоди, гад, погоди!»

Лежу вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит и, как ни в чем не бывало, с ранеными болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных, окольных слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони Антипина в изоляторе неважные, и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, неразговорчив сделался.

Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с клизмой-то, но Рюрик — это ж человек какой? Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть.

— Ну, что слышно по радио, Михей?

— Наша берет! И рыло в крови!

— Вон ему маленько охладительного оставьте, — кивает головой Рюрик на койку моего соседа. — У него все пече.

Сосед починялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал, и взвыл горестно, бросив работу:

— И шо она, та кобылка усе грае? Шо вона така вэсела?!

В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.

К одиннадцати часам я крепко-накрепко (чтоб не развязали) закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять ру-

баху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.

Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал Лиде какую-то команду. Она наклонилась ко мне с просящей улыбкой:

— Будем ровно и глубоко дышать, да?

Я тряхнул головой, и тут же на мое лицо обрушилась маска. Послушно, как обреченный, я вздохнул и сказал: «Раз!» Потом: «Два!» Потом: «Три!» Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды:

— Родненький, спи! Родненький, спи...

Затем голос главного хирурга:

— Почему больной не снял белья?

И еще чей-то:

— Глядите, как он подштанники-то бинтом прикрутил — не развязать.

И снова издали, и все тише, тише:

— Родненький, спи... Родненький, спи...

Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя прикручена была к кровати.

Возле меня сидел Рюрик.

— Ну, здорово, Мишка-Михей! — ухмыльнулся до ушей Рюрик.

— Здравствуй, Урюк! — сказал я ему с детской радостью.

Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме.

— Отвяжи руку, — попросил я Рюрика. — Затекла. Бушевал я, что ли?

— Ой, бушевал! — откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. — В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора — одинаковы. Все кровососы!»

— Да ну?

— Пра! Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.

— Я что? Вот у меня дед был, тот колена загибал, так уж загибал!.. Вороны с неба валились, кверху лапами! Как даст, так и готово!.. — Мне так хотелось говорить, вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек мое опьянелое озорство:

— Колена! Загибал! — передразнил он. — Посмотрел бы ты, как девушку ту загибало!..

— Какую девушку? — похолодел я и цапнул под одеялом — бинт на месте. Кальсоны прикручены будь здоров,

— Ту самую! Она около тебя и так и этак, родненьким называла, а ты... Ребята в хохот. А она: «Человек, — говорит, — в невменяемом состоянии, и смеяться, — говорит, — над ним подло... Подло! Подло!..» — И еще ногой топнула, Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил. В дверь заглядывал... В общем — концерт!

Я не успел ничего сказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату ОНА. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.

— А ну, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.

Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим.

— Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, вы поглядите, поглядите на меня, — все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она.

И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:

— Лида!

— Что, родненький, что?

— Лида! — повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться: создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.

Лида послушала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. Если разговору нет, делом можно заняться.

— Та-ак, больше покоя, не курить, не дрыгаться лишка...

— Вы будете приходить теперь... ко мне?..

Она погладила меня ладошкой по лбу и тронула за чуб.

— А тебе хочется, чтоб я приходила?

— Ага.

— И ты не будешь больше ругаться?

— Нет.

Лида все еще перебирала пальцами мои волосы, и я боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни.

— Идти мне надо, Миша, — с озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть.

Я осторожно сжал ее пальцы:

— Посиди еще маленько, ну?

— Две минутки, ладно?

— Пять.

— Ну, хорошо, пять, — уступила она.

И мы просидели не пять, а, наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик и сообщил радостную весть: прибыл фотограф Изик Изикович Шумсмагер, и он, Рюрик, захватил на всю палату очередь.

На койках пошло шевеление. Рюрик в зеркальце глядеться взялся, прилизываться начал. Кавалер!

Меня он тоже тайком вывел во двор, и сначала я ничего не разобрал, а захлебнулся воздухом и голова моя кругом пошла. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы и снялись с Рюриком вроде бы как в обнимку а на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше.

Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а Изик Изикович, держась за черную круглую заслонку, из-под которой обычно птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия:

— Левее! Левее! Тэ-э-экс! Минуточку! Одну минуточку... Подбородок выше! И не так грозно, не так грозно! Ви же, надеюсь, не дорогому фюреру будете карточку высылать? Ви маме высылать ее будете! А маму пугать не нужно. Мамы и бэз этого напуганы. Вни-имание! Опля! Прошу следующего героя!

Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем ссуживал тот самый младший лейтенант, что провожал Лиду. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои перецеплялись,

а у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим — «Красная звезда», и с медалями своими, заявляя каждому ранбольному: «С тебя пол-литра!» А те его отшивали: «Шибко пьяный будешь!..»

В нижней рубахе, в палатном, заношенном халате, усиками только отличимый от солдатни, младший лейтенант слонялся по двору, травил чего-то и зароптал только тогда, когда его гимнастерку попытались надеть на старшину Гусакова, потому что она затрещала по швам, и младший лейтенант ужаснулся: в город не в чем спикировать будет!

Тут старшина Гусаков, которого вывезли на тележке, пытались поставить на ноги и подпереть плечом сзади, как шуганул услужливого подпорщика да как рявкнул на весь двор:

— Сымай так! Я со своей бабой пятерых ребят нажил! Я свою бабу обманывать не ж-желаю!.. Сымай, в три господа бога!..

Изик Изикович испугался, забегал, забормотал, дескать он тут ни при чем, он готов отражать любую действительность... но все желают быть красивыми, и он делает их по возможности красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский... Не знаете такого? О-о, это был плодотворный писатель! Он написал много толстых книг! Так вот, даже Достоевский говорил, шо красота спасет мир, и хотя предначертание это не сбылось, будем надеяться — все же сбудется, хоть в какой-нибудь степени... Такой человек не может напрасно бросать такие слова на ветер...

Вся эта сыпучая и ласковая болтовня Изика Изиковича не подействовала на Гусакова — вышел он на карточке огромной белой глыбой с твердо сжатыми челюстями, и только награды, много наград, прицепленных к нижней рубахе, оживляли карточку и лежащего на тележке старшину.

А почему он озверел и таким голосом рявкнул — объяснилось тут же. Когда старшину везли по коридору на тележке, встречь ему выкатилась белая тележка из изолятора. Старшина попросил остановиться, приподнял на встречной тележке простыню и долго, пристально глядел под нее. Потом, как из пустого дупла, раздался его отдаленный, чужой голос:

— Как все просто! Один перекресток и две дороги: в наркомзем и в наркомздрав... — Неловко и грузно извернулся так, что затрещали на нем гипсы и посыпались крошки, припал к соседней тележке лицом и просипел за-

давленно: — Прости, Афоня! Не уберег... — Откинулся на свою тележку, махнул рукой уже вяло: везите, мол, кого куда положено...

Дня через два Рюрика перевели в большую палату и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Прибыла большая партия раненых, в послеоперационной палате нужны были места.

Мы здорово устроились с Рюриком за печкой-голландкой, поставив две кровати вплотную. Это был чуть затаенный, дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, не терпящими постороннего глаза: играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина.

Вот старший сержант Шестопалов пыхтит, за печку протискивается. А здесь и так уже теснотища — Рюрик с Колей-азербайджанцем в подкидного играют и лупят друг дружку картами по носам, с оттяжкой лупят. У Коли и без того носище, как у парохода, а тут еще Рюрик уличил его — мухлует, азият лукавый! И ну ему нос на бок всей колодой карт сшибать. Коля шмыгает носищем после каждого удара и смиренно оправдывается:

— Ми, васточные люди, ни можим не мухлевать в любви и в азартных играх. Наша душа восточная фантастическая!.. Шехерезаду знаешь? Васточный народ придумал!..

— А вот игру в русского дурака худо знаешь.

— Асва-иваю!

Шестопалов отгреб карты с тумбочки, выудил стакашек из-под кровати, налил до краев мутной жидкости, выпил, в себя вслушивается:

— А-а, милая! — шепчет он, прикрывая глаза. — Идет! Идет! Воскресе душа и возрадухося!..

Было кольцо золотое на правой руке Шестопалова, с «брыльянтом», — как он называл белую бусинку, впаянную в кольцо, — охолостела рука Шестопалова. Плеснув по половинке стакана Рюрику и Коле-азербайджанцу, Шестопалов утырил грелку под пояс кальсон и стал закуривать. Рюрик выпил, задохнулся, головой очумело потряс. Коля выпил — скривился.

— Это вина?!. Приезжай на моюм родина, в Акстафа, я тебя такой вина налью! М-м-мых! — целует он щепоткой сложенные пальцы. — А этот вина клопов душить и штрафникам пить самий раз, чтобы умирать не боялись.

— Я и есть штрафник, может? — Мутнея взглядом, Шестопалов решает про себя: еще выпить или погодить? Внутренние его борения с самим собой можно угадать по лицу.

Рюрик последний раз врезал картами по носу Коли-азербайджанца, тот красно высморкался в плевательницу, пощупал осторожно нос и качнулся на Шестопалова, впавшего в угрюмость:

— Шту сыдыш? Шту ты сыдыш? Вина есть, он сыдыт! Сам ни хошь, гостю налывай, — тыкает он себя в грудь, — как пострадавшему!

Грелку они таки опорожнили. Шестопалов разохотился, вылез окном во двор и махнул на рынок задами госпиталя. А Рюрик с Колей-азербайджанцем продолжали сражение и изводили меня тем, что я вот пить бросил уже, скоро курить, поди-ко, брошу и вообще бог знает до чего могу докатиться по причине влюбленности.

В палату, как всегда, важно, как всегда, с улыбкой царицы вплыла сестра Паня. Я зашипел: «Полундра!» — ребята сразу карты спрятали, дым начали руками разгонять. Но Паня уж тут как тут, принюхивается, пошевеливая чистеньким носиком, и розовенькие ноздри ее вздрагивают, как у чуткой лесной зверюшки-соболюшки. Шестопалов от пышной, чистенькой Пани без ума. Не встречайся, говорит, в укромном месте! Не отвечаю, говорит, я за себя; могу еще раз, говорит, в штрафную угодить, а я уж, говорит, два раза в ней был...

— Пануша, сыграем бдурака! — предлагает Коля-азербайджанец сестре, переставшей улыбаться и подозрительно принюхивающейся.

— Я вот вам сыграю! Я вот вам сыграю!..

— Что такое? — Рюрик с Колей-азербайджанцем уставились друг на дружку с полным недоумением. «Ну, гады! Ну, артисты!» — Я не удержался, прыснул и отвернул лицо к стене.

— Сивухой от вас прет, вот что такое!

— Ка-аааакой нух! Ц-цы-цы! — поражается Коля-азербайджанец. — Пануля, тебе с таким нухом шпиенов нада лавить!

— Шпионов! Я вот вас поймаю и ко главному потащу! — И неожиданно мне: — А тебе как не стыдно, Миша?! Такой хороший мальчик и связался с такими разложившимися типами!..

Она повернулась и уже без улыбки, в полном расстрой-

стве покинула палату, а Рюрик упал на койку, задрал ноги так, что видно сделалось заплату на заду кальсон, и до слез, до рыданий хохотал, показывая на меня пальцем. И Коля-азербайджанец не отставал от него. Они даже пытались что-то сказать насчет меня и не могли сказать, умореннные смехом.

Я завез тому и другому затрещину и отправился к Капе в электрокабинет, затем к массажистке, затем...

Как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать ее. Мало того, что я донимал массажистку и заставлял ее выделывать с рукой разные штуковины, я и сам все время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда еще с трудом, держать цигарку. И еще, каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Я говорил себе: «вот осталось уже полсуток», «вот десять часов», «вот четыре часа», «вот час».

Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.

Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.

На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. И еще на ней был беретик, освеженный акрихином. Ей очень шло желтое.

Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лида шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком.

Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом необремененного никакими заботами парня шел насвистывая. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее:

— О-о Лида! Мое почтенье! Как ваше ничего поживает?

— Здравствуй, Миша! Ничего мое поживает ничего, — и улыбалась усталой и доброй улыбкой.

Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил:

— Заходи в гости, когда захочется.

— Хорошо, зайду, если будет время.

Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки.

Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.

Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но за то, что эти сказки имели в общем-то схожее содержание, можно ручаться.

Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться, от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад. Вместо душегуба-блатяги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купеческой дочери — фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как во всякой доброй сказке: женились, справляли свадьбу. Я там был, мед пил и так далее.

Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем.

В госпитале возбуждение, суета и сумятица — идет подготовка к Новому году. Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института — давать концерт. Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А швейников завербовал Шестопалов, давно про-

никший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и другим госпиталям.

Праздник разбит на два этапа: сперва студенты концерт дадут, а назавтра швейники прибудут и чего-то принесут — намекал Шестопалов.

В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду:

— Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я н-не выдержу, н-не выдержу! Я сама попаду в палату контуженых!..

Рояль в коридор выкатили. Все кому не лень бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ранбольных и раскудлаченная, потная летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, всюду и везде дает указания и уверяет руководство и себя, что она-таки не выдержит, таки угодит к психам.

Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Коринфскую и про то, как целуются носами (умора, ей-богу!), смущенно, дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженых: вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет.

— Знаю, знаю! — оборвала его Ирочка. — Сейчас, между прочим, у всех нервы! И у меня нервы! Распустились, понимаешь!..

Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился в девятую палату.

И вот наступил долгожданный день! Лежачих вынесли на носилках, повыкатывали на тележках, и пошла музыка.

Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой дул в трубу, третий — в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну.

Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. Из санпропускника явился на костылях одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент в латаной на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конфэрансьэ», глянув на «фрица», пожал плечами и спросил у всех нас:

— А это, простите, что за фигура? — И повернулся к «фрицу»: — Мы, любезный, кажется, вас сюда не звали?

Хохот прокатился по коридору и разом замер — все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно.

— С под Сталинграда пробираюсь! — жалостно заныл «фриц». — Щоб об любимого фюрера эти костыли обломать!..

Ну, тут уж все грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул, и заговорили:

— Во дает!

— А нога-то, нога-то?! Крива!

— Дойдешь ли до Берлина-то?

— Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда! — усмехнулся конферансье.

— Умнель! Умнель! — согласился «фриц» и чего-то еще хотел сказать, но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время возжается с Шестопаловым, и вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и оттого перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке:

— Поумнел?! Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу!..

— Говори, стерьва, не то мы тебе!.. — поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились.

Едва угомонили публику. «Фрицу» даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с «фрицем» дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сатирические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком «фрицу» под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел, здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло.

И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом!

В коридоре был полумрак, потому что горело возле артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампешек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешанная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла жизнь, а какая — никто пока не знал.

Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время

«Огонек», а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» — расстроенно думал я.

Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нет-нет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.

— Сидите, сидите, — тихо сказала Лида офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: — Чего же вам стоять, когда есть свободное место.

Она, очевидно, по моему взгляду или еще по чему догадалась, что, если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.

Я тоже напряженно слушал оркестр и, не отрываясь, смотрел на него.

Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате, а теперь вот и по скамейке соседа. Везет мне!

— Шо я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га? — не выдержал он.

— Оловянный! — рыкнул я.

«Дэрэвьяный» удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой и не стал больше ничего говорить.

В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:

— Л-любимая песня фронтовиков — «Дочурка»!

К роялю подошла улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:

Злится вьюга всю ночь, не смолкая,
Замело все дороги-пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Нежно Мишку прижавши к груди...

Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца-фронтовика

пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.

Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку». Иван прислонился спиной у дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась оцепенело Лида.

Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, как постепенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.

Это же заметили и санитарки, которым велено было бдить и, в случае чего, принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженого и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку — на свечу, рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку.

И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:

— Н-не ца-ца-пай-те! — И тут же высоко, как резинового, подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги.

Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженого о деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженых, и началось...

Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крик, стон, вой...

— А-а-а-а-а!

— Бомбят, что ли?!

— Уби-и-или-и-и-и! Ой, убили-и-и-и!

— Товарищи, товарищи!

— Больные, спокойно! Голубчики, спокойно! — взывала во тьме Агния Васильевна. Но ее никто не слышал и не слушал.

Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки.

— Кончай панику, в господа бога! — перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол, хрустнули на нем гипсы, голос оборвался.

Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей:

— Стой! Изувечат! Стой, говорю!

Она порывалась бежать.

— Да стой же ты!..

Кто-то ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах закружился огонь. Я охнул. Оседать начал.

— Миша, что с тобой?! — подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула: — Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?

Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Контуженый все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по мосластым спинам и по стриженым головам других контуженых, наговаривая им что-то умиротворяющее, байкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды. Двоих солдат и старшину Гусакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами.

А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:

— Кровь?!

— Какая кровь? — изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. — Это твоя! Это твоя... Я слышала, как потекло по щеке. — И сильно потащила меня: — Скорей на перевязку, скорей...

Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь, некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Гусакова оживили нашатырным спиртом.

— Все это сикуха-культурница! Предупреждали же ее контуженные об музыке, предупреждали! — ругался старшина и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности.

Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сестрам. Помогали и студенты-медики, Коля-азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось: «Миша-а! Мишка! Вы не видели Мишу?» — Я еще и поду-

мать не успел, что это обо мне, — мало ли Мишек на свете, как налетела на меня петухом Лида:

— Герой какой нашелся! Без перевязки ушел...

— Не шуми ты, Лидка, ничего мне не сделается.

— Да, не сделается, — сказала она, и губа у нее запрыгала. — Вон кровь-то лье-от! Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!

И я пошел на перевязку.

Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали — остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка — жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.

Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера с усиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Ну, это уж придумали, пожалуй. У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.

Конечно, если бы услышал какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале.

Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа — «дэрэвьяного», Колю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт.

Рюрика тоже комиссовали домой — у него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и

ждал какую-то окончательную бумагу. Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил:

— Ты хоть знаешь, где живет Лидка-то?

— На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.

— Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, — заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием.

Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные Рюриком дырки, надел тесные сапоги и предстал перед народом весь скованный, стесненный новым обмундированием.

— Ну как, ничего, братцы?

— Какой там ничего?! Гвардеец! Чистых кровей гвардеец!

— Нет, правда, братцы?

— Не верит! Да сегодня девки по Краснодару снопами валиться будут!

— Слухай, тэбе до артыстки трэба!

— На хрена сдалась ему артистка! Какой прок от нее! Он любую буфетчицу в таком параде зафалует!..

— Да ну вас! — совсем уж обалдевший от конфуза и счастья, махнул я рукой и подался из палаты. А вслед неслось:

— Ты там про природу долго не разговаривай! Небо, мол, видишь? Землю, мол, видишь? Ну и все...

— Выпей для храбрости!..

Эти научат! Опытный сплошь народ, особенно на языке. А все же кой-чему и обучили. Пользуясь советами «опытных» бойцов, я благополучно миновал все госпитальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, которой вскорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером — и тут чего куда девалось: оробел, топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.

Я долго сидел на крыльце, слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.

— Вы чего-то потеряли молодой человек?

— Червонец!

— Где потеряли-то?

— Там, — кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов; мне все как-то сделалось нипочем.

— А ищете червонец здесь оттого, что светлее? Я этот анекдот знаю.

Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить «домой» в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой.

— И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?

— Не знаю, — ответил я, впадая в уныние. — Еще посижу маленько, и тогда ясно станет.

— Что ясно-то?

— Все станет ясно.

— Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел! — нахмурилась женщина. — А ну марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина. — И она ушла.

Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точеными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши — скудновато для такой рамы.

Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать и во время оккупации проели с матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома — это уже после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то со страха, не то еще от чего щелкала семечки, и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Словом, понесла урон от войны.

Ох, и дуреха же! Право, дуреха! Спит и не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает небось.

Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы

чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, куда я пришел после ванны на перевязку, Агния Васильевна, эта до жуткости строгая Огния, сняв пенсне и близоруко щурясь, будто на бог весть какого «прынца» поглядела на меня и закудахтала так, будто золотое яичко снесла:

— Лидочка! Лидочка! Ты посмотри, какой у нас Миша-то стал!

Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я все-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.

Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду.

Она спала.

Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка.

— Ой, Миша! — Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями, икнула и засмеялась: — Ой, и правда Миша!

Лида схватила меня за чуб и принялась теребить его так, будто это не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче:

— Мишка! Пришел! Сам! Один! Нашел!.. — И все икала и смеялась. Вот уж воистину, как у ребенка: то икота, то хохота! — Ой, Мишка, и ты сидел возле меня? Я никогда-никогда этого не забуду, Миша! — Она укусила губу, отвернулась и опять икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая, и беспомощная-беспомощная такая Лида была.

— Ты что? Ты что это?

— Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом: раны, кровь, смерти — и вот такое... Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю, и просыпаться не хочется. — Икота, слава богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб поломанный во рту ее мелькал веселой дыркой.

— Ты какая-то сегодня...

— Какая? — спросила она и по-ребячьи, локтем утерла лицо.

— Нервная, что ли?

— Ну уж и сказанул, — улыбнулась она сквозь слезы, которые дрожали на ресницах. — Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.

Оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны. Но глаза наши сами собой встретились.

В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:

— Отвернись, Миша.

Я стиснул ее руку до хруста.

— Отвернись, родненький, — еще тише повторила она, — отвернись, лапушка... — Голос ее слабел, угасал. — Мама!.. — пропищала она.

Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать.

— Господи, да что же это за напасть?! Ты, Миша, удрал без разрешения? — голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула.

— Да! — сердито отозвался я.

— Молодчик! — совсем уже виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате.

А я как подскочил сзади, как цапнул ее под мышки да как зарычал лютым зверем — она аж шарахнулась, таз опрокинула:

— Ты чего? Ты чего? Рехнулся?!

— Ничего. Умывайся знай.

Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок.

Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый.

— Надо же! Икота-то кончилась! — удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем.

— Хэ! — сказал я. — Икота! Я и похлеще чего изгнать могу! Наваждение! Беса! Родимец! Даже наговоры... приворотные средства. Это неуж ты? — ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка.

Лида выхватила у меня альбом, треснула им меня по лбу.

— У-у, бессовестный какой! На вот! — Сунула мне подшивку журналов «Всемирный следопыт», а сама ускользнула под занавеску.

Я листал подшивку, стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами:

— А где ты амуницию взял? Так она тебе идет!

— Рюрик дал. Его комиссовали.

— Молодчик.

— Кто молодчик-то?

— Ты, конечно! Вон от икоты меня излечил. А нашел-то как?

— Нюхом!

— Ну и нюх у тебя! Звериный прямо!

— Говорю тебе, таежный человек я.

— С тобой опасно!

— Еще как!

Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в навощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, не кудлаты.

— Вот и я нарядилась! — перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. — Не одному тебе форсить! — И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. — Малое все сделалось...

Я листал журнальчики и помалкивал да поглядывал на нее украдкой.

— Что-то мама задержалась, — сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем, и, не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила: — В очереди застряла. Стареет. Любит поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.

Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку.

— Ну, что будем делать, Миша-Михей?

— Почем я знаю?

— Почем-почем! Бука! — ткнула она меня в бок пальцем.

Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь.

— Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.

— Не забуду!

— Как знать?

— Не забуду! — упрямился я.

— И до чего же ты сердитый, Мишка-Михей!

— У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

— Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?

— Ага. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся: придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький! Пойдем в полицию!» И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.

Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.

— Ну и балда же ты, Лидка! А еще в институте учишься!

— Сам ты балда!

Лида хлопнула меня по руке. Я ее. И пошла игра: кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка! Однако же и я не в назьме найден — в тайге вырос, с девяти лет ружьем владею, потом детдомовскую школу прошел — может, самую высшую по психологии и ловкости школу.

Лида лупит меня по руке, а я ее заманиваю, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо всей силушки!

Лида завопила — и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же, нежное существо, а я... Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть. А пальчишки, господи твоя воля, аж светятся насквозь и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то.

Однако же и оттого уж только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалось Лиде, и она принялась колотить меня кулачишком:

— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

— Карау-у-у-ул! Наших бьют! — заорал я и подвернул Лидку, придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись — неизвестно, да в сенках послышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.

— Мама, а Мишка обманывает меня и балуется, — капризно пожаловалась Лида и надула губы.

— Это ж основная обязанность мужчин, доченька, — обманывать и баловаться, — ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много пережила и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом.

— Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо?..

Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее — выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил вешалку, водворил на место шубу.

— Вот что значит мужчина в доме! — сказала мать не то в шутку, не то всерьез и чуть заметно усмехнулась, глядя на меня, и я стушевался. А Лида уже наливала в рукомойник воды и совала мне плоский обмылок, будто я невесть какую работу выполнил.

Руки я все же помыл.

— Чем же мы будем потчевать гостя? — не то спросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаенной надеждой на нее:

— Придумаем что-нибудь.

— Да вы не хлопочите. Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят — на убой. Вот Лида знает.

— Мало ли как вас там кормят и мало ли чего Лида знает, — заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. — Мигом слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? — обратилась она ко мне.

— А что это такое?

— Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга, — усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за

дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила: — Мамалыга — это почти каша, только из кукурузы. Понятно?

— Понятно.

Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал — она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила:

— Вам сколько лет, Миша?

— Девятнадцать.

— Хороший возраст, — вздохнула мать и принялась растапливать печку тремя дощечками от тарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным тряпьем. — Хороший возраст, — повторила она. — Вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать...

— У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, — мрачно прервал я ее и отстранил от печки, потому что не растапливалась она, а только дымила.

Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров!

— Студено у вас, — сказал я.

— Студено, — эхом откликнулась мать. — Слово-то какое точное. Везде сейчас студено: в домах, на улицах, в душах... — Она хрустнула пальцами и наконец тихо спросила:

— Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?

— Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю.

— Вы не сердитесь. Я — мать. И дочь — это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее — распашонка. Она уж если... все отдаст. А девушке и отдавать-то — всего ничего.

— Зачем вы так?

— Ах, Михаил, Михаил... — сжала ладонями седые виски Лидина мать. — Не так бы надо сказать. Но раз уж сказалось, так слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. До-

пустим, вас изувечат еще раз, и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что?.. Какое у вас образование?

— Семь.

— А специальность?

— Была специальность... да сплыла.

— Вот видите, вот видите, — подхватила она. — Лидка тоже еще на перепутье. Институт даже не кончила. В общем, Михаил, будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи... Ну вы меня понимаете...

— Да. Почти что. — Я резко поднялся и стал надевать бушлат. А он, гад, как нарочно, не надевается, раненая рука мешает. Пришлось зубами помогать натягивать.

Диван затенькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат. В уголках ее глаз, у самых морщинок блеснуло.

— Не уходите. Вы сделаете ей больно. А боли и горя — добра этого и так хватает.

Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.

— Дети вы мои, дети! — Она уронила руки. — Разговор наш вы можете забыть... Это ведь только слова, слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права? Может, устала от нужды? Оскудоумела от горя? Все может быть. Простите меня, бога ради...

— Что вы? За что?.. — У меня повело губы. — Я ведь и в самом деле отучился думать о других... За меня начальство думает, старшина харч выдает — и вся недолга. — Я помолчал и добавил: — Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме! Так в детдоме у нас говорили, — вымучил я улыбку.

— А у вас?

— У меня? Обо мне не стоит. Я — солдат, а загадывать солдату нельзя, по суеверным соображениям, — пояснил я.

В это время в комнату ворвалась Лида, поставила бидончик на стол, разделась и... Ох, и глазастая девка все-таки!

— Вы что? Что у вас произошло? Мама!

— Да ничего особенного. Печку растопляли, о жизни говорили. Студено, — говорит твой солдат. Сейчас мы его согреем, мамалыгой угостим! Представляешь, он, оказывается, никогда не ел мамалыги.

— Ага! Он медвежатиной всю жизнь питался! — поджала губы Лида.

Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то. У меня не шел из головы разговор с Лидиной матерью. Мне его никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то повернулось во мне, непонятное содеялось. До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там и не требовало вроде бы никаких раздумий. Было и все. А что, зачем, почему — это как будто и не касалось нас.

Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилось и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук. И еще мне страшно жало ноги, до того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел, и даже шутил, и смеялся, но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся, говорил невпопад, и Лида удивленно спрашивала:

— Ты чего?

Я отделывался шуткой.

Ночь была ясная и звездная. В городе лишь кое-где тускло светились окна, но и они гасли одно за другим. Город, разрушенный в центре, с кое-как прибранными и подметенными улицами, утомленно затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. Ямки возле тротуаров и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной.

Я держал Лиду под руку и говорил:

— Осторожно, воронка!

— Осторожно, воронка! — предупреждала она.

Забивая душевную смуту, эту, насквозь меня пронзившую после разговора с Лидиной матерью, горесть, даже не горесть, а недомогание какое-то, боль, еще неизведанную мной, точнее, не похожую на те боли, которые я изведал от ран, ушибов и тому подобных пустяков. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил — страдание! Такое старомодное, так часто встречающееся в книжках и в кино слово, а я его забыл, вернее сказать, и не знал вовсе.

А тут еще сапоги эти проклятые! Хоть ложись на землю или разувайся и шествуй босиком по Краснодару. Но я ж героический воин, я ж гвардеец, я ж медвежатник, и что

мне все эти самые страдания? Я весело и беспечно травил про войну:

— И вот кричат фрицы нам: «Еван! А Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают!» — «А пошел ты!» — отвечают ему наши. Ну, ты знаешь, куда пошел?..

— Смутно догадываюсь, — роняет Лида. — Я все-таки с военным народом на работе дело имею.

— Кхы! — поперхнулся я и продолжал: — «А пошел ты, фриц, туда-то и туда-то! У нас кило хлеба дают и то не хватает!» — Тут я как захохотал и вдруг обнаружил, что Лида-то не смеется. Она остановилась против меня, смотрит и ждет, когда кончится мое веселье.

— Миша, вы о чем с мамой говорили?

М-да, эта девица-сестрица не такая уж простофиля, не такая уж девчушечка с поломатым зубом! Надо ухо востро держать!

— Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. Выяснилось, между прочим, что она все равно как наша сибирская драчона, только та из картошек, а эта из кукурузы.

— Объяснил вполне популярно. Дуй дальше. Только не про войну. Войной я сыта вот так! — чиркнула Лида себя ребром ладони по горлу.

— Так ведь кто про чё. — Я вовремя застопорил, чуть не брякнув: «А вшивый про баню».

— Тогда стихи читай, как положено на свидании! — потребовала Лида.

— Стихи? Да я их не помню. Вот разве что: «У лукоморья дуб срубили...»

— Не трудись. Весь госпитальный фольклор тоже изучила!

— Ну «Однажды, в студеную зимнюю пору»?

— Вот за этим углом груда кирпичей лежит — разбитая школа. В четвертом классе оной школы я, как сейчас помню, отхватила «отлично» за декламацию этого популярного стишка.

— Н-ну, дорогая сестрица, я уж и не знаю, чем вас развлекать?

— Расскажи, о чем вы говорили с мамой?

— А-а! — хлопнул я себя по лбу: — Помню! Один стих помню! И какой стих! В нашем взводе стишок этот очкарик один читал. Его баба, извиняюсь, жена спокинула, вот он, по причине разбитого сердца...

— Валяй по причине разбитого сердца.

Я остановился, задрал морду в небо и с завыванием начал:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил.
Я пламенно любил, глубоко и несчастно.
Безумно я любил...

Гляди-ка ты: стишок, вычитанный мной в старой, растрепанной книге, звучит сегодня как-то совсем по-иному, смешным вовсе не кажется — от него незащищенность какая-то происходит! От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце давит. Ну, это, может, и по причине тесных сапог? От тесной обуви, говорят, даже порок сердца случается.

— Ну, чего же ты? — Лида упрятала лицо по самый нос в рыженький мех — и не понять: смеется она или на полном серьезе меня слушает.

— Да я дальше не помню. Конец только.

— Р-руби конец.

Я звал забвение. Покорный воле рока,
Бродил с поверженной, мятущейся душой,
Но, всюду и везде преследуя жестоко,
Она была со мной...

Тут я опять сбился, запамятовал стих дальше, начал терзать свою хилую память, натужно шевелить мозгами:

— Та-та-та-та... та-та-та... Есть! — обрадовался я.

И вот я слабый раб порока...

— Та-та-та... та-та... Ага, поймал!

Искал всесильного забвения в вине,
Но и в винных парах являлся образ милой
И улыбался мне...

— Дальше опять не помню, делаю перескок.

И в редкие часы, когда, людей прощая,
Я снова их люблю, им отдаю себя,
Она является и шепчет, повторяя:
«Я не люблю тебя...»

Мы оба долго не шевелились и молчали. Какое-то жалостное чувство подтачивало меня. Тянул самолет вверху. Над нами пощелкивали обмерзлые ветки. В темных улицах верещали свистки патрулей и подозрительно разбегались по подворотням подозрительные людишки, а мы стояли и молчали.

— Ну, как? — прокашлялся я. — Так себе стишок, правда? Но солдаты переписывали...

Лида ничего не ответила. Зябко ежась, она глухо, в мех лисы выдохнула:

— И в редкие часы, когда людей прощая, я снова их люблю... — Голосишко ее задрожал. Она вдруг прижалась ухом к моей молодецкой груди и чуть слышно прошептала: — Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник!..

Я как будто того только и ждал. С торопливым отчаянием обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал лису.

— Ах, медвежатник ты, медвежатник, — прошептала Лида, — тебе бы только со зверями якшаться.

Я обиделся и пытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал, не дыша, до тех пор, пока без дыхания уж стало невозможно.

Я отнял губы, сделал громкий выдох.

Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.

— Гляди, Миша, сколько звезд сегодня! — наконец заговорила Лида, и я поглядел на небо.

Звезд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звезды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звезды, звездочки, звездушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть — эти бессонные, добрые звезды.

— Может, и наша звездочка там есть, Миша?

— Может, и есть, да не про нашу честь!

— У-у, какой ты грубый! — опечалилась Лида. — Я знаю, почему ты так...

Я насторожился и сказал, что ничего она не знает, что это детдомовщина да солдатчина во мне грубая сидит, и нечего тут мудрить!

— Миша, ты так и не скажешь, о чем вы говорили с мамой?

— Так и не скажу!

— Ну что ж! Ты настоящий мужчина и воин! — тряхнула она меня за отворот бушлата. — Характер твой железный, и тайны ты умеешь хранить. А я слабое созданье женского пола. И прошу тебя все-таки загадать со мной вместе звездочку. Во-он ту, рядом с ковшиком которая...

Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и

слышать, как греет мою грудь ее дыханием, и так хотелось ее стиснуть, да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка, и прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла! А я бы не знаю что сделал для нее и для всего советского народа!..

— Миша, ты когда-нибудь целовался... ну... с девушкой?

— Нет, не целовался. Некогда было.

— И я тоже не целовалась.

Я отстранил ее, в лицо всмотрелся с недоверием. Она тряхнула головой.

— Правда-правда. Тот младший лейтенант Макурин провожал меня два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему...

— Ты, может, думаешь — ревную? — фукнул я носом и даже хохотнул. Но смех получился такой, будто у меня подшипники в горле расплавились. И тогда я рассердился: — Была нужда!

— Не смей так говорить со мной. — От обиды голос Лиды дрогнул: — Грубиян несчастный!

— Ладно уж, не буду, — подразнил я ее и боднул лбом. Она схватила меня за чуб, и все дело кончилось тем, что мы еще раз поцеловались.

Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина, возле дома с флюгером. Флюгера за тополем не было видно. Он только время от времени напоминал о себе железным, ленивым скрипом. И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощелкивать друг о дружку, и сверху к ногам падали звонкие ледышки. Снега на улицах нет. Лишь кое-где в заулках притаился он линялым зайцем. И холода настоящего нет, но и мокрети, этой вечной кубанской малярийной мокрети, нет сегодня. Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, ну просто невмоготу.

Я перекатывал сапогом эти, то вспыхивающие, то гаснущие звездочки-ледышки, помалкивал, понимая, что надо уходить, пора уходить, а ноги ровно бы приросли к земле.

7

*

По пустынным, гулким улицам города возвращался я в госпиталь и не замечал воронок, малой обуви, а рубил строевым, и, забыв, что говорила мне Лидина мать, отрывал любимую песню нашего полка:

С нашим знаменем,
С нашим знаменем
До конца мы врага разобьем!
За родимые края, края советские
Мы в поход, друзья-товарищи, пойдем!..

И плевать мне было на все на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать его. Но первыми встречными оказались не те, которых надо целовать.

В одном из особенно темных переулков меня перехватили налетчики — добра этого тогда в Краснодаре водилось, хоть пруд пруди. Они весело приказали:

— Гоп — стоп! Не вертухайся, соловей!

— Вам чего?

— Лопотинку, всего лишь лопотинку, соловей! Кальсоны оставляем, уважая застенчивость.

— Рылы! — с облегчением произнес я, понимая, что имею дело с веселыми мазуриками, каких в детдоме перевидал видимо-невидимо, и сам «на дело» хаживал во младенчестве. — Госпитальник я! — Самоволочников из госпиталей никакие мазурики не трогали тогда. Ну уж самые распаскудные если, для которых ничего святого на свете не существовало.

Меня осветили из-под полы фонариком, погасили его, сказав: «Любезно звиняемся!», и попросили закурить. Я отвалил мазурикам всю оставшуюся у меня махру, и они растворились во тьме развалин и густых дерев, а я потопал дальше и снова грянул:

С нашим знаменем!
С нашим знаменем!..

Налетчики подсвистнули в лад моей песне и захохотали:

— Во хватанул вояка микстурки!

Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук, курил без перерыва и почему-то сердито говорил, что все равно будет тренироваться и еще станет играть в футбол, и успевал стрелять глазами в мимо проходивших девок. Бравый народ эти саратовские, послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты. И частушки у них одна чище другой.

— Зачем кочегаришь, когда дырка? — сказал я. А он вместо ответа пробубнил мне:

— Комиссуют если по чистой, приезжай без никаких. Все-таки халупа, отец, мать живые. И город у нас знаешь какой, Саратов-то, о-о-о-о!

— Знаю: «Ты — Саратов, город славный», и так далее...

— Я те дело говорю!

— Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли.

— Давай, — говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подергиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник. А я держу за удавку вещмешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга.

В одном поезде с Рюриком уезжал тот младший лейтенант Макурин. Он в серой, ладно сидящей на нем шинели. Значит, кожан брал напрокат у кого-то, и я зря переживал. И усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если есть одна или две девки в части, так они уже давно и не по разу завлеченные.

Мы и с лейтенантом обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит, весело сверкая серебряным зубом:

— Ну ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе.

Я знаю, кто такой мавр, и мне это не очень-то нравится, но младший на войну едет, не надо нам цапаться напоследок, и я отвечаю дружески:

— Можешь быть уверен — порядок в этом городе обеспечу, а ты там бродягу-фюрера скорее дожимай...

Наши шефы со швейной фабрики, не побывавшие у нас по причине новогоднего разгрома, затребовали энное количество кавалеров к себе на фабрику, чтобы веселей было праздновать Международный женский день восьмое марта.

В число «кавалеров», набираемых из команды выздоравливающих, угодил и я. Скучно мне сделалось после отъезда́ Рюрика и отбытия всех близких мне корешков, с которыми сдружила нас госпитальная длинная жизнь.

Смятение охватывало, и места я найти себе не мог еще и оттого, что приближалась и моя выписка из госпиталя, а значит, и...

Одним словом, решил я тоже малость поразвлечься, тем более что Лидино дежурство в следующие сутки, а они,

эти сутки, как вечность сделались, и надо было их как-то скоротать незаметней.

Швейная фабрика размещалась в подвалах, где был когда-то склад этой же фабрики. Сами же швеи восстанавливали свою фабрику и уже слепили целый этаж из собранных по городу кирпичей, но рам достать нигде не могли, и оттого пустоглазо чернел надстроенный этаж и дожидался лучших времен.

В подвале станки с машинами, раскройные столы и прочие швейные премудрости и весь инвентарь были сдвинуты в одну сторону, растолканы по углам, а на освободившемся месте сомкнутым строем стояли конторские столы, соединенные досками, на столбиками сложенные кирпичи были положены плахи.

На столах снедь в основном огородная, девушки, видать, тут работали все больше станичные и понавезли из дому кто чего смог: огурцы соленые, капусту, помидоры, яблоки моченые, — и вина много на столах и под столами. Точнее, самогонки много, а вино «бабье» — красненькое лишь для разгона праздника и разживления веселья.

К моей радости в гостях у швей оказались Шестопалов. Коля-азербайджанец и еще кое-кто из наших. Были и незнакомые ребята, как попало и во что попало одетые. Все они держались стесненно, жались по углам, не зная, что делать, понимая фальшь и неестественность той роли, какую они призваны были выполнять, — роль мужчин на женском празднике! По принуждению!

Один Шестопалов чувствовал себя тут как рыба в воде, бодрил мужской род, прибывший на «прорыв», сообщил между прочим, что через два дня отправляется с маршевой ротой на фронт и Колю-азербайджанца берет в свою команду, сделает из него совсем отчаянного солдата и вернет в Акстафу усыпанного орденами, а может, и сам туда рванет, потому что вина и девок там много — Коля говорит.

— Как же это вас Огния-то отпустила? — неожиданно перескочил он на другую тему.

— Скрепя сердце. Они, — кивнул я на девушек, суетящихся возле столов, — сулятся нового белья нашему госпиталю отвалить...

— А-а, бельишко и в самом деле заплата на заплате. А как же? — Шестопалов хотел, видно, спросить, как же это отпустила меня Лида, но парень он хоть и шалопут-

ный, да многое понимать умеет. Тут же захохотал, тут же сообщил весело, что они с Колей-азербайджанцем воспользовались «заборной книжкой» — ушли через забор пересылки.

Речь говорил директор швейной фабрики, мужик на костыле и с завязанным белой тряпкой глазом. Точнее, он не говорил речь, а только открыл торжество, понимая, что для парадных выступлений вид его не очень-то подходящ, и скорее передал слово секретарю профкома, крепкой, подвижной женщине — лучшей стахановке цеха массового пошива, как представил ее директор, чем страшно смутил ее и взволновал.

Говорила она без бумаги и начала довольно бойко: «Мы, советские женщины, тут, на трудовом фронте, не жалея сил...» А как дошла до тех, кто «проливает кровь там», «а мы собрались тут», — брызнули у нее слезы, и речь продолжать она больше не могла. Девки многие тоже заплакали, и, горестно покачав головой, директор фабрики поглядел на нас скорбным глазом и жестом пригласил всех за стол.

Само собой, распорядителем праздника оказался Шестопалов и, будучи великим знатоком душ человеческих, наклонностей их и запросов, довольно точно угадал, кого с кем рядом посадить.

Для меня, как для «своего парня», он постарался особо. Рядом со мной оказалась девушка в черном платье с глубоким вырезом, красиво открывавшим ее длинную шею, напоминающую рюмку, на которой висела цепь с золотисто сверкающей штуковиной, блямбой — назвали бы в детдоме, — и в блямбе этой зеленым кошачьим глазом светилось какое-то ювелирное изделие. Длинные, орехового цвета волосы девушки, закругленные на концах, волнами спадали на нее, эту замечательную шею, и приоткрывали плечи. Глаза у девушки были того же цвета, что и волосы, с коричневым отливом. Держалась она свободно, чуть свысока, умела, однако, не выделяться и на шуточку Шестопалова такой спокойный и складный ответ дала, что он сразу укатился на дальний конец стола, заграбастал там пышную сероглазку, и та, бедная, не только пить или говорить не могла, у нее уж по всем видам и дыханье-то занялось.

А я держался скованно. Таких девушек, как моя соседка Женя (имя ее мне мимоходом Шестопалов сообщил), я боялся, считал недоступными нашему простому сословию

и вообще мечтал о том, чтобы поскорее «отбыть положенное» и смыться отсюда на улицу Пушкина. Зайти в Лидин дом я, конечно уж, больше не решусь, но хоть возле него пошляюсь. А может, она по молоко пойдет, по воду, да мало ли зачем?..

— Вы что-то совсем за мной не ухаживаете? — оборвала мои раздумья Женя.

— Да вот... не умею... не приходилось, — смутился я и торопливо налил ей и себе из пузатой банки красного вина. — С праздником вас, с Женским днем!

— Вас также! — стукнула рюмкой об мою рюмку Женя и, улыбаясь мне игриво, медленно тянула вино из граненой рюмки. А я выпил разом и вдруг сообразил: она же подъелдыкнула меня, она же вроде бы как и меня в женщины зачислила! Я покрутил головой и хотел придумать что-нибудь тоже ехидное, но в это время зазвучал баян, и все, сначала недружно, невпопад, но, постепенно собирая силы в кучу, уже в лад пели на мотив танго «Брызги шампанского» знаменитую тогда песню: «Когда мы покидали свой любимый край и молча уходили на восток, над Тихим Доном, над веткой клена, моя чалдонка, твой платок...»

Когда песня подошла к концу и накатили слова: «Я не расслышав слов твоих, любовь моя, но знаю—будешь ждать меня в тоске; не лист багряный, а наши раны горели на речном песке», — то все уж бабенки и девчата заливались слезами, иные из-за стола повыскакивали и бросились куда попало, в голос рыдая.

Ну, тут все понятно — у них мужиков и сыновей поубивало. С ними отваживались, отпаивали их водой и водворяли обратно за стол зареванных, погасших, с распухшими глазами.

Моя соседка Женя сидела бледная, прямая, с плотно сжатыми губами и, не моргая, глядела куда-то остановившимися глазами. Я оробел еще больше и не шевелился, даже и коснуться ее боялся. Но сидеть все время так вот тоже было невежливо. Я положил на тарелку винегрета, сверху плюхнул яблоко моченое, поставил тарелку перед Женей и тронул ее за плечо:

— Женя, покушайте, пожалуйста!

— А? Что? — вздрогнула Женя и возвратилась откуда-то, из далекого далека, слабо и признательно улыбнулась мне:

— Спасибо, Миша! Я и в самом деле есть хочу...

«Вот это девка! — восхитился я. — Вот что значит культурное воспитание! Хочет есть и ест, а коснись деревенщины — изжеманится вся: «Да что вы! Да я не хочу! Да я вообще винегрет не употребляю...»

— Если бы вы налили еще и вина, вам бы цены не было, Миша!

— Вина? — Я сгреб пузатую банку: — С полным моим удовольствием!.. — Я начинал чувствовать себя свободней и пытался изображать развязность.

— Если можно, покрепче, Миша.

Мы выпили по рюмке такого самогона, что у меня сперло дыхание в груди, и если бы Женя не дала закусить от своего яблока, может, дыхание так бы и не началось больше.

— Вот, Миша, мы, как Адам и Ева, — вкусили одного плода, — показала Женя на отхваченный мною бок яблока. И я еще раз налил, и еще раз куснул, а потом ударился в умилительные мысли: «Миша! Почему меня все зовут Мишей? Я здоровый, крепкого сложения человек, а Миша. Это, наверно, потому, что я слабохарактерный? А может?..» Но дальше думать о себе я запретил, понявши, что захмелел крепко, потому что дальше уж бог знает чего в голову полезло: «Может, я человек хороший, не злой», — ну и всякие такие пьяные глупости.

— Вы бы хоть развлекали как-то меня, Миша! — пьяненько жеманилась Женя, близко придвинувшись ко мне и опаляя меня оголенным жарким плечом.

Многие солдатики уже сидели за столом свободно, гомонили, рассказывали что-то — и все в обнимку, все вплотную, а Шестопалов исчез куда-то со своей сомлевшей сероглазкой.

— Да я, — горло у меня ссохлось, — не умею я.

— Ну, про войну, про героические подвиги что-нибудь соврите.

Ну, это она зря! Войны она касается зря. Фронтовые окопные дела мало подходящи для пьяной застольной брехни. Из меня даже хмель начал выходить, и я сказал Жене строго:

— Война страшная, Женя. Не надо об ней шутить.

Она смешалась, нервно затеребила красивыми, но сплошь исколотыми иглой руками цепочку на шее и тут же, преодолев себя, с вызовом бросила:

— Тогда танцевать приглашай!

— А я и танцевать не умею. — И развел руками покаянно: — Видишь вот, какой тебе нескладный кавалер попался.

— Обманули нас! Сказали: самых боеспособных, самых героических выдадут, а налицо оказалось что? Мякина! Ну мы им за это кальсоны назад ширинкой понашьем!..

— Ох, Женька, Женька! — расхохотался я и подумал: — «Вот была бы у меня сестра такая!..»

Но Женя опять не дала мне углубиться в мысли, вытащила из-за стола, заявила, что мужику в танцах главное — ногами переступать и стараться не уронить под себя на глазах у публики партнершу!

«Шпана! Детдомовщина! Наш брат — кондрат! И никакая она не интеллигенция!», — порешил я и закружился вместе с нею. Мы кого-то толкали, и нас кто-то толкал, было шумно и весело.

Тетка, что говорила речь, обхватив Шестопалова за шею, громко кричала:

— Дай я хоть от имени профсоюзу швейников тебя поцелую!

Тут я вдруг вспомнил про Лиду, как целовались, вспомнил, и потихоньку-полегоньку в кладовую умотал, где кучей были сложены шинеленки и шапки «кавалеров», и долго не мог найти я незнакомую, напрокат выданную мне шинель и шапку из бывших в употреблении, решил уж надеть какую попало, лишь бы налезла на меня, как услышал:

— А чтой-то ты, брат Елдырин, бросил меня? — Пойманный и уличенный, я только плечами пожал. — А помогика, брат Елдырин, и мне одеться — чтой-то скучно мне на эфтом празднике изделалось!

Ох, земля ты кубанская, пространственная, плоская, нашему брату-сибиряку непонятная да и неподходящая.

Зимой моросило либо хлопьями снег валил, грязища по колено, да вязкая такая грязища-то! А вот в марте подморозило и даже снежок выпал, пока мы на швейной фабрике отплясывали. Да и сейчас рябит снежок, тихий такой, мирный, душу чем-то детским и далеким радующий.

Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку, и мне лизнуть дала. Сладко! Право слово, сладко!

Потом она этим снежком в меня запустила, но я не ввязался в игру. Мне почему-то не хотелось ни дуреть, ни играть после того, что поведала о себе Женя: она здешняя,

краснодарская, из семьи художника, и сама в изостудии занималась. Но потом война, эвакуация, и вся семья погибла под бомбежкой, осталась Женя и два чемодана: один — с мамиными платьями и украшениями, другой — с папиными этюдами и рисунками. Теперь Женя белье в массовке шьет и лучших времен ждет...

Хмель из моей головы весь почти испарился. Я шел по тихому городу и курил толсто скрученную цигарку. А Женя прыгала впереди меня на одной ножке, палочкой трещала по штакетнику палисадников и что-то напевала. Длинный белый шарф (тоже, видать, от мамы оставшийся) крыльями подпрыгивал и мотался над ее плечами, и мне было так жалко эту девушку, так жалко!..

— Дай и мне покурить, сибирячок-снеговичок! — остановилась и протянула руку Женя, вынув ее из тоже белой вязаной рукавички.

— Не дам! Не балуйся!.. И вообще не выкаблучивайся! — вздыбился я на нее и вправду что как старший брат.

Женя изумленно уставилась на меня:

— Да ты что?!

— А ничего! Вон какая девка! Красавица! Умница! На художника, может, выучишься!.. Я и сидеть-то сначала рядом боялся с тобой! А ты?..

— Ми-и-ишка, ты напился! В дребадан! Красавица! Умница! Художница-безбожница! Дай докурить! — Она вырвала у меня недокурок и несколько раз жадно и умело затянулась. — Ишь какой! — усмиренней буркнула она, — в богиню почти произвел!

— Чихал я на богиню! Девка ты мировая и не дешевись!..

— Ты чего орешь-то? Чего разоряешься?

— А ничего!

— Ну и все!

— Нет, не все!

— Нет, все!

Она опять опередила меня, опять попробовала прыгать на одной ноге и, рассыпая искры от цигарки, напевала: «Слабый, слабый, слабый табачок, вредный, вредный, вредный сибирячок-снеговичок...»

Но уже не могла она попасть в прежнюю струю беспечного, праздничного настроения и, остановившись возле ворот общежития, церемонно подала мне руку ребрышком и оттопырила палец каким-то фокусным фертом:

— До свиданья, милое созданье! Спасибо за кумпанью и приятственную беседу. В общагу не зову, поскольку приставать будете, а у нас этого девицы не любят и даже не переносят, поскольку обрюхатеть можно! А абортик, он — э-ге-ге-ге! Копеечку стоит!..

— Я чем-то обидел тебя, Женя?

— Да! — сверкнула она глазами: — Гадость сказал!

— Га-аааадость!?

— Твои благородные, красивые слова больнее гадости! Ты ими брезгливость прикрываешь! Прикрываешь ведь? Даже поцеловать не попытался! Брезгуешь, да?! Брезгуешь!?

— Женька ты, Женька! Цены ты себе не знаешь...

— Цена мне четыре сотни и пятисотграммовая карточка! Ну, если не такой ископаемый, как ты, встретится — глядишь, покормит, попоит, четвертак отвалит.

— Будь здорова, Женя! Прости, коль неладное брякнул.

— Бог простит! — Женя вознесла руку к небу, принимая позу богини, но внезапно сникла вся, прикрылась концом шарфа и слепо бросилась в ворота.

Я свернул цигарку толще прежней, высек огня из трофейной зажигалки, прикурил, потоптался, удрученный, возле ворот общежития фабрики и подался «домой», в госпиталь.

Что я тут мог сделать? Чем помочь?

Час от часу не легче! Не успел я повесить на гвоздь в раздевалке шинель и шапку, как услышал за своей спиной свистящий, клокочущий, пронзающий, разящий — словом, самый грозный, самый потрясающий со дня сотворения рода человеческого, шепот:

— Ты где шлялся, медвежатник несчастный?!

Обернулся: за барьером раздевалки она — Лидка! Кулаки сжаты, лицо серое, глаза молнии бросают, и только деревянный барьер, разделяющий нас, мешает ей броситься и растерзать меня на куски.

— О-о! Мамзель! Мое вам почтенье! — отвесил я земной поклон. — Не ожидал, не ожидал, понимаете ли, вас сегодня здесь повстречать! Такой приятный сюрприз!

— Я тебе покажу мамзель! Я тебе покажу сюрприз! Признавайся, где ты был?!

— На празднике. На Международном женском дне.

— И ты... и ты пил там?

— А как же?! — подныривая под барьер, развязно воскликнул я. — На то и праздник, чтобы петь и смеяться, как дети.

Лида была сражена. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, глаза угасали. Я уж хотел пожалеть ее и перестать придуриваться, но в это время очень кстати появился «громоотвод» — приволокся тот артист с бородкой чего-то просить, и я догадался, что Лида на ночь подменила дежурную сестру.

— Отбой был?! — налетела Лида на «артиста». — Шагом марш в палату! Шля-а-ются всякие — развсякие! — И тут же набросилась на меня, принялась тыкать рукой в грудь: — Сейчас же! Сейчас же! — Она задыхалась от негодования, она обезумела, можно сказать: — Весь парад! Весь! И в палату! Я приказываю! Я вам всем тут покажу! — Она даже ногой топнула.

— Ты чего пылишь-то?

Лида сгребла меня за грудки и стала трясти так, что все мои медали заподпрыгивали и забрякали.

— Ты провожал модистку, признавайся!

Я покорно склонил голову. Лида втянула воздух дрожащими ноздрями:

— Да от тебя духами пахнет! Дешевыми! Пошлыми!

— Самогонкой от меня пахнет, не выдумывай!

— Нет, духами! Ты меня не проведешь!

— Ну, может, и духами. Танцевал я там с одной...

— Ага! Ага-а-а! — с еще большим негодованием восторжествовала Лида: — Танцева-ал! А танцевать-то ты не умеешь, несчастный! Я все! Я все-о-о про тебя знаю! — Она притиснула меня к стене, да так сильно притиснула, что ни дыхнуть, ни охнуть. — Ты целовался с ней, целовался?!

И я тоже гусь хороший, нет, чтоб честно все рассказать и покаяться, давай ее дальше дразнить да разыгрывать — опять удалую голову на грудь опустил.

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько ты с нею лизался?

— Ну, сколько? — начал припоминать я, — может, полчаса, может, больше. Часов-то у меня нету...

Я уж надеялся, что после таких моих шуточек она придет в себя и расхохочется вместе со мною, да не тут-то было. Она и в самом деле обезумела.

— А потом?

— Чего потом?

— Что было потом? Не скрывайся лучше! Признавайся, несчастный! Не то я тебе не знаю что сделаю!..

— Потом? Что же было потом? А-а, потом я вспомнил, что ужин пропадает, и скорее рванул домой.

Лида выпустила меня, уронила руки:

— Дядя шутит! Я тебя зарежу!

— Чем? Скальпелем или ножом? Лучше ножом. Скальпели уж больно тупые.

— Дурак! Медвежатник! Грубиян! Сибирская деревянная колода! Чурбан! И... и... Я плакала! Вот... Тут... Тут... — показывала она на кожаный диван, единственный в коридоре диван, истерзанный, мятый, дыроватый. И как я представил, что она на этом диване, вжавшись в уголочек, на пружинах этих жестких, маленькая такая, в халатике... — так сгреб ее и прижал к себе:

— Балда ты, ей-богу!

— Конечно, балда, да еще какая! — всхлипывая, прерывисто выговаривала она: — Разве умная стала бы из-за такого...

Я утер ей нос концом ее же косынки, глаза утер и дунул в ухо.

— Ты правда не целовался? — жалко пролепетала она, глядя на меня глазами, все еще полными слез.

— Ну ей-богу!

— Я ведь чуть не умерла. Правда-правда! Все меня обманывают. Все заодно. Я, как дура, по палатам шастаю, а мне говорят: к психам ушел; в физкабинет подался; в шашки сражается... Потом эта ваша любимица-царица, процедурная сестрица: «Лидочка, ты кого ищешь? Мишу? А его сегодня не будет. Он к женщинам на праздник ушел!» — Представляешь?! Ы-ы-ых, я бы ее так и разорвала! — И Лида в самом деле разорвала какую-то бумажку, попавшую в руки, изображая, как она управилась бы с Паней.

Я утянул Лиду под барьер, в раздевалку, и там, закрытый одеждой и халатами, крепко-крепко ее поцеловал. После чего она брякнула меня кулаком по голове:

— Вот тебе, враг такой! — И, совсем успокоившись, сказала: — Сколько ты моей крови выпил, кто бы знал!

О том, что днями будет комиссия и меня выпишут из госпиталя и потому она выпрашивалась подменять сестер

и дежурила за них, забыв про сон и покой, чтобы только побыть со мною, — она мне не сказала. Об этом я уже узнаю позднее.

Многого я тогда еще не знал и не понимал.

Вот подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе. Предстояло еще раз мотаться по пересылкам и резервным полкам. Мотаться, как всегда, бестолково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту.

Лида осунулась, мало разговаривала со мной. Завтра с утра я уже буду собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли и потому выключали на ночь все, что можно выключить.

Я пытался и раньше представить нашу разлуку, знал, что будет и тяжело, и печально, готовился к этому. На самом деле все оказалось куда тяжелей. Думал: мы будем говорить, говорить, говорить, чтобы успеть высказать друг другу все, что накопилось в душе, все, что не могли высказать. Но никакого разговора не получилось. Я курил. Лида гладила мою руку. А она, эта рука, уже чувствовала боль.

— Выходила тебя. Ровно бы родила, — наконец тихо, словно бы самой себе, вымолвила Лида.

Откуда ей знать, как рожают? Хотя, это всем женщинам, поди-ка, от сотворения мира известно. А Лида же еще и медик!

— Береги руку. — Лида остановила ладошку на моей перебитой кисти. — Чудом спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много.

— Не в том дело. Просто мне без руки нельзя, кормить меня — детдомовщину — некому.

Опять замолчали мы. Я подшевелил в печке огонь, стоя на колене, обернулся, встретился со взглядом Лиды.

— Ну что ты на меня так смотришь? Не надо так!

— А как надо?

— Не знаю. Бодрее, что ли?

— Стараюсь...

С кровати поднялся пожилой боец, сходил куда надо и подошел к печке, прикуривать. Один ус у него книзу, другой кверху. Смешно.

— Сидим? — хриплым со сна голосом полюбопытствовал он.

— Сидим, — буркнул я.

— Ну и правильно делаете, — добродушно зевнул он и пошарил под мышкой. — Мешаю?

— Чего нам мешать-то?

— Тогда посижу и я маленько с вами. Погреюсь.

— Грейся, — разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папироску, сплющил ее о печку, огряхнулся, постоял и ушел на свою кровать со словами: — Эх, молодежь, молодежь! У меня вот тоже скоро дочка заневестится... — Койка под ним крякнула, потенькала пружинами, и все унялось.

Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, белеющими подушками. Было тихо-тихо.

— Миша!

— А?

— Ты чего замолчал?

— Да так что-то. О чем же говорить?

— Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?

Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал, но как решиться, как произнести это? Нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазня я, слабак.

— Ну, хорошо, — вздохнула Лида. — Раз говорить не о чем, займусь историями болезни, а то я запустила свои дела и здесь, и в институте.

— Займись, коли так.

Я злюсь на себя, а Лида, видать, подумала — на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер!

Я притянул ее к себе, взял да и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Она стукнула меня кулаком в грудь.

— У-у, вредный!

В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула:

— Их либе дих!

Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либе», все-таки знал, — и растерялся.

И тогда Лида встала передо мной и отчеканила:

— Их либе дих! Балбес ты этакий!

Она повернулась и убежала из палаты. Я долго разыскивал Лиду в сонном госпитале, наконец догадался загля-

нуть все в ту же раздевалку, все в тот же таинственный с нашей точки зрения уголок и нашел ее там. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил ее с подоконника и с запоздалой покаянностью твердил:

— Я тоже либе. Я тоже их либе... еще тогда... когда ты у лампы...

Она зарылась мокрым носом в мою рубашку:

— Так что же ты молчал столько месяцев?

Я утер ей ладонью щеки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, такой слабенькой-слабенькой, мне захотелось взять ее на руки, но я не взял ее на руки — не решился.

— Страшно было. Слово-то какое! Его небось и назначено человеку только раз в жизни произносить.

— У-у, вредный! — снова ткнула она меня кулачишком в грудь. — И откуда ты взялся на мою голову? — Она потерлась щекой о мою щеку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по лицу и с удивлением засмеялась: — Ми-и-ишка, у тебя борода начинает расти!

— Брось ты! — не поверил я и пощупал сам себя за подбородок: — И правда что-то пробивается.

— Мишка-Михей — бородатый дед! — как считалку, затвердила Лида и спохватилась: — Ой, спят ведь все! Иди сюда!.

Теперь мы уже оба уселись на подоконник и так, за несколькими халатами, пальто и телогрейками, прижались друг к дружке и смирно сидели, как нам казалось, совсем маленько, минутки какие-нибудь. Но вот хлопнула дверь, одна, другая, прошаркали шлепанцы в сторону туалета, кто-то закашлял, потянуло по коридору табаком.

Госпиталь начинал просыпаться, оживать. Уже кличут из палат няню лежачие, и она с беременем посудин, зевая, пробежала по коридору, издали давая знать, что на посту была, ни капельки не спала, а только то и делала, что больным прислуживала да ублажала их.

Скоро и сестру покличут.

Окно за нашими спинами помутнело, сыростью тянуло от него. Лида все плотнее прижималась ко мне, начала дрожать мелко-мелко и вдруг, словно бы проснувшись, начала озираться, увидела совсем уже посветлевшее окно, куривших в отдалении и на крыльце госпиталя ранбольных.

— Неужели и все? Неужели сегодня ты уйдешь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже все! Миша, что же ты молчишь? Что ты все молчишь!

— Не надо плакать, сестренка моя.

Лида встрепенулась и поглядела на меня потрясенными глазами. Дрожь все колотила ее, а слезы остановились и лицо сделалось решительное:

— Миша, не откажи мне! Дай слово, что не откажешь!

— Я все готов... для... тебя...

— Я поставлю тебе температуру... ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает...

Я так и брякнулся с подоконника, встряхнул ее за плечи:

— Ты с ума сошла?!

— Я знаю, я знаю: это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонят. Из института прогонят. Ну и пусть прогоняют! Хочу с тобой побыть еще день, хоть один день! Пусть же эта проклятая война остановится на день! Пусть остановится! Пусть...

— Лидка, опомнись! Что ты несешь? Лида! Лида! — тряс я ее, успокаивал. Мне было страшно. Мне жутко было. Меня озноб колотил. Я не знал, что она меня так любит. И за что только! За что? Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат! Боже ж ты мой, Мишка, держись! Раз любишь — держись! Не соглашайся! Ты сильный, ты мужик! Не соглашайся! Нельзя такую девушку позорить. Держись!

И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды.

Я в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

Пересыльный пункт размещался в бывших складах «Заготзерно». Там уцелели полати для просушки зерна и не надо было делать нар, вот и приспособили «Заготзерно» под временное жилье, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали присмиревшие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зерна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку-другую уделяли воробьям. Птички быстро и без драки склевывали зерна и ждали еще, томительно следя за унылыми, медлительными людьми.

Эта пересылка была не хуже и не лучше других, по которым мне приходилось кочевать. Казарма не казарма,

тюрьма не тюрьма. От того и другого помаленьку. Я думаю, что о таких вот запасных военных полках и о таких пересылках напишут еще люди. Иначе наши дети не будут знать о том, сколько мы перенесли, сколько могли перенести и при этом победить. Дети наши приучены думать так, будто война — это только фронт, где мы лишь тем и занимались, что без конца совершали героические подвиги.

У меня же в этом рассказе совсем другая задача. Он же о любви. Только о любви. Могу лишь добавить, что за все время воинских и госпитальных скитаний я побывал все же на одной пересылке, где более или менее сносно кормили.

Там был хромой и очень строгий комендант, и он так следил за порядком, что поварам, пекарям, охранникам, интендантам не удавалось обворовывать постоянно меняющийся состав пересылки.

Но у этого коменданта была слабость — он любил марши. Жил он на территории пересылки в домике с балконом. И вот каждый вечер комендант выходил на балкон и наяривал на гармошке «Легко на сердце» и заставлял нестроевых солдат маршировать под свою музыку.

Что сделаешь, обожал, видно, человек парады, под музыку ходить обожал, а фашисты изувечили его на фронте.

На краснодарской пересылке никто маршировать нас не заставлял и делать ничего не заставляли. Нас просто никуда не выпускали с территории пересылки, и мы были круглые сутки предоставлены самим себе и ждали «покупателя». «Покупатели» — это представители нестроевых частей. Они выстраивали нас во дворе, устланном растрескавшимися булыжинами, и выбирали тех, кто годился еще в охранники, в строители, и уводили с собой.

Здесь происходили частые встречи однополчан, знакомых по госпитальным палатам и так же часто повторялись неизбежные разлуки.

Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, обняв колени. На меня напало какое-то оцепенение и тупое ко всему безразличие. На смотр «покупателей» я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил. Да и бесполезно было ее просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона.

И продавать мне было нечего.

Времени у меня было теперь дополна, все я мог вспомнить и обдумать, в том числе и подробности разговора с Лидиной матерью. Ничего не скажешь, битая женщина! Все знает, все сумела угадать, что и как будет со мною, что с нами будет даже!

Вот он я, весь нестроевой, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость, большая, оглушительная радость. Не хотелось ни о чем думать, и война вроде бы забылась, все-все забылось. И вот на тебе! Смотри, думай, оглядывайся, раз выбрел из тумана, который отгородил тебя от всего мира. В пересылке тумана не бывает. Здесь пыль, запах мышей и робкие, полуоблезлые воробьи. Солдаты в «очко» дуются; пользуясь «заборной книжкой», к бабам каким-то пикируют, и чего там сделают — не сделают, а уж наврут с три короба...

Однажды я вылез из своего угла, сходил в медпропускник, попросил, чтобы остригли волосы, — чего доброго еще и вшей разведешь. Они особенно на тех, кто с тоски и горя доходит, насыпаются — это я по окопам знаю. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, быстро содрал тупой машинкой мой чуб, и голове сделалось легче. Я посмотрел на свои темные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми.

И ушел. На что они мне теперь, волосы? Чуб мой знатный?! Зачем попу гармонь, когда у него есть кадило!

Угол мой тем временем заняли. Я попросил вежливо освободить его. Белобрысый солдат было заартачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещичками. Если бы он еще немного поогрызался, я бы избил его.

Неподалеку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант, не только званием, но характером и повадками вылитый бродяга Шестопалов, и так же, как тот, травил анекдоты. Знал он их чертову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду умудряются жить с прибаутками. Солдатня с любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слезы руками. Я тоже стал слушать:

— Н-да, и вот приходит, стало быть, старик Еремей с собранья, а старуха уж тут как тут: «Об чем собранье было? Чё постановили?» Ну, старик Еремей поначалу кураж напустил, потылицу чешет: «Да разве, говорит, скажут нашему брату, об чем оно, собранье-то, было!..» — «О-ой, старик, не лукавь! Все ты понял, да мне сказывать не хотишь! Пому-

чить меня жалаешь...» — «Ну уж, ладно уж, — вздохнул старик, — об мансипации собранье было, об равноправьи, значит. И вырешили: к кажной бабе прикрепить по два мужика». — «Ну-к чё жа—собранье уж зря не постановит! Вот и будете оба-два как сродные братья жить...»

Пересылка содрогнулась так, что воробьи по ней заметались и в окна ударились, пыль взрывами из-под нар и углов заклубилась, солдатня повалилась кто куда.

— О-о-о-ой! — стонал и захлебывался кто-то подо мной. — Как сродные братья, значит?! О-о-ой, не могу! О-о-оой!..

«Как бы мы жили? Как бы мы одолели врага, горести, беды и утраты, если бы не было у нас таких вот парней, как этот старшой!» — ударился я в длинные размышления, которые неожиданно прервал окрик моего бывшего соседа по послеоперационной палате, пристроившегося вахтером на проходной пересылки.

— Рохвеев е?

— Кто? Кто?

— Рохвеев, е? — пытаю.

— Кто, кто? — еще раз переспросили его сразу несколько солдат.

— Да, Рохвеев, говорю! Там к нему прийшлы.

Я почувствовал, как похолодело темя на стриженой голове, рванулся к краю нар.

— Может, Ерофеев?

— Осе, осе! — подтвердил солдат. — То ж ты, Мыха! — захлопал он глазами. — А я ж хвамиль твою забув! — И пошел со склада величественный, неприступно важный и оттого совсем уж глуповатый, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не выказывала никакого рвения к службе. А так вот валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего «покупателя».

Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ежистым страхом все внутри и как сразу замерзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, застегнул и одернул гимнастерку.

Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу, на чахлой травке, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была все в том же желтеньком беретике, все с той же желтенькой лисой, все такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел

себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, в огромных, расшлепанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастерке, безволосого, худого.

Я остановился и, когда Лида подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил, стиснув зубы:

— Зачем ты пришла?

Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грязцой. Я поймал ее за локоть.

— Зачем ты сюда пришла?

Она не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в ее глазах, даже там, в послеоперационной палате, окончательно взбесило меня, и не знаю, что я сделал бы еще, но Лида вдруг выхватила из-за рукава конверт.

— Я... Вот... письмо тебе принесла.

— Какое письмо?

— От Рюрика. Я думала... оно три дня назад пришло... Я думала, зачем его обратно отсылать...

Она еще лепетала что-то, и я видел, как наполнялись слезами ее глаза.

— Ничего девочка! — послышался сиплый голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели на нас два расхлябанных солдата. Бывшие лагерники, видать, — то в карты играют, то дерутся и все химичат чего-то, продают, покупают, меняют и с пересылки не уходят, прижились тут, на фронт не торопятся — там и убить могут.

Я придвинулся к Лиде, попытался загородить ее грудью.

— Да, фигурешник! Конфета!

— И везет же человеку! Доходяга доходягой, а такую девку урвал.

— По нонешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло.

Я затравленно озирался по сторонам, а Лида презрительно сощурилась, как тогда, в госпитале, когда я ей сказал про лейтенанта. Да ведь тут презрительностью и всякими другими интеллигентскими штучками никого не прошибешь! Тут потяжельше чего-нибудь требуется.

Солдат во дворе появлялось все больше и больше. Иные из них выламывались, форсили, чтобы обратить на себя внимание. Были тут и из нашего госпиталя ребята. Они здоровались и быстро уходили, оставляя нас в покое, пробовали и тех двоих урезонить, да куда там! Они от уговоров

только распалялись в поганстве своем, куражились и наглели все больше.

Я знал, чем все это может кончиться. Я уже целился глазами на железную ось от телеги, стоящую в углу возле ворот. Лида обернулась, тоже увидела ось, бледнеть начала и шевелить губами беззвучно: «Не надо, Миша! Не надо!..»

Слава богу постовой вмешался:

— Шо вы к человеку привязались, га? — заорал постовой на двух блатяг. — Ну, шо? Мабуть, у людей горе? Гэть до помещенья!

Солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли вразвалку, цыркая слюной, почесываясь и вихляясь.

— И шо тильки безделье з чоловиком не зробыть? — как бы оправдываясь за всех, говорил охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго-официально: — Дозволяю выйти за ворота на скамейку.

Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, уставившись себе под ноги.

По улице густо валил народ, все больше военный. Но уже и легко одетые девушки ходили. Какие красивые здесь на Кубани девушки, только полнеть начинают рано. Это от хорошей еды, наверное, от фруктов. Я когда-то успел сломить ветку с клена, что рос над скамейкой. Почки уже клеились к пальцам, и радио где-то, с какой-то крыши играло про весну.

— Миша! — позвала меня Лида, но я не сразу услышал ее, я где-то далеко от нее и от себя был, и она потрясла меня легонько за плечо: — Миша!

— А!

— Миша, что с тобой? Ми-иша! — Лида поднесла руку ко рту, закусила палец, а потом опять принялась трясти меня: — Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!

Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку, скажу, что мне плохо без нее, без Лиды, и что рана у меня открывается, и что не таким бы мне хотелось быть перед нею, какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, удалым молодцем, о котором я все время рассказывал ей в своих сказках. И если бы я в самом деле был им, этим сказочным повелителем, я бы велел всем, всем людям в моем царстве выдавать красивую одежду, особенно молодым, особенно

тем, кто ее никогда не носил и впервые любит... и если не навсегда, то хоть на день остановил бы войну.

Но я солдат, нестроевой солдат, остриженный, как и все солдаты, наголо, и сказки нет больше, сказка кончилась. Не время сейчас для сказок.

— Лида, тебе лучше уйти, — сказал я и поднялся со скамьи. — Привет матери передавай! Умная она у тебя женщина. И очень тебя любит. Береги ее.

— Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо...

— Уходи, Лида!

Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила, или губы у нее дрожали: невозможно было понять. Я наклонился к ней, и до меня донеслось:

— Миша, я боюсь за тебя! Миша, я боюсь тебя тут одного оставить. У тебя в глазах что-то...

— Прошу тебя, Лида, иди! — Я отбросил завязанную узлом кленовую ветку, закусил губу и поднял глаза к небу. — Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, — попытался пошутить я. Но шутки не получилось, голос у меня осекся, и я легонько повернул ее от себя. — Прошу тебя...

Она послушно пошла от меня, по-старушечьи ссутулившись. Я почувствовал — Лида вот-вот обернется.

— Пожалуйста, не оглядывайся.

Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась... и все-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня.

— Да уходи же ты! — заорал я, оттолкнул постового и вбежал во двор.

Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слезы. Потом я лежал просто так, обессиленный слезами, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель. Я подумал, что ее намереваются спереть два тех блатняка — они могут и последнюю шинель солдата на пропой пустить, — и резко поднялся.

— Курни, солдат. — Из темноты ко мне протянули светящийся окурок.

Я залпом выхлебал дым из бычка — ожгло даже губы.

— Убили кого-нибудь? — спросил меня из темноты тот, что давал докурить.

— Убили...

— Когда только и конец этому будет? — Вздох, молчание, а спустя время — тихий, добрый совет: — Спи давай, парень, если можешь...

Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то под утро заснул. Днем я вышел в строй и с первым попавшимся «покупателем» уехал на Украину. Оттуда было ближе добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, не помышлял оставаться — еще могу пока бегать, стрелять, работать, а кирпичи таскать да рельсы либо мыло варить и без меня кому найдется.

Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было.

Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, рассеялось и чувство задавленности, одиночества, все входило в свои берега. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом, показалось, и вовсе истлела, навсегда, насовсем.

Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка, а я все думаю: «А может, встречу? Случается же, случается!» И знаю ведь — ничего уже не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь...

Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша — российская. Утеряешь человека и не вдруг найдешь.

Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже об тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной и ему становится легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою — ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал «горьким». Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье.

Вот обо всем этом я часто думаю, когда остаюсь один, остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный наш поэт, лучше, глубже и пронзительней всех нас

умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя светла...»

В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам.

1960—1972 гг.

Рассказы



На далекой северной вершине

ОН ЧАСАМИ НЕПОДВИЖНО СТОЯЛ НА КАменном останце, окутанном сонной дымкой. Останец был огромен, гол, черен и напоминал развалины древнего замка. Вокруг останца раскатились на версту, а где и на две, каменья величиной с двухэтажные дома. От этих каменьев откололись и рассыпались булыжины поменьше, и осыпи были похожи на серые стада, пасущиеся вплоть до зимних снегопадов у подножия скал на густотравных, заболоченных полянах.

Останцев, гольцов, осыпей, срезанных ветрами скал много на Великом хребте, и почти все они называются соответственно той форме, какую дала им природа: Медведь, Чум, Трезубец, Патрон и даже Бронепоезд.

Он почему-то выбрал Патрон. И на его тупом срезе, нацеленном в небо, стоял, глядя вниз.

Если бы у него не было рогов, раскидистых и ветвистых, его можно было бы принять за причудливо источенную дождями и ветрами вершину — так он сливался со всем этим, убаюканным тысячеверстной тишиною, суровым миром.

На останец он выходил перед закатом солнца, когда спадала с вершин синяя паутина и было далеко и отчетливо все видно. Солнце, перед тем как закатиться, уютно западало в рога и какое-то время покоилось там, будто в раскинутых добрых руках. Затем оно скатывалось за спину оленя, и от каждого отростка его рогов улетали ввысь лучи, весь он вспыхивал голубоватым, загадочно-манящим светом и на миг словно бы превращался в яркую планету, взошедшую над Великим хребтом. Все звери и птицы замирали вокруг, в пугливой настороженности поворачивали головы туда, где вот уже несколько вечеров без дыма сгорал дикий олень и не мог сгореть.

Вожак двухтысячного оленьего стада, которое кочевало к родному колхозу с запада на восток по Великому хребту, выедая по пути пастбищные мхи, чуть приотставал и, по-мужицки крепко расставив узловатые ноги, тревожно глядел на останец, где стоял и светился олень.

Ноздри вожака дрожливо пульсировали, от напряжения по ним сочилась сырость, к голове его приливала кровь, и в ушах начинало шуметь. Вожак тряс головою, пытаясь отогнать этот густой, тяжелящий все тело шум.

Вожак был грудастый, кряжистый и строгий. Он вместе с сильными оленями — хорами возглавлял оленье стадо, и вожаком признавали его не только олени, но и пастухи-оленеводы, доверчиво разговаривающие с ним и балующие его за верную службу солью-лизунцом. Вожак не раз спасал это стадо от ныркиx и бесстрашных северных волков, привыкших добывать еду в смертельной борьбе. Вожак помогал пастухам находить кормные поляны ягельника среди осыпей, на пустынном, обветренном хребте; почуять надвигающийся обвал и узреть затянутые рыжей шерсткой мха трясинные окна; расслышать крадущиеся, по-кошачьи мягкие шаги белошеего горного медведя; и много еще нужного и полезного людям и оленям знал и умел вожак.

Не умел вожак одного — драться за продление рода, добывать в борьбе любовь. Люди избавили его от этой извечной необходимости. Люди сделали его покорным и послушным, они загасили в нем пламя, которое сожгло не одно оленье сердце, тот огонь, из которого выплавлялись быстрые как вихрь, самоотверженные и гордые в любви олени.

А тот, на останце, хотел сразиться.

В позе его, напряженной и дерзкой, в раскинутых встречь ветру рогах, в поджатой ноге был вызов, и чувствовалось — вот-вот затрубит он на весь этот подоблачный край, встревожит и пробудит от белого сна горы и бросится следом за пенистыми потоками вниз, слепой и яростный от губительно-сладкой звериной страсти.

Вожака охватило беспокойство. Он уводил стадо все дальше и дальше от останца Патрона. Фигурка оленя на гольце сделалась уже с комарика величиной. И все же в долгую северную зорю, почти сомкнушимся кругом обнявшую хребет, видно было дикаря-оленя, как спускалось солнце на его рога, видно было и как он на мгновение превращался в язычок пламени и невиданной планеткой восходил над землей, а затем медленно угасал в пепельно-серых северных сумерках. Но вот стадо отошло так далеко, что останец Патрон призрачно закачался и, как бы отделившись от земли, слился с небом, растворился в нем.

Мускулы вожака сами собой расслабились.

Он успокоенно улегся на просторной ягельной поляне, утомленно закрыл белыми толстыми ресницами глаза. Взамен вожака по бокам стада встали два сильных хора, подняли головы, дрожливыми ноздрями процеживая струи воздуха, распутывая нити, вплетенные в эти струи, будто читали бесконечные, сложные, им лишь ведомые письмена. Вокруг отдыхающего вожака, кокетливо изгибая шейки, ходили пышногрудые, ушастые важенки.

Вожак смотрел на них дремно и сыто, переваливая во рту сочную ягельную жвачку.

Утром мимо стада, сопровождаемые собачьим лаем и гамом, прокочевали пастухи, остановились ненадолго, дали соли-лизунца вожаку и разбили палатку за седловиной, в заветрии, у потока. Вожак через два-три дня приведет стадо к стоянке пастухов, и они пропустят его мимо, а после снова обгонят и снова разобьют палатку впереди. Так вот постепенно стадо оленей превалит хребет. Нагуляв тело на горных ягельниках, к зиме олени спустятся на равнину, в колхоз, к спокойной, беззаботной жизни.

А дикарь этот останется здесь, одинокий, мятежный, и, скорее всего, волчья стая выследит его зимою, погонит так, что от мороза у него ледяными пробками схватит ноздри, и он, задохнувшийся, обреченный, остановится в глубоком снегу. Волки неторопливо стянутся вокруг дикаря петлею, разорвут и растащат его по кусочку.

Даже кровь с камней и со снега слижут волки.

Откуда он взялся, этот бесстрашный гость? Зачем пришел сюда?

Уж много лет в этих краях нет диких оленей. Люди оттеснили их еще дальше на север, в ветреный и пустынный заполярный круг. Может, отбился от домашнего стада и одичал этот олень? Может, во время гона, забыв обо всем на свете, мчался безрассудно за важенками и очутился здесь? А может, никак не сыщет важенок и рыщет по хребту, истово желая любить и сражаться за любовь?!

Но у него были важенки. Две. Как он нашел их среди каменных осыпей, в голых завалах ущелий, в искореженных худых лесах — известно только ему. Он был молод, к нему пришла первая свадебная осень, и он, происшедший от дикого оленя и гибкой, как ива, северной оленухи, был неистов в любви и жадно искал еще и еще самок. Но сильнее любви он жаждал боя, горячей схватки, чтобы истратить переполнявшую его страстную силу, притушить огонь, все больше распаляющийся в сердце.

Но на огромном, необозримом хребте не было больше диких тонконогих оленух и гривастых диких оленей. Он трубил, он звал их, и две важенки, чудом найденные им, чутливо насторожив уши, слушали его гневный, страстный голос и покорно следовали за ним все дальше и дальше к югу, в сторону склонов, покрытых лесами, пугающих скрытою в них опасностью.

Жажда материнства была сильнее страха.

Они не отставали от самца. А он, ловя томительные, зовущие запахи в струистом осеннем ветру, точно шел к огромному оленьему стаду. И пришел.

Он стоял и вечер, и два, и три на останце, ожидая, когда придут к нему сразиться такие же, как он, гордые и яростные самцы. Он трубил так, что внизу, утаившиеся в камнях, вздрагивали немые, терпеливые и преданные в любви важенки.

Никто не откликался на голос дикаря и не шел с ним драться. Он мог бы сам прийти к стаду и ударить копытом оземь так, что камни полетят из-под них, густым комарьем закружатся клочья травы и мха, повиснет вокруг предчувствие битвы. Но запахи дыма, собак и какого-то устойчивого, сытого покоя пугали его.

Там, внизу, пахло человеком. А человека он не переставал бояться даже во время гона.

И все же любовь преодолела страх. Когда стадо ушло

за горбом выгнутый хребет, к истоку северной реки, он двинулся следом за ним. Разжигаясь от погони, неизвестности и предчувствия битвы, дикарь все ускорял и ускорял свой легкий бег.

За ним неслышными тенями мчались две легконогие важенки, осыпая с карликовых березок искры листиков, продолговатые капли голубицы, растаптывая крепкие ягоды клюквы, ломая хрусткие ветви багульника.

Он нагнал стадо на склоне хребта, где уже кончался мох, начинались леса и спутанными валами лежали вразнохлест нескошенные травы на отлогих полянах.

Он вышел на середину поляны, постоял среди крепких, как проволока, веток травы кровохлебки, среди пушистых ветвей иван-чая и густо воняющего перед холодами багульника. Воинственно всхрапнув, он ударил сильным копытом о землю. Вздрогнули травы, рассыпались сухие семена, из камней снялся табун куропаток, брызнули дождем багровые шишечки кровохлебки и задвигались красными волнами. Он затрубил грозно и требовательно, теперь уж обоими копытами поочередно отбрасывая ошметки земли и все ниже опуская голову с захлестнутыми яростью глазами.

Он привел с собою двух важенок, и ему надо было доказать им и всему этому послушному, добропорядочному стаду, небу этому, земле этой, миру этому — что он имеет право на любовь! И он завоюет ее или умрет!

От стада отделился вожак и встал, как бы загораживая своих оленей собою. В позе вожака была нерешительность и досада. Олени-рогачи почтительно толпились сзади вожака, как солдаты, в несколько рядов, а за ними пошевеливали длинными ушами важенки, вытягивая по-женски любопытно шеи. Дикарь снова протрубил и еще дальше стал раскидывать землю. Должно быть, он докопался до когда-то огненной, но теперь уже остывшей лавы и высек из нее искры. Вожак не трогался с места. Он стоял широкогрудый, приземистый, с неуклюжими, большими копытами, любопытно смотрел на разгорячившегося молодца и не знал — как ему быть и что делать?

У вожака снова зашумело в ушах, тяжестью наполнилось тело его, и он затряс головой, чтобы избавиться от этой докучливой, нудной тяжести и шума, а дикарь понял это как вызов и, молодо, пружинисто играя затвердевшими мускулами, пошел навстречу вожаку с закинутой ветвистой головой.

Стадо оленей застыло в робком, растерянном ожидании. Дикие важенки, понимающие, куда клонится дело, отошли в сторону и начали щипать мох на ягельной поляне с таким видом, словно бы их не касалось ничего на этом свете и никакого отношения не имели они к той смертельной схватке, что должна была сейчас произойти.

А между тем пришелец двигался к вожаку неторопливо, с достоинством, трубя громко, с перерывами, чтобы все важенки: и те, которых он привел, и те, что были отгорожены от него лесом рогов, — видели, какой он красивый, сильный и бесстрашный и какая знойная сила таится в его молодом, еще нисколь не истраченном теле!

О победе он сейчас не думал. Он ни о чем сейчас не думал. Нутро его наполнилось пламенем, все в нем бушевало такой огненной стихией, что никакая власть, никакая сила на земле не могли ни остановить его, ни образумить.

Он еще благородно постоял перед вожаком, увидев, что тот не изготовился к бою. И когда вожак наклонил голову и, разжигая в себе полууснувшие инстинкты и устарелую ярость, затряс рогами и всхрапнул, дикарь ударился рогами в его рога.

От сухого, оголенного удара, какой бывает только при ударе искровых кремней друг о дружку, шарахнулось и затопало стадо. Олени перестали жевать моховую жвачку и с туповатым удивлением глядели на битву самцов.

Дикарь разогнался для второго удара и, уже не видя вожака закровенелыми глазами, а лишь природою данным чутьем угадывал его, с новой, еще большей силой стукнулся рогами в рога вожака и почувствовал, как спружинила шея противника и откинулась его голова. Не размыкая рогов, дикарь стоял, упираясь в землю, и ноги его по колено ушли в засоренную острым плитняком болотину. На одной его ноге камнем подрезало кожу и задрало чулком. Сделались видны до звона натянутые сухожилия и красные, как огненная сталь, мускулы. От натуги, от огромного напряжения выдувалась кровяная пена из ноздрей дикаря и дымилась на нем кожа. Вожак сдавал. Голова его закидывалась все выше и выше. Вот оба оленя вздыбились, стоя на задних ногах, до пахов вдавив один другого в болотистую почву, жарко храпя друг дружке в оскаленные морды, роняя из ноздрей и рта кровавую пену. Вожак могуч, крепок, но он уже пьяно шатается и вот-вот рухнет на спину, ломая о булыжник отростки рогов, а олень с далекой северной вершины затрубит победу, закричит горам, земле, небу этому о

законном праве на дикую любовь свою, добытом в справедливой борьбе.

Но вожак неуловимым движением головы высвободил рога и упал перед дикарем на колени в размешанную, развороченную болотину. Он как будто покорился, обессилел. Лишь глаза его, не захлестнутые кровью и свирепым пламенем, зорко и напряженно следили за молодым оленем.

Долю секунды, одну только долю секунды дикарь стоял вздыбленный к небу, а затем, ликующе всхрапнув, бросился на поверженного соперника сверху.

Он даже и не почувствовал, как отросток рога вожака, расчетливо и точно подставленного, с легким хрустом вошел в него, словно граненый штык в грудь солдата, — холодное острие коснулось того, что билось пружинистыми толчками и было сейчас не сердцем, а сгустком пламени, готового вот-вот прожечь грудь, разорваться восторженным криком победы. В ноздри дикого оленя ударил запах нутряной, перекипевшей крови, и тут же разом усмирился в нем огонь и откинулась красная пелена с его глаз.

Будто в прозрачном, чуть дрожащем потоке, он ясно увидел толпящихся вдали оленей, ушастых перепуганных важенок за ними, увидел и тех двух, что спокойно паслись в стороне и ждали своей участи. Увидел вершину с белой шапкой, вдруг зарябившую и опрокинувшуюся вниз острием своим, вниз узкими истоками речек, вниз тупыми макушками лиственниц, редко, но упрямо наступающими на голый хребет.

Он умер, не успев прокричать о своей победе. Рот его так и остался открытым в безгласном восторженном крике, а в глазах остановились недоумение и жажда любви.

Вожак стряхнул с себя враз увядшую тушу пришельца и брезгливо потряс головой. Запах крови угнетал его и раздражал. Он подошел к камню, обметанному серыми заплатами лишайника, и долго старательно терся рогом о камень, счищая с него красную кровь, а потом, не оглядываясь, побежал за своими оленями и сердито загнал в стадо разбредшихся по сторонам молодых важенок.

Ночь настигла стадо домашних оленей у останца Трезубец — огромной, даже среди этих гор, скалы с тремя заостренными вершинами. Меж этих вершин, в одном из распадков, где камень был измельчен копытами оленей, переплетаясь по-братски, словно коренья одного дерева, лежали кучи рогов. Иные рога уже превратились в пепел и прах от времени, иные почернели и обломались, иные вы-

белило ветром, снегом и вешними потоками. Меж рогов проросла трава, и коробочки отгоревших цветов с сухим треском раскрывались, роняя семена в расщелины камней.

И хотя вожак и олени его стада не сбрасывали рога — их спиливали люди, избавляя животных от печального обряда, ради которого надо было делать изнурительный, дальний поход, все же слабый проблеск памяти останавливал и удерживал их у Трезубца и какая-то священная привязанность к этому месту оживала в вожаке и во всех оленях стада. Всю ночь стояло здесь стадо, не смея кормиться и шуметь. До первого солнечного луча почетным караулом замирали олени у распадка, и ноздри их пульсировали, трепетали, вбирая запах тлеющих рогов.

Что-то все время беспокоило вожака. Чудилось ему: сквозь скорбный тлен настойчиво и остро струится запах того оленя, которого он убил на заре.

Вожак все ниже и ниже опускал голову к земле.

Ему виделся молодой олень, несущий свои первые рога к древнему кладбищу. Он пришел с далекой, недоступной людям северной вершины, спустился с голых, прокаленных морозами камней, опутанных внизу карликовой березкой и стлаником. Он шел через реки и грозные потоки, сквозь каменные лавы и гибельные болота, сквозь снежные обвалы и волчьи стаи, сквозь беды и бури шел он. И когда принес рога и, мучаясь, с болью выдернул их из кости головы и они сплелись ветвями своими с рогами его предков, две крупные голубые слезы выкатились из глаз его. Он услышал, как тонко звенели они, скатываясь по отросткам рогов до самой земли, твердой, неласковой, но родной. Пронизанный сладкой печалью, облегченный и светлый, лежал потом возле Трезубца молодой олень, и мудрость взрослого самца, которому дано было познать теперь радость ежегодного обновления, вселялась в него на всю жизнь.

Перед самым утром стадо оленей встревоженно ворохнулось, запереступало. Вожак недовольно повернул голову, и, хотя ночь была без звезд и луны, он по слетающему с вершин ветреному запаху, в котором студеною лентой колыхался дух северных, пресных снегов, почувствовал — в стадо пришли важенки. Те, две.

Вожак не прогнал их и на рассвете увел стадо от Трезубца.

Олени и оленухи шли медленно, оставляя на мшистой горной тундре подчистую выеденные поляны мха и тем-

ную, несколько лет не зарастающую топанину. Олени то и дело оглядывались, вздрагивали ноздрями.

Вожак не прибавлял шагу и не торопил своих оленей.

Через несколько зорь, когда люди разбили палатку уже в лесу, на восточном склоне Великого хребта, а олени уже шли вдоль границы лесотундры по проплешистым затравенелым мхам, дикие важенки начали отделяться от стада.

Днем они кормились на полянах, лежали среди седых стлаников и уже не подпускали к себе толстоногих, не очень брезгливых и настойчивых в любви самцов. Ночью они все же заходили в гущу теплого стада, с которым породнились, и вздыхали так, как умеют вздыхать только коровы и олени: шумно, длинно и грустно.

День ото дня две важенки все дальше и дальше отпускали от себя стадо и однажды не вернулись в него.

Белым от инея утром вожак повел свое стадо вниз, в необозримую, глухую тайгу, оставляя горные вершины, останцы, перевалы в ярком осиянии уже не греющего, праздно сверкающего солнца.

Перед тем как уйти из горной тундры, тесной и просторной, до следующего лета, вожак обвел прощальным взглядом Великий хребет, клубящиеся по склонам стланики, осыпающиеся ягодники, не тронутую косой траву и черные развалины скал, вбирающих в глухую, остуженную грудь первый холодок, который потом наберет силу и станет колоть их, разрывать на куски, осыпать то рокочущей лавой мелкого плитняка, то громадными, все сокрушающими на пути глыбами.

На одном из Трезубцев, сталисто отблескивающем в вышине, вожак различил две тонконогие, ушастые фигурки. Они стояли там плотно одна к одной, сиротливые и грустные, до тех пор, пока все стадо, до последнего оленя, не скрылось в лесу, выжидательно притихшем в предчувствии снега и зимы.

Вот и вожака, мудрого и заботливого отца стада, не стало. И он скрылся в лесу. Ушел.

Дикие важенки еще долго, до самой темноты, напрягали зрение и нюх, но ничего уже не было видно, и запах оленей растащило по хребту крепчающим ветром. Уже в потемках спустились важенки вниз и пожили у Трезубца до тех пор, пока усмирило морозом запах того бунтаря-пришельца, что принес сюда свои первые рога.

Важенки начали отходить к западному склону хребта, спускаясь ниже и ниже по редколесным распадкам. К вес-

не они достигнут того места, которое зовется у людей островом. Остров — это такой уголок среди великих гор, где звери спасаются от опасности. Дикие олени, козы, лосихи здесь рожают детенышей, и здесь же скрываются больные или раненые хищники, и никогда ни один зверь ни в голоде, ни в злобе не трогает здесь друг дружку.

Небольшая для этих мест, пологая гора — верст пять в длину и с версту в поперечнике, вся заросшая лесом, шипицею да черничником, она со всех сторон окружена гиблыми, непроходимыми осыпями и потому совершенно неприступна для человека, который для себя никак не может найти такой вот безопасный островок на всей своей огромной планете. В хитроумных, запутанных щелях, среди огромных внизу и мелких вверху валунов-камней, где, казалось бы, только змейке и проползти, есть звериные тропы.

И когда наступит срок, по одной из них бесшумно, тайком поднимутся сюда две важенки и на мягком мху, затянутом черничником и брусникою, под приземистыми кедрами, обвешанными бородами лишайника, принесут они детенышей, стремясь восполнить тот урон, который осенью понесла природа.

А спустя год-два на Великом хребте, на далекой северной вершине, снова затрубит дикий олень с клокочущим от страсти сердцем и потребует справедливой борьбы за губительную и всепобеждающую любовь!

1966 г.

Мальчик в белой рубашке

В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ГОДА рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население нашей деревни почти поголовно переселилось на заимки — убирать не везде убитую зноем рожь и поджаристую низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах. Улицы села обезлюдели. По ним беспризорно бродили мосластые телята, сипло блажили ссохшими-

ся глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, кашляя широко раззявленными клювами, вяло пурхались в пыли курицы, сохранившиеся в некоторых домах, и выли за околицей одичавшие собаки.

Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала и моя старшая тетка, оставив дома ребятишек: Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел седьмой год. У Ванюхи на исходе шестой, а Петеньке и трех не минуло.

Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню, к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят.

Каким образом троица эта шла, где сил набралась и бесстрашия — объяснить трудно. Может, и впрямь всевышний ей пособил добраться до места, а скорее всего, смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но дополна раскаленного, острого камешника, принесенного потоками во время дикого вешневодья. Они миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок, и ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы.

Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, радуясь тому, что выбрались они на свет, и, хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы младшего братишки, присели отдышаться в холодке под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали.

Очень устали Санька и Ванюха — поочередно несли в гору Петеньку на закуках. А он такой тяжелый: долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману — реку, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-

пресладкой воды, и надо только ноги побыстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, и попьешь, и побрызгаешься.

Но настала пора, когда ребенок вовсе выбился из сил и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство: они показали ему на желто скатывающуюся с крутого косолобка полосу, где виднелись работающие люди. «Мамка там. Она теплую шанежку и шкалик молочка Петеньке припасла».

Петенька сразу этому поверил, слюну сглотнул, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу.

Забыли братья свой обман, а Петенька помнил и про маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки и, подрубив ладошкой ослепляющий свет склонявшегося к вечеру солнца, потащился к желтой полосе, где и в самом деле жала рожь и вязала снопы его мать. Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам — песок в ней и галька мелкая. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли, обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги. Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полоску жита, где, до звона в голове пропеченная солнцем, оглохшая от усталости, хрустко резала серпом ржаные стебли его мать, а в узелке под кустиком и в самом деле хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранная.

Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось — и она с поля напрямки побежит в село через гору, гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Как-то они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего! В реке не утонули бы...

Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, скрашивающие нудь однообразного нелегкого труда.

Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжко устав-

шего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия.

Она связала свою норму снопов, в суслоны их составила, выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, и думала о том, что в дороге, глядишь, разомнется, а как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет — совсем от одури очнется... И тут увидела Санькину кудлатую голову в недожатках. А за Санькой и Ванюха вперевалку тащится. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут — легкий он, жужливый, непоседливый. А Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится — почернеет весь, ногами топает и руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал...

— Парни-то мои идут! Ножками чапают! Муха-то моя жужжит, ягоду медову ищет. Бычок мычит, молочка хочет! — запела мать, встречая сыновей, и на ходу уже выдавливала им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегнула и узелок свой разобрала: шанежку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладони сыпанула — ешьте, милые; питайтесь, славные. Как там малый-то наш, несмышленый-то без матери живет-поживает?..

— А он к тебе ушел...

Много дней кружила мать вокруг полей, кричала зверем раненым, пока не обезголосела и не свалилась без сил наземь. Бригада колхозная рыскала по окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но даже лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели. «Взял его, невинного и светлого, к себе в ангелы господь бог», — заверяли падкие на суеверья и жуткую небылицу старухи. Выдвигались предположения и поземней: мол, съели мальчика кыргызы, — кыргызами звали у нас всех инородцев, тучами бродивших в тот голодный год по Сибири. Будто бы и ноготки детские в какой-то лесной яме нашлись. Но ни ямы, ни ноготков показать никто не мог.

Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее «зуб», мол, вышел несмышленыш-парнишонка на покос, а там собаки соседские и набросилися. Он от них побежал. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-

крыто и сделали, под зарод, который метали в те поры, ребенка и положили, а зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали и там уж его зверушки источили.

Но, не в пример современным передовым крестьянам, которые до снега волохаются с сенокосом, наши мужики задолго до жатвы ставили сена на место, и не могли тогда соседи быть в лугах, да и лайки сибирские никогда на людей не бросаются, разве что бешеные.

...Внуков Саньки и Ванюхи вынянчила моя тетка; много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила — не счесть: двух мужей, отца и мать, сестер и братьев, малых детей тоже приходилось провожать на тот свет. Но поминает она их редко, оплачет, как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их упокоена, на своем вечном месте она.

Но где же, в каких лесах и неведомых пространствиях беспризорно бродит неприютная детская душа?..

Тридцать уж лет минуло, а все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться сына. И сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубашке...

1970 г.

Тревожный сон

РУЖЬЕ БЫЛО ЗАСУНУТО В ШТАНИНУ ОТ ВАТНЫХ спецодежных брюк, еще укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал ружье из этого многослойного барахла и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издалека спросила:

— Заржавело небось?

Суслопаров хотел сказать: посмотрим, мол, поглядим — и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут до него дошло — в

голосе, которым Фаина спрашивала, нет огорчения и сожаления нет, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же прорвавшаяся.

«Ну зачем оно тебе, зачем?» — хотел сказать Суслопаров и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза.

Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на побеленный шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук. Во взгляде ее, открытом и усталом, были одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье.

Суслопаров давнул на рычажок, так и не подняв глаз. Ружье с хрустом открылось. Суслопаров, скорее по привычке, а не для чего-либо, заглянул в стволы, потом, пощелкивая ногтем, прошелся по ним, вдавил в отверстия ладонь и посмотрел на синеватые вдавыши на буграх ладони, как на сельсоветскую печать. После всего этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу.

Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула:

— Ружье без осечки. Теперь таких уже не делают.

И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил:

— Да, теперь таких нету. Потому и беру. — И, спросив тряпку, как бы окончательно отмел все возможные попытки Фаины к сопротивлению.

Фаина почти сердито, издали бросила ему пегую от стирки онучу и села на табуретку возле окна с мотком ниток, натянутым на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промазывая мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом на окне.

Суслопаров досуха в каждой щелке и скважине протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки метались по ружью, гладили его, по избе прыгал заяц, и раза два он

угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты была полна охотничьими предчувствиями, голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели.

Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двуручной: тяни к себе — отдай напарнику.

Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, с просяное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же замазученных, смертельно чужих двустволок.

Наконец отложили одну.

Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел, готовый вынуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытаращил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул:

— Ну?

У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он развел руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины понимал важность момента.

Это он вместе с Васькой еще парнишкой мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг: ствол из латунной трубки, ручки — сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще пороху щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жахнуло так жахнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули жребий.

Васька вытащил короткую спичку.

Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, — и тут так жахнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны.

Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и синяя сыпь на щеке от пороха.

Но это нисколько не подействовало на него. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось и которые не стреляли. Ружье настоящее он пока еще видел только во сне и потому был растерян даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом — не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха. Потому Суслопаров решительно хватил кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах:

— Берем!

Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства — и довольность собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг: шутка ли — ведь возврата вещей в казенной торговле нету... Но испуг гасила закипавшая любовь к этому, пока еще не обтертому, не обстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью.

— Жена! Отворяй ворота! — закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно (на покупку ружья ее, как бабу, из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор, где было много дверей, а ворот никаких не было.

— Мамочка моя родная!.. — охнув, прижала руки к груди Фаина.

Она знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, и в ее голосе — неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало, а тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты

жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая — не хватает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то.

Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая какие-то три теневых кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, защурив один глаз.

У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью.

Суслопаров, крупный парень с большой головой, с большими руками и с маленьким носом, еще не был пока женат и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, он пробасил важно Василию, готовому теперь, по подозрению Фаины, не только днем, но и ночью обниматься с ружьем:

— Все! Дело за пристрелкой.

Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины и смутно представляя, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, значительно проговорил:

— Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! — Сказал и подвинулся к столу.

Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собою и всем на свете. Еще мало ношенная кепка Василия была, как терка, в дырьях, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками: «Кучно!», «Резко!», «Дает!», «Сыплет!» — и всякие слова добавляли.

О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не очень-то обращал на нее внимание в цеху, на работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал и вообще по возможности редко встречался тут с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит, так и Фаюшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова ей

говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет.

Фаина понимала — так надо. Он — мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все же вопрос поставит ребром — жена или ружье.

Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которыми был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе. Василий предварительно стукнул яйцом по лбу Фаины так, что сломалась скорлупка. Но она не улыбнулась шутке.

Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет дня на три в лес, охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь гранит ссыпался и стало ясно ей — возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа, но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не живала.

Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по бараку. Она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия на сохатого. Пропади он пропадом, этот сохатый, вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только явятся (явились бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь! Она, брат, тоже умная!

Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато-шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие Фаину. И был он совсем-совсем усталый.

Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поесть, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог.

Назавтра из тайги привезли во вьюках окровенелые мешки, а на закорках Василий приволок голову сохатого с разъ-

емистыми рогами, напоминавшими закостенелые листья цветка — марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку. Недожеванная ветка в зубах торчала. Остывший глаз был под цвет речного голыша, и по нему рассыпался, золотой крупой осел на дно дрожливый всполох ружейного пламени.

Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатушке, роняла посуду, табуретки и, что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала.

Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, рога спрятал под кроватью.

И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она услышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном...

От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть, не мыслилась она по-другому.

А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию — и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде.

Он любил удивлять ее.

Любил, чтобы у них все было весело и непривычно.

А она, по женской норовистости, все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и, когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чует, как он открывает дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет да по спине холодок идет.

Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей на плечи что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский — ее давняя мечта.

И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его и целует за обновку расплывшееся до ушей лицо мужа и говорит ему совсем другие слова: «Ну, что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего...»

А он хохочет, и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, только норовит поздороваться, рукою трогает чего не надо. Она хлопает его по руке: «Не балуй!»

А то раз на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: «Фай! А ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: «А что?» — «Да ничего, так», — сказал Василий и зевнул при этом.

Но она-то знала, чем все это кончится.

В воскресенье Василий до свету умчался в лес. Пришел поздно вечером, весь в паутине, и закричал: «Фай! Зарублено! Завтра пельмени из рябка делаем!»

И назавтра показал, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить.

Показал, как всегда, раз только.

Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если люди то же самое делали за два раза.

Фаина забеременела и сделалась совсем как горошина. Она все чего-то шила и строчила, да скоблила столы, да подбеливала печку, и без того белоснежную. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового сколка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок, — Аркашка.

Но родилась Маришка.

Дом к этой поре был наполовину готов, и они сложили в нем печку, переселились весною в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать.

В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собою Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы, и оттуда голосом давал знать о себе: «Я здесь, Фаюшка, недалече!..»

А ей все равно немножко боязно сначала. Но, обсидевшись, пообвыкнув, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. И все шумы и шорохи

отдалялись. Ее охватывали покой, умиротворенность. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать.

Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее, передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость — все, что есть в Фаине, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она с закрытыми глазами и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно.

Верткую, порывистую веснами, а летом говорливую, светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху, со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду речка и речка, кто не знает — мимо пройдет, кто ведает — плюнуть в нее не решится.

Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотинки, — желтая россыпь цветов мать-и-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а меж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках сине-розовеньких цветов даже днем не высыхает роса.

Когда Фаина была маленькая, она высасывала росу из хохлаток и медуниц — говорили ей: «Красивая будешь!» И не зря говорили — Василий уверял: «Самая красивая!»

Травою еще не густо пахнет, березником резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах. На стволах его трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица срыжа, и под нею ходит-бродит сок и будит в ветках листья. Как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка станет ползать по траве... Благодать!

А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое круженье, самые радостные песни. Под песни одолеет она все: снег лежалый смоет, лед унесет, мусор травою укроет, грязь высушит.

«Большая земля-то, родливая. Без земли что мы были бы?»

Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми, тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеный. В пелене его, не заглухая, шумит затяжелевшая Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчит во всю вешнюю мочь до самой Камы. Толкнувшись в ее большой и мягкий бок, засыпает она, как дитя подле матери. Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать Фаине и ее дочке, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глаза видеть, и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом до зябкости ощутимом мире.

Вдали, там, где за березником запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое «цвырк», похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, а вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик и еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, обрезает тревожный вскрик.

Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть.

Ждет.

Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокром, неприбранном, голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица роняет на землю зовущие звуки, будто отсчитывая последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием, полета.

Только смерть может остановить ее.

Фаина ждет, но всегда внезапно видит сыпанувшую из ружья полоску искр и слышит припоздалый грохот выстрела.

Птица, споткнувшиеь и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы.

И все.

Снова успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля, только грустно-грустно становится.

Они сидят трое — отец, мать и дочка — над речкой Лысманихой. На траве лежит птица вальдшнеп с чуть прищемленным круглым глазом, вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев, кое-где по лепестку мать-и-мачехи вклеили и не забыли светящихся гнилушек подсыпать на спинку и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом.

Оборвалась песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, на грани темного леса, уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканьем другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Маришка выпрастывает руку из одеяльца, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает. Что-то уже и она чует!

В поселке гаснут окна. На земле вылудилась и замерла молодая с проплешинами травка. От Лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют там и уже плотно ползут по березнику. Кажется, что березник выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. На островках стихают кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице, какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет: «Бб-би-иннь», бб-би-иннь».

Вальдшнепы перестали тянуть. Все погружается в тревожный весенний сон, и они трое — отец, мать и дочка — идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется.

Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом лопаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит вяло раскачивающуюся птицу, Василий несет ребенка. В поселке почти нет огней и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха да в окне конторы снуло горит лампешка — должно быть, нарядчик засиделся.

Дом, еще пахнущий смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых посадов и закоулков. Фаина скорее спешит по-

вернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за нею входят еще две живые души, и думает с тревогой — окажись она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно.

Но ей пришлось входить в этот дом одной много раз и жить в нем одиноко много лет.

Началась война.

Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом.

На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви, все время натыкаясь взглядом на плечо, где не было ружья.

Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут! Ну война — эко дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, — и домой.

Василий дурачился, нажимал жестким, залиселым от курева пальцем нос жены, говорил шутливо: «Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!» Она колотила его по рукам: «У-у, бессовестный! У-у, дурной!»

И лишь когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом к Василию.

А между ними уже вода...

В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать пайка, и Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи.

Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу.

Ее Василий не мог пропасть без вести!

Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью даже во сне сторожко ждала шагов, твердых, громких, какие могут быть у хозяина.

Кончилась война.

Выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка.

Хозяин вечен.

Хозяин должен остаться при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял — насовсем, — остановил мать, заголосившую было над ним: «Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты — женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь...»

«Обиходишь и снарядишь...»

Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?

Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уж отмечает: «Вот Вася мой тоже...» Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие, наоборот, двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, — и протяжно вздохнет: «Где-то и Вася там бедовал». И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем.

Ее Вася был на всем фронте. Нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми.

Но иной раз ее захлестывала такая тоска, что беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, ночи нескончаемо длинными.

Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку? Аркашкиных детей — ее внуков и правнуков?

Ей часто снился один и тот же сон: поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдется сердце, застонет Фаина не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябыми лицами вниз, стрижеными шершавыми затылками кверху.

По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти.

И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия и зримо улетающая в глубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых, веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солноворотами.

Ночами снятся вдове нерожденные дети.

— Эхмм-ма! — выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку.

Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая, но все равно не было никакой приятности от покупки, какой-то конфуз был.

— Э-эхмм-ма! — повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову. — Я сейчас, Фаинушка! — крикнул уже из сеней.

Фаинушкой звал ее только Василий да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорей всего, потому, что такой большой, а на фронте не был — спичку счастливую вытянул. И еще оттого, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений как будто. Такой же цветочный фартучек на ней, завязанный на окатистой спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старое, даже румянец нет-нет да и проснется на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей.

Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает глядеть с усталым спокойствием и закоренелой скорбью.

Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожиданий уж минули, хотел «пристроить» ее к детному вдовцу — старшине сплавщицкого катера Вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине, даже шутку придумал насчет писания, в котором говорится: «Возлюби ближнего своего».

Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился, а привез как-то дрова на леспромхозовском коне, осмотрел дом и буркнул: «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?»

И Фаина подтвердила: «Не долгая».

Все, наверное, сладилось бы в ближайшее время к лучшему, да черт дернул киномеханика завезти в леспромхоз длинную, переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина и от Вахмянина отказалась наотрез.

Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны: пора ремонтировать так и не достроенный дом, а работает она второй год нянькою в детсаде, зарплатишка так себе, на харчи одни. Не сплаве уж не может, от ревматизма обезножела.

«А может, и зря я затеял с ружьем-то? Может, у ней это последняя отрада? А я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка!» — смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину.

Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол пол-литрой и развеселым голосом возгласил:

— Обмыть покупку полагается? Полагается!

Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня думает — приставать буду пьяный?» — садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, подумал Суслопаров и решил: выше нормы не принимать.

Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладонью губы украдчиво.

— Так и не научилась, Фаинушка?

— Так и не научилась, — тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом: — Может, надо было научиться пить, матькаться, — может, легче б...

За Лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганую птицу.

Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вахмянине — мужике непьющем, негулевом, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре с Фаиной боязно коснуться, и от этого чувство виновности перед нею еще больше возрастало, а от выпивки возникала слюнявая жалость к бабе.

Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел тело-

грейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил:

— Прости, если что не так...

— Что ты, что ты! — замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. — Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное... — Больше о ружье она ничего не могла сказать. — Ну да сам знаешь... Хорошо, хоть к тебе попало...

Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхода саженцы кедров и лиственниц.

Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота и пожалела, что Суслопаров не покурил.

Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери и дуром на пол-избы разросшийся, но никогда не цветущий розан. Помахала веником по полу, вытерла лосиные рога, прибитые над кроватью, те, первые еще рога, похожие на марьины коренья. Каждый отросточек протерла, каждую впадинку на кости. Нигде больше не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. Из щелей пола куда-то девались дробь и пистоны отстрелянные. Прежде сплошь ими утыканы были щели, как тараканами желтыми, и вот куда-то подевались.

Все куда-то подевалось.

Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы где попало не валялись, не свисали с полатей ремни болотных сапог, пахнущие дегтем, не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла, в желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастеровому мужику добра. Чисто в избе, ничего не тронуто, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий, такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме.

В других домах хоть письма от погибших есть. А тут и письма пропали. Всего их было четыре штуки, но осталась, давно еще, Маришка одна дома, добыла эти письма как-то из сундука и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, дыра прогорела возле печки.

Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа.

И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому заду дочку, и без того почти задохнувшуюся в дыму.

Плакала и била.

Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся не огорчительными. Но на сколько хватит этих ее усилий?

Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете мужик с плоским лицом, похожим на лопату. Тот Василий, которого она помнила, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широкодушия и озорства. А уж если нет тех глаз, то и смотреть не на что.

Без глаз как без души.

Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом с давно прорубленными в горнице, но так и не поймавшими солнца окнами, с перекосившимся потолком, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от ветра. И всегда люди почему-то затихали в нем, а ребятишки не любили играть в пароходе, из которого вынуто было сердце.

Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, и, спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать.

Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в

уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаже печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой.

В слезах ее не было ни сладости, ни облегчения.

Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по надгорьям. После него как отрубило — ни выстрелов, ни стуку, ни шуму.

Темнота густым потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до Камы. Белой жилою перечеркнуло окно в Фаинином доме.

Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда гораздо реже, тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой; пиликали неугомонные кулички по берегам; на ночь закрывались белыми ушками ветреницы; распарывая ножевыми всходами кожу земли, выходила чемерица; бродили соки в деревьях, пробуждая листву; студеный пар узорчатой прошвой ложился у подножий и на опушках темного леса; новый месяц прободнул небо острыми рожками; засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса; усмирялось ненадолго полупьяное вешнее буйство—природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника.

Ночь была на земле, весенняя, короткая, неспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах в таинствах, плакала женщина.

Она прощалась с мужем. Прощалась двадцать лет спустя после его смерти.

И теперь уж навсегда.

1964 г.

Синие сумерки

ГДЕ-ТО Я СЛЫШАЛ, БУДТО В ЧАС СИНИХ СУМЕРЕК рождаются ангелы и умирают грешники. Умирают, стиснув зубы, без стона, чтоб не потревожить печальную тишину.

Стихает утомленная земля, останавливается ветер, перестают раскачиваться и мерзло скрипеть осинники. Верующие молятся в кончину дня, шелестя обветшалыми молитвами, а люди, отрешенные от веры, думают, вспоминают, если есть у них вспоминать что-нибудь хорошее. В синих сумерках хочется думать только о хорошем и еще умереть хочется или очиститься.

В такое вот синее предвечерье сидел я, привалившись плечом к косяку, на пороге охотничьей избушки, заблудившейся в еловой парме, глядел на тайгу, расслабленно впитывал в себя тишину.

Мокрую спину парило от печи, гудящей и ухающей сухими еловыми поленьями, а лицо корежило каленой стынью, какая накатывает в конце дня, когда синие сумерки с колдовской бесшумностью наплывают из таежных падей и забурьяненных логов.

Лес, поляны, лога, буераки затопляют они, наряжая синевой пустоши и провалы в тайге, глухие ямы шурфов, битых здесь еще при царе, — словом, наряжают все горелое, хламное, уродливое, что могло бы угнетать глаз человеческий. Но синева так же, как и солнце, не застит таежной красы. Снега как были белы, так белыми и остались. Они чуть поголубели только. Березник, утомленно свесивший перевитые космы, не тронут был синим даже в кронах, лишь слегка потемнел он в глубине, и оттого резче отразились в стеклянистом воздухе шеренги пестрых стволов. Липы сделались совсем черны, голотелые осинники нервно рябили, и все вокруг казалось погруженным в онемелое море, в глубине которого остановились земные стихии.

Григорий Ефимович, хозяин охотничьего пристанища, отбросил дверцу печки — видно, обжег пальцы, — ругнулся и спугнул благость с моей души.

Треща суставами, я поднялся и пошел к шурфу, что был за бугром. Из нутра его, из-под рыжего снега, ботиночным шнурком вытягивался ключик. Через три-четыре шага жизнь ручейка на свету кончалась, он падал по липовому лубу, подставленному Григорием Ефимовичем, в шурф.

Шурф этот зарос худой, остробокой осокою и кустами, у которых корней больше, чем ветвей. Корни схватили и удерживали корку земли. А внизу шурф пустой. Охотник сказывал, с десяток лет назад загнанный по насту сохатый с коротким воплем провалился в яму. Следом за ним туда сползали ворохи кустов, и однажды стащило огромную ель.

Она целое лето кореньями хваталась за землю, но не удержалась и огрузла в земную утробу.

Долго катились ломь и земля в ямину, пока не получилось маленькое озерцо. Видно, ель сделала опору для дна его. Озеро было покрыто ржавой пленкой, никто в нем не жил, кроме лягух, водяной блохи и сонливых водомеров.

Я смотрю на холодный зрак озерца, затянутый оловянным прожилистым льдом. Пучки осоки, еще не задавленные снегом, будто выболевшие ресницы, торчат вокруг него. Смотрю и в общем-то понимаю жителей ближней деревни — Становые Засеки, которые утверждают, что водяные облюбовали это место для себя.

И Григория Ефимовича я тоже понимаю. В наши дни, когда захожие в лес людишки почему-то считают своим долгом разорить охотничью избушку или напакостить в ней, — лучшего места для нее нельзя было найти.

Пока наполнялся чайник водой, падающей из лохматого, ржавого луба с шевелящимися в нем ленточками мочала, пока свивалась струйка клубком в посудине, — синева за избушкой, на которой бойко струилась трава щучка вперемежку с лесной жалицей, загустела, и из глубины леса забусило темной пылью. Трава на избушке, только что видная до каждой былинки, до каждого семечка, стушевалась, и ветви лип, будто прочерченные в небе, разом спутались. На покосе возле озерца, в невырубленных кустах, ровно бы заклубило сизый дым, а липы размыло синевой.

Все в тайге совсем унялось, и шевельнуться либо кашлянуть сделалось боязно, потому что мир казался призрачно хрупким.

Наступили последние минуты дня, последний его грустный и светлый вздох — и после торжественной этой минуты, после грустного вздоха об уходящем навечно дне сразу же потекла из лесу темнота, словно бы она терпеливо ждала своего часа, таясь под густыми лапами пихтача. Но в том месте, где закатилось солнце и уже успело остыть небо, срез тайги все еще отчетлив, и каждая елка там напоминает тихую часовенку с крестиком на макушке.

В открытой двери избушки стал виден огонек в печной дверце, дым из трубы не столбился более, он смешался с темнотою. Весь лес перепутался. Однако и темнота тоже была кратковременной. Вот раз-другой на поляне, за озерцом, проблеснули искры снега, и пока еще не видная за лесом луна наполнила мир покойным светом, и в небе снова проступила слабенькая синь.

Я пошел от ключика в обход бугра и спугнул из-под низкой, раскидистой пихты, сросшейся с кустом можжевельника, собаку Григория Ефимовича. Она отскочила в сторону и напряженно ждала, когда я пройду, вопросительно пошевеливая хвостом.

— Ночка! — позвал я собаку. Она отступила еще глубже в снег, вместо того чтобы приблизиться ко мне, и, ровно бы извиняясь, поболтала хвостом по снегу. — Ночка! Ты чего? — В ответ собака еще раз шевельнула хвостом, но с места не сдвинулась.

— Отстань от нее! — крикнул из избы Григорий Ефимович. — Не подойдет она к тебе. Чайник неси.

Собака эта, Ночка, весь день хлопотала в лесу, шустро носилась по горам, и сиплый, зовущий лай ее раздавался то на еловой гриве, то в густо заросших падях. Мы спешили на этот лай, и, как только сближались с собакой, она переставала гавкать и только попискивала.

Мы подходили к ели и задирали головы, а Ночка отскакивала в снег, ждала, поглядывая в мою сторону. И стоило мне встретиться с нею взглядом, она чуть шевелила хвостом, будто провинилась передо мною. Если уж долго мы не могли высмотреть белку, Ночка начинала постанывать и царапать лапами дерево, ровно бы хотела сама достать унырливую белку, подать ее нам, чтоб незачем было нам нервничать и порох жечь.

Я стучал палкой по стволу дерева. Собака, должно быть, видела схватившуюся за сук белку и от переживаний вдруг взрыдывала, но тут же смолкала и с немой вопросительностью глядела на Григория Ефимовича, который шепотом поругивался, напрягал зрение свое и сноровку.

— Вот она, тута! — наконец удовлетворенно сообщал охотник и, прищурив глаз, по-стариковски обстоятельно целился. И я и Ночка замирали в ожидании выстрела. Казалось, что Григорий Ефимович целится бесконечно долго и что лес тоже ждет, задержав дыхание.

Но вот наконец таежную тишину развалило грохотом выстрела, и, судорожно цепляясь лапками за сучья, от ветки к ветке, все быстрее и отвеснее падала белка. Ночка ловила ее, и виден был только прыгающий пушистый хвостик белки. Поначалу мне думалось — выплюнет собака изо рта раздавленную, никуда не пригодную белку. Но когда раз и другой Ночка положила к ногам Григория Ефимовича, перезаряжавшего ружье, даже слюной не вымоченную белку, а сама, облизнувшись, озабоченно убегала в ельники, зорко

отыскивая след и обнюхивая коряги, я понял: Ночка эта из тех собак, о которых можно слышать или читать в книжках, а видеть такую животину редкому человеку доводится.

Меня Ночка избегала, увертывалась от ласки и не обращала никакого внимания на мои городские восторги. Она работала и чем-то все время напоминала многосемейную хозяйку, которая сама хоть и костьми гремит, зато дети у нее краснощекие, муж ублажен и в доме порядок и достаток.

Была она пепельной масти, с темной припорошенностью на спине и белым фартучком на груди. За масть, видимо, и имя получила собака. Глаза у нее встревоженно-быстрые, захлестнутые брусничной краснотою. Нос узенький, с мокрым черным пятачком. Рот ее строго, как у окуня, сжат и, как у окуня же, чуть западает в углах. Звериная беспощадность угадывалась в этом завале рта. Но в общем-то мордочка у нее, с перышками бровей, с треугольными некрупными ушами, довольно симпатичная. Хвост у нее богат, как у лисы. Ночка не понимает красоты своего хвоста, не форсит им, как форсят многие лайки, укладывая хвост кренделем с особым шиком. Сдается мне, окажись у Ночки хвост поменьше и незаметней — она бы и тому рада была. Впрочем, не в красоте ценность охотничьей собаки, а в работе.

А Ночка — работница! Она берет белку с земли, с лесной гряды, на нюх и на слух. Куницу тоже берет поверху и понизу. Птицу за дичь не признает; давит в лунках рябков и косачей, если отыщет. Медвежьего следа пугается, за сохатым не идет, диких коз не облаивает, считает их, должно быть, своими, деревенскими.

В полдень мы кипятили чай на старой, сухим кипреем и борцом заросшей вырубке, и получился у нас часовой отдых. Небольшой огонек горел бойко и деловито. Тонкий еще снег растопился кружком, и стало видно желтую осеннюю траву, не убитую морозами. Береза одиноко и широко стояла посреди вырубки, и тетерева на ней висели, вытянув шеи. Они глядели в нашу сторону. У меня побаливал крестец и ломило шею, оттого что пялился на дерева, высматривал белок. Я крутил головой из стороны в сторону.

— Дома попроси жену, чтоб дала по шее горячим утюгом — помогает! — усмехнулся Григорий Ефимович.

Когда полуденным солнцем обожгло заиндевелый лес и повсюду засверкало, один косач прошелся по сучку березы и побулькал было, но песни его никто не поддержал, и он тоже успокоился, обвис на гибкой ветке. Собака с подведен-

ными боками лежала в стороне от огня, ловко накрыв хвостом почти всю себя, на птиц не обращая никакого внимания.

— Ночка! Ночка! — окликнул я собаку.

Ночка сбросила с себя хвост, вскочила и отпрянула ближе к кустам. Косачи обеспокоенно шевельнулись на березе и еще длиннее вытянули шеи.

— Ночка! Ночка! Что ты, глупая?! Чего ты испугалась?

— Не глупая она. Ума в ней, может, больше, чем у другого человека, — заметил Григорий Ефимович, с сухим хрустом ломая прутики душицы на заварку. — Не зови. Не подойдет. Не мешай отдышаться. Запалилась собака.

— Почему не подойдет, Григорий Ефимович?

— Потому что потому — оканчивается на «у», — ответил школьным каламбуром охотник и сунул горсть душицы в котелок. Отмахнувшись от дыма, он сморщился и нехотя добавил: — История у ней. — Разрешая мое полное недоумение, еще добавил, но уже с досадливостью: — Собачья история. — Видно, разговор о Ночке был ему неприятен, и он переметнулся на другое: — На косачей не заглядывайся. Это такая скотина, — на виду́, а возьми, попробуй! Малопульку бы. Да где она у нас с тобой, малопулька-то? — говорил Григорий Ефимович уже буднично, неторопливо, словно рассуждал сам с собою, и пил чай, с треском, вкусно руша сахар.

Он у костра сидел обжито и уютно даже как-то. Кружку он ставил на пенек, хлеб и сахар клал на платочек, развернутый на коленях; ничего у него ни в снег, ни в костер не падало. И одежда на нем была легкая, но теплая, в которой спина не преет и не стынет, — телогрейка, под нею меховая безрукавка, на ногах коты с плотно обмотанными и вперекрест повязанными онучами.

Осилив две кружки чаю, охотник расстегнул телогрейку, сдвинул молодецки шапку, налил еще кружку с краями и отпыхивался, крякал при каждом глотке чая. На лице его, обветренном, морозном каленном, — блаженство. Видно, как наслаждается человек кипяточком, сахаром и кратким отдыхом.

Я знаю Григория Ефимовича не так давно, однако особенности его характера, скорее всего некоторые из них, заметить успел. Григорий Ефимович не тот звероподобный, мохом заросший охотник-промысловик, о котором сложилось вековечное наше представление. Человек он грамотный, острословый и вроде бы легко доступный. Но иногда

любит прикинуться этаким простачком-мужичком, а потом, когда ты уверуешь в его простоватость, подсадит тебя едучей «умственностью».

Знакомство наше получилось на газетной почве. Григорий Ефимович прислал в нашу редакцию письмо с просьбой приехать в Становые Засеки и укоротить «местного царька», как он выразился в письме.

Царьком оказался директор небольшого лесозавода, Иван Иванович Ширинкин. Он вместе с Григорием Ефимовичем когда-то учился в сельской школе. Смолоду работали они на лесовывозках, но потом пути их невозвратно разошлись.

Когда Ширинкин почти двадцать лет спустя возвратился в Засеки, поношенный и вежливый, — селяне, удивленные явлением человека, которого в живых уже не числили, обвинили время, но пощадили человека. Пытаясь удивить всепрощением, слезливо, пьяно жалились засекинцы земляку на жизнь. Он сочувственно слушал селян, а после и сам поведал о тех краях, где бывать ему доводилось, и о тех должностях, какие занимал он на своем пути. Лесные люди дивились обширности земли, жизни Ивана Ивановича и значительности свершенных им дел. Даже на фронте он командовал дезокамерой. Не все засекинцы знали, что дезокамера — это не что иное, как вошебойка, думали — секретное оружие какое, вроде «катюши».

И когда достроена была лесопилка, уломали засекинцы Ивана Ивановича занять должность директора. Он уважил односельчан, хотя и намекал, что пора подходит ему хлопотать персональную пенсию, как личности особой, наделенной руководящими качествами. Вслед за главной сами собой посыпались на Ширинкина должности помельче: член родительского комитета в школе, член почти всех комиссий поселкового Совета, член народной дружины, член комиссии содействия ДОСААФ.

Как это нередко случается в наших деревнях, спотычка Ивана Ивановича на руководящем пути произошла из-за сущего пустяка — споткнулся он как раз на собрании, где его должны были ввести в эту самую комиссию содействия ДОСААФ.

Собрание шло быстро, дружно: «За?», «Воздержавшиеся?», «Против?», «Едино...»

— Есть против!

Гул по клубу прокатился. Сколько собраний проходило в Засеках — и всегда единогласно. Кто же это осмелился

поперек мира? Оказался инженер с лесозавода. Он-то, как молодой специалист, и ведал этим самым ДОСААФ, о назначении которого многие засекинцы ничего и не знали. Маленький такой инженеришка, соплей перешибить впору, и году нет, как в Засеки приехал, а вот против уж!

— Такой личности, как наш директор, не только оборонное дело, но и обувь нельзя доверить чистить в порядочном населенном пункте! — горячо заявил инженер и с трибуны сошел.

Ивана Ивановича все равно выбрали куда надо, а инженера молоденького стали обкладывать, как медведя. Об этом и написал в газету Григорий Ефимович, потому что инженер тот, Веня, квартировал у него.

Я выступил в газете со статьей «В защиту молодого специалиста». Ответили: «Меры приняты, и объявлен выговор кому надо». А вскоре после этого на Веню-инженера балка сверху упала. Он отлежал с поломанной ключицей три месяца в больнице, возвратился в Засеки, но пóтом почему-то бросил все и уехал, а я до сих пор вот чувствую себя виноватым. Чтобы Григорий Ефимович не подумал, что я забыл обо всем, и чтоб его или себя утешить, спросил:

— Веня пишет?

— Нет, ничего мне мил не пишет и вестей не подает... — Григорий Ефимович выплеснул остатки чая и тут же, бросив песнопение, мрачно буркнул: — Помогли мы с тобой молодому специалисту.

— Помогли...

Я швыркал чай, глядя в затухающий огонь.

— Ну, а как он?

— Директор-то наш? В светлое будущее нас ведет. Такая его цель. — Григорий Ефимович сунул в мешок кружку, ждал с развязанным мешком, когда я допью чай и отдам ему свою посудину. — Фрукт этот ни мороз, ни жара не берет. А в нашем умеренном климате, да еще при нашей бесхарактерности, такому самое плодородное место.

Столько было горечи в голосе охотника, что я не решился дальше разговаривать на эту тему, и мы молча ушли от костерка, дымящего на вырубке средь выворотней и редких, тонкомерных елушек, оставленных на обсеменение и давно уже высохших.

В лесу, да еще на охоте, нет пустого времени, там всегда бываешь занят, весь в работе, хотя со стороны поглядеть — шатается человек без дела и надобности. И еще в лесу, да на охоте, чем меньше разговариваешь, тем лучше.

Другое дело — вечер! Избушка. Полутемь. Теплынь. Окно совсем уже было затянуло. Стекло в раме составное. В стыках стекольев вроде бы паучок затаился и плетет да плетет паутину. Потом мох ягель вырос на стекле. Я подбросил в печку дров, и мох ягель завял, паук подобрал лапки и утянул в составыши паутину. И опять посинело окошко, но уже грустно посинело, будто дремой сгустило синь.

Григорий Ефимович покуривал крепкую сигаретку «Памир», точил ножик. Нежно, чуть слышно касался он бархатистого бруска, лицо его от синевы — будто у мертвеца, а глаза сверкали злодейски при каждой затяжке.

— Леший ножик точит, неслухов резать хочет, — вспомнил я в детстве слышанную, устаревшую поговорку.

Григорий Ефимович шевельнул бровями.

— Неслухов сейчас лешим не застращаешь! Дружинником разве! — сказал он и быстро дотянул сигаретку.

Мундштук пусто засипел. Охотник хлопнул ладонью по мундштуку так, что огненный катышек от сигаретки улетел к порогу. Потом засветил две свечки, надел на грудь брезент, излаженный вроде фартучка, и закатал рукава.

— Снимал бы белок, — кивнул он мне на кожаную сумку, набитую зверушками. — А я бы руководил...

Я сказал, что и рад бы, да не умею, попорчу шкурки только.

— Ж-а-а-аль, — поправляя на пяльце шкурку куницы, снятую еще в тайге, протянул охотник. — В жизни вот никем не руководил, кроме жены. Дай, думаю... Н-да-а-а... Вот оттого, верно, и завидую Ваньке-то. У самого таланту нет.

— Какому Ваньке?

— Да Ширинкину.

— А-а.

— Видишь, вот как оно! И ты уж привык Иван Иванычем его навеличивать. И все привыкли. И его приучили. А он, однако, давно смекнул, как можно пустопорожность всякую громкими словами прикрывать! Вот ты сам говорил, что совнархозы разорганизовать собираются. Оказались они, говорил, не нужны в нашем хозяйственном деле. А поди ты — сов-нар-хоз! — Григорий Ефимович поднял вверх ножик, сделанный из пилы, гибкий и бритвенно-острый. Нож сверкнул впотьмах. — Коснись нас, простых людей, от одного названия опешишь.

Слова о простых людях, замечаю я, у Григория Ефимовича наилюбимейшие, хоть сам он и не прост. Под топчаном у охотника лежат пачки старых журналов. Младшая

дочь Григория Ефимовича работает в библиотеке и списанные журналы отдает отцу. Он вместе с охотничьим имуществом с осени завозит на лошади в тайгу литературу и читает журналы, как сам говорит, от доски до доски. В журналах заметил я подчерки ногтем. И ноготь охотника весьма и весьма остер и точен, под него попадают оплошности авторов, особенно касающиеся тайги, но больше всего чертит охотник там, где автор вольно или невольно криводушничает.

Мне все больше и больше нравится хозяин этой потаенной избушки. Нравится, как он рассказывает, преображаясь лицом и голосом. А руки у него заняты делом, и все-то идет ладом и чередом.

— Вы про Ночку хотели рассказать. Что у нее за история? — напоминаю я.

— Говорю — история собачья, — отмахнулся охотник. — Может, не рассказывать? Испорчу настроение.

— Ничего.

Григорий Ефимович вдруг предупреждающе поднял руку с ножом.

Гудела печка. От стыни потрескивали бревна избушки, а больше ничего слышно не было. Я вопросительно уставился на Григория Ефимовича, хотел уж спросить, чего это он, но в это время до меня донесся легкий шорох под окном избушки и деликатный, почти мышиный писк.

— Заговорились! — по-женски хлопнул себя в бока Григорий Ефимович. — Сейчас, Ночка! Сейчас, кормилица моя!

Ночка еще раз пискнула и смолкла.

Григорий Ефимович вытер руки о тряпицу, размял в берестяном корытце сухари с водою, подмешал в них ложки две сгущенного молока. Хлебную затируху готовил он старательно, потом накинул телогрейку и предупредил меня: пока Ночка ест — не показывался чтобы.

Он долго кормил собаку и все разговаривал с нею будто с малым дитем. А мне еще с детства ведомо, как строго, даже сурово промысловики относятся к своим верным помощникам и уверяют, что иначе нельзя, иначе, мол, собака разбалуется.

— Ешь, ешь, — слышал я, — не давись, ешь спокойно. Ах ты, хлопотунья! Ешь, ешь, не бойся! Никто тут тебя не обидит.

Он вернулся с пустым корытцем, потер застывшие руки

и подбросил в печку дров. Вешая телогрейку на деревянный штырь, сказал:

— В чем душа держится у собаки! На болтушке тянет. Повредилось у нее горло.

Григорий Ефимович замолк, прислушался как-то почудному, ровно бы одним ухом, и удовлетворенно заключил:

— Ушла в убежище свое. Иной раз в лес убегает, хоть привязывай. То зайца приволокет, то рябка. У дверей положит. В благодарность... Э-эх, язык бы этой собаке! — Охотник еще послушал и уставился в окно, по которому ровно бы кто-то хлестанул двумя ветками, обмакнутыми в известку. В верхней половине окна, у самого выпиленного бревна, сорочьим крылом отливала мерзлая ленточка. Нижнее звенышко составного стекла уж совсем померкло, ровно не стекло было, а старая колотая кость, видная до каждой хрупкой прожилочки.

Охотник снова забрался за печку, пошаркал ножик о брусок и продолжал работу. Взрезав белку в промежье, он умело заголял ее и одним движением, как рубашонку с малого дитяти, снимал со зверушки пышнохвостую шкурку. Сырые шкурки он тут же надевал на шомпол за дырочки глаз, а тушки бросал в берестяной противень, к дровам.

— Ты Сухонина, соседа моего, знаешь? Нет? И слава богу. У него мы с Венькой отбили, можно сказать, собаку. Вот слушай, как дело было. В колонии срок отбывал Сухонин-то. Отбыл и осел в городе. В собачники наладился. Ловил собак и бил по десятке с головы, это еще при старых деньгах. Да еще жирные туши туберкулезникам загонял. Да-а. Я потом промышлял в тайге сезон с Сухониным-то. Набрался он тама ума! Обучился многим политикам. Он собак-то давил только зачуханных каких, а страшну́ю, с харей обезьяньей, либо бесхвостую, либо лопоухую держал взаперти. День-два подержит, глядишь явится дамочка либо артист и выкуп дают, не считаясь со средствами. Нарвался Сухонин. На што уж хлюст, а нарвался, сплошал! На Корнакова нарвался, на старика. У Корнакова кобель из вогульских лаек. Во всей округе известный. Что по медведю, что по сохатому. На привязи такую собаку держать нельзя, тухнет в ней чутье. Корнаковского-то кобеля и заловил Сухонин. Корнаков сыскал кобеля и вместо выкупа сыновей кликнул. А сынов у него трое — горновыми работают. Они и поломали Сухонину ребра — по ребру на брата.

Сухонин — жох, он и в больнице зря время не терял, за-

арканил жену себе, нашу, засекинскую. Няней она при палатах состояла.

Деньжонок успел скопить Сухонин-то. Наваристая работа была. И жену подобрал, как у нас говорят, по скачку, которая выше его не прыгнет. Явились они в Засеки, дом отгрохали. К зиме Сухонин договор с Заготпушниной заключил и ко мне в напарники подрядился. Тогда я ему и дал щенка от сучки своей, Касматки.

Григорий Ефимович приостановил работу, снял нагар со свечи сырыми, красными от сукровицы пальцами. В язычке огня легонько треснуло, зашипело, и до меня донесло запах паленой шерсти и парной крови. Тошнота занудила нутро, и я опустил голову.

Охотник пододвинул свечу ближе к себе, бормотнул что-то насчет зрения, которое якобы слабнет, и вообще, мол, скоро его, такого липового охотника, из лесу гнать и на мыло переделывать надо. После такого высказывания о себе он снова принялся за работу и повел разговор дальше:

— Промысел таежный не поглянулся Сухонину. Дело ведь это не такое уж фартовое, как о нем молва идет. Озолотеть тут не озолотеешь, а вот ревматизм, грыжу либо еще чего в таком роде добудешь. Да что тебе рассказывать? Сам испытал. Вон шея не крутится и глаза ввалились. Это за один день. И день-то почти выходной. Куницу одну квелую гоняли. А то ведь пойдет как молонья, да грядой, все грядой... Дух вон — умотаешься. К стану вернуться сил нету. В лесу у няги ночуешь, а что она, няга-то? Один бок греет, другой стынет. Так всю ночь и скоблишься. А ночь-то — двенадцать часиков! Месяцами без бани, без хлеба, без бабы, а заработок стал — хуже некуда. Леса порушены, дичина повыводилась, расценки же прежние. Если на промысловый месяц по кругу сто рублей сойдется — считай, пофартило. А эти сто рублей и на лесопилке можно заработать. Так ведь это дома, в тепле!

О тепле Григорий Ефимович сказал с особой значимостью и упором особым. Я представил себе одинокую ночевку в зимней тайге в такую морозную ночь и оценил эту вот дыроватую, прокопченную избушку, в которой и ходить-то надо согнувшись, и печку жарить беспрестанно.

Я ровно бы впервые оглядел таежное прибежище. И не знаю уж почему, но в его первобытности, в этих шершавых бревнах с почерневшим в пазах мхом, в дымящей всеми щелями печке, в полуслепом окошке, в притоптанной земле, неровной от узлов и корней, простеживших пол в избушке

вдоль и поперек, в нарах, сооруженных из жердей, в деревянных штырях, заменяющих гвозди и вешалки, — во всей этой бесхитростной избушке, пахнущей дымом и смолою, где каждая вещь была необходима, мне открылись свой смысл, своя жизнь, не забарахленная мелочами, праздными словами и зачастую никому не нужной суетой.

Мною овладело чувство зависти, очень странной, самого меня удивившей зависти к тем, кто жил вдали от великих тревог нашего века, от дум, постоянно угнетающих людей, прежде времени их старящих, от душевной смуты, от изнурения повседневного, еще в утробе передающегося будущим людям, нашим детям.

Я уж было дальше повел размышления в таком же роде, но голос охотника вывел меня из забывчивости, и я заставил себя слушать его обстоятельный рассказ, рассказ человека, которому некуда и незачем спешить.

— Дотянул Сухонин кое-как сезон до конца, поступил работать пилоправом на лесопилку. Ружье, однако, не продал. По воскресеньям уходил с Ночкой в лес, крушил там правого и виноватого. Побитую дичину и шкурки сдавал в Заготпушнину и приработок охотничий либо вкладывал в хозяйство, либо пропивал без остатка.

Раз ходил Сухонин в заготпушнинский магазин, а он на шахте, верстах в десяти от нас. Напился там и уснул при дороге. Мороз был градусов за двадцать, и хватило бы Сухонина на час с небольшим. Да Ночка спать ему не давала, таскала за полушубок, бросалась на него. Отбился он от нее все-таки, уснул. Ночка загребла его снегом, заползла на хозяина, облапила, ровно мать ребенка, да как завоет. В шахтерском поселке услыхали. Доложили куда надо. Участковый милиционер откопал Сухонина. В больницу доставил. Свалил его там, как пень корчеванный. Три пальца на левой да два на правой руке отболели у Сухонина. Милиционер Петрухин, врач и сестра говорили Сухонину после выписки из больницы — легко, дескать, отделался. Собачке спасибо скажи. Сухонин килограмм медовых пряников скормил Ночке и стал спускать ее с привязи. Воле она радовалась шибко. Охотница ж! К простору привыкла. И пользовалась она волею с толком. Принесла восемь щенков. Фенька, дура, потопила всех щенят в противопожарном пруду возле водокачки, Сухонин избил Феньку, когда узнал, что за щенков деньги могли дать. Фенька со зла вовсе перестала с цепи спускать Ночку. Я долбил соседям: испортится собака. А они страсть куражливые оба: наша собака, хозяин — ба-

рин. Охотники торговали у Сухонина Ночку — не продает. «Не хотим корыститься от собаки. Мы и без того в достатке проживем». Я как-то магарыч выставил. А он, Сухонин, и надо мною давай куражиться. «Знаешь, какая это собака!» — говорит. «Знаю», — говорю. «Она мне жисть спасла! Друг она мне! Лучше бабы моей, может, друг! Сколько ты можешь за нее дать? Сотню? Две? А за нее и три сотни мало!» — «Сотен, говорю, у меня нету. А цену настоящую положу — пятьдесят рублей». — «Пятьдесят?! Э-эй, Ефимович, ума у тебя, извини меня за выражение, плешь помазать не хватит. Друг она мне, понимаешь?! Друг! А ты — пятьдесят!» Короче, выдворил я его из избы. А он вскорости и повесил друга-то...

— Как повесил? — Я аж со скамейки приподнялся.

— Натурально. На веревке, — Григорий Ефимович смешно, как курица, вытянул шею.

Я вставил сигарету в мундштук и сунул его в зубы охотнику. Не дотрагиваясь руками до мундштука, он прикурил от свечи и продолжал:

— Вот тут-то опять и вступает в роль наш Венька. Ишь какое колесо я обогнул и к нему опять возвернулся. Выболело об нем сердце. Он ведь, толкую тебе, возвернулся из больницы, и думаешь что? Примолк? Пуще прежнего войну против Ваньки повел. На собраниях его, бывало, честит, на производстве срамит, этим — как его? — профаном обзывает. Работяги скалятся. Веселье на лесопилке. Комиссии ездят, уговаривают, оборудование новое на лесопилку дали. Кино стали чаще показывать. В доме заезжих кипяченая вода появилась, кружку с цепи сняли, и никто не ворует кружку-то. Ванька примолк. Сдвиги, одним словом. Венька мой руки потирает. Я ему толкую, Веньке-то, чтобы он уши навостре держал, — мол, против ветра мочишься, гляди, парень, прилетит. А он хотя и ерш, а доверчивый. Пойдет это рассуждать, пойдет рассуждать, ну чисто по-писаному, а сам костистый после больницы, шея тонкая, брюхо подвело, очки во все лицо... Э-эх! — Охотник быстро-быстро зачмокал губами, высосал дым из сигареты. — «Конец, говорит, подходит свистунам и очковтирателям, ветер дует в нашу сторону, старик». Ну и дунул, мать бы его растак!

Григорий Ефимович хукнул в мундштук, выдул остаток сигареты, растер его ногой на полу, плюнул с сердцем.

— Тут и я, старый олух, уши развесил, на сдвиги задивился. Не уберег парня от змеев подколодных... Гулянка

была у соседа моего, нешумная такая и нелюдная гулянка. День воскресный. Я чего-то во дворе делал, не помню. Смотрю, Фенька шасть мимо меня в нашу избу. Долго ли, коротко ли погостила — выходит с Венькой. Он галстук привязал, в штиблетах, дурачится. «Видишь, старик, Иван Иванович лично зовет меня выпить с ним мировую. Наша берет!» — «Берет, говорю, и рыло в крови. Дело, говорю, твое, но не пивать бы тебе пива-браги в такой дружной компании». Тут Фенька как застрочит пулеметом: и не по-соседски это, и не по-людски. Сами Иван Иванович покоряются, а ты влияешь, ладу перечишь, сам вечно поперек миру и молодого человека туда же... «Ладно, ступайте». Ушли они, а я места себе не нахожу, дело всякое из рук валится. И сердце так болит, так болит. Оно болит, а не скажет ведь. Долго ли, коротко ли, хлоп — ворота настежь, Фенька бежит, причитает: «Такую собаку! Господи! Такого человека! Господи!» Я был да не был во дворе. Запрыгиваю к соседу во двор, а там картина: Ванька за щеку держится, кровина из него валит, по двору Венька с кайлой за Сухониным гоняется, а на балке в петле собака дергается. Нож всегда при мне. Перехватил веревку одним махом — и к Веньке. Как я поспел только?! Он уже Сухонина в стайку загнал и тюкает, в темноте угодить не может, очкастик. Выдернул я у него кайлу, а он и меня за грудь: «Старый мир! — кричит. — До основания!» — кричит. И матом нас, матом. В Засеке выучился, до этого «наплевать» от него не слыхал. Ну, я тут схитрил маленько. Трясу его тоже и ору: «Жива собака, жива! Что ты как белены объелся?!» Оттолкнул он меня и из стайки вон. Я за ним. Гляжу, и на самом деле собачонка эта живучая под крыльцо ползет, хрипит, зевает, лапами землю царапает и ползет. Сгреб ее Венька в беремя и зарыдал. Дома я их обоих молоком отпаивал. И с тем и с другим еле отводился.

Григорий Ефимович еще раз потянулся ко мне, и я быстро, уже без мундштука, всунул сигарету ему в зубы и заметил, что руки охотника мелко-мелко дрожат.

— Погоди, парень, — устало молвил Григорий Ефимович и посидел с минуту молча, уронив руки на колени, а потом вздохнул и, ровно бы решив, куда, дескать, тебя денешь, продолжал, но уж разжалобившись от всего, что он мне сообщил, и даже, почудилось мне, задрожал голосом. — Три года ко мне на брюхе собака ползала. Подползет и обмочится. До сей поры хвост промеж ног таскает и голос при людях не подает. В отдалении если, еще взлает, а вблизи —

ни-ни-и-и. Хлебца либо косточку скушать не может по сию пору, и глаза досе кровью у нее захлестнуты...

Все двенадцать шкурок были сняты и вздеты на шомпол. Григорий Ефимович встряхнул шомпол, и серая мягкая волна колыхнулась по избушке, поколебав огоньки свечей. Он повесил шомпол со шкурками на два деревянных штыря, вбитых в стену, и рукой дотронулся до куньей шкурки. И как будто уже не мне и не жалостным, а обыкновенным голосом добавил:

— Потеряла она доверие к человеку. Память же ее, собачья, прочней нашей. У нас гибче все, оттого мы и забываемся быстро, а она, видишь, не чета нам.

— Да что у них там получилось-то?

— Что получилось? Подлость. Зверство. Чего там еще могло получиться.

Я терпеливо ждал.

— Ванька Ширинкин моего соседа заспинником держал при себе. Самому-то несподручно балками бросаться. Руководитель!.. Ну вот, заманили они Веньку-рукосуя, много ли мало ли выпили и во двор гулять вышли. А там Ночка случись. «Эта собачка и спасла вам жизнь?» — спросил Венька. «Она, она, милая», — за Сухонина ответил Ширинкин и от чувств полез к Ночке целоваться. А спиртной дух, скажу я тебе, лайке что шило в ноздрю. Она и цапнула Ваньку. А Сухонин — в петлю ее! Это при дурачке инженеришке-то! Вот тебе и вся собачья история, — разом оборвал рассказ охотник и сердито завозился за печкой, вытер нож, засунул его в деревянные ножны, добавил патронов в патронташ вместо сожженных днем на охоте, харчей в мешок, посображал еще, чего не забыл ли на завтра сделать, и вышел на улицу.

В ключике охотник вымыл руки, попутно принес беремя дров, устроился на топчанке, нащупал в головах журнал и зашелестел страницами. Читал он недолго. Усталость сморила его. Отложил журнал, снова одним ухом прислушался и спросил:

— Чего притих-то?

— Не приходил он к вам?

— За собакой-то? Как не приходил? Приходил. Судом на Веньку грозился за покушение на жизнь. Отдал я ему полсотенную и тоже припугнул: суд, мол, на суд, статья, мол, есть за насильство над животными. Он только статей и боится, а больше ничего. А я и не знаю — есть она или нет, такая статья-то?

— Говорят, есть, да применяют ее редко.

— Н-да-а-а, настроение я тебе все же испортил. А ты небось нервы успокаивать ехал?

— Успокою еще.

— Горе учит доброте. Жива собака. При деле. Венька тоже не пропадет. Конечно, сильно его у нас заломали. Но молодой еще, срастется. С рубцами крепче будет. — Охотник нарочито длинно, со стоном зевнул. — Если спаться не будет, дров не жалей — не покупные, а вот свечку, коли не надо, задуй.

Я прихватил огонек свечи, он бабочкой шевельнулся в пальцах и затих. Ладанным запахом забило на время угарный дух, которым была пропитана избушка.

Григорий Ефимович еще немножко покряхтел, поворочался и густо, размеренно зашумел носом.

В глухой утробе растревоженной печки кудряво загибались, пузырились смолью березовые поленья. Капли черной бисерью вспухали на бересте, тяжело скатывались и взрывались на беловатых от жары углях. Под берестой зеленоватая заболонь исходила сыростью и сдерживала разбушевавшийся огонь. Сырые поленья однотонно шипели.

Виделся отец с кожаными верхонками — рукавицами — за поясом. В руках у него остроязыкий топор с желтым, как древняя кость, топорищем. Отец рубит мелкий березник, чапыжником у нас его называют и для устойчивого, основательного тепла подкладывают в русскую печь вместе с сушняком.

Дядья видятся. Все они черны от сажи, угорелые и потные. Они делают из бересты поплавки для сетей, или, как у нас, в Сибири, говорят, наплавки. Наплавки эти в ряд, с чувством дистанции, садят на верхнюю тетиву сети, а на нижней — гладкие, из конских и коровьих костей пиленные грузила — кибасья. Дядья готовятся плыть на север — рыбачить. За фартовыми деньгами едут. Жены приученно собирают их в дальнюю дорогу, не решаясь вслух высказать своих сомнений насчет такого уклада жизни.

Бродяги они были, мои дядья, все искали по свету удачу. Явившись домой, гуляли широко, разудало, драли друг на дружке рубахи, распугивали жен и ребятишек, а сейчас вот вспоминаются людьми незлобивыми, насмешливыми. Должно быть, та же вековечная мягкость души, что и у засекинцев, живет во мне, а может, зимняя ночь, медленный огонь в печке и ощущение синих сумерек, как бы пропитав-

ших меня, виновны в том, что обо всем хочется думать хорошо и ждать от жизни только добра.

Я прислушиваюсь к шумному дыханию спящего охотника, прислушиваюсь к ночи.

Все тихо. Ночка не скулит, не просится в тепло.

Почему меня мучает чувство вины? Не перед людьми, нет. Люди сами творят все худое и хорошее, поэтому их легче виноватить и оправдывать легче. Мучает меня совесть за Ночку — собаку, за тех убитых и брошенных по фронту раненых лошадей, которых я никогда-никогда не смогу забыть. И еще не смогу забыть мосластых коров и бычков, прошедших путь из Казахстана до уральской бойни без корма и догляда; и ту лосиху, которая, спасаясь с затопленного острова, плыла по уральской реке, а ее с улюлюканьем и удалым воем били баграми сплавщики; зайчишек, которых травят злодеи, натаскивая туполобых гончаков еще в сенокосную пору; согнанных с болот и перебитых журавлей; опустевших гнездовищ птиц, оттесненных в холодные леса севера, не подходящие для песен и жительства; и все тех же горемычных собак, истребляемых петлей и зарядами средь бела дня во многих наших заштатных и даже больших городах, где пространно, часто с зажмуренными глазами учим мы друг друга гуманности.

Горе учит доброте!

Но отчего же тогда мы, так много горевавшие, чем дальше живем, тем больше бед приносим тем, кто одевает нас, кормит? Почему? Почему из-за необузданности людской страдают преданные хозяину животные, по разумению которых он, хозяин, так мудр, что освободил их от забот о себе? Они даже и не подозревают, что если хозяева передерутся меж собою, то прежде всего сгорят от адского огня они, бессловесные, доверчивые. Погибнут, не ведая своей вины, как погибали под бомбежками и в блокадах дети...

От крепкого чая или от дум мне спать совсем расхотелось, и, когда котелок опустел, я снова отправился к ключику за водой по узенькой тропинке, тенисто обозначенной в свежем снегу.

С ночью пришел на землю сухой мороз, устойчивый, покойный. От избушки к покосику уходили два ряда ровного березника, и аллея сверкала искрами и как бы текла прямо к месяцу серебряным потоком. Я спросил у Григория Ефимовича еще в первый день, почему березник растет в шеренгу и на равном расстоянии друг от друга. «Когда-то весной, — ответил он, — по рыхлому снегу проходили два ло-

ся, и во вдавыши следов насорило семена. Они взяли и проросли: шаг — береза, шаг — береза».

Так все просто!

Месяц был ярок и бел. До того ярок и бел, что от него, словно в полнолуние, всюду лежали тени вперехлест. Лишь на аллейке тени в ровном строю.

Мохнатый, заснеженный был лес. Все остановилось на земле и боялось ворохнуться, чтобы не спугнуть этот бескрайний сон тайги. Лишь изредка в глубине ее с мягким шорохом сползал снег да настойчиво стекал по обмерзшему лубу ручеек. От него исходил редкий парок и белой, игольчатой бахромой остывал на спутанных кустах бузины.

Тень от избушки вытянулась до самого покоса. Беличьим хвостом шевелилось отражение дыма. На покосе тоже лежали тени дерев, сросшихся у комлей. Вершинами они кинжально втыкались со всех сторон в стог сена, сметанный посреди лесной кулижки. Жердь торчала в стоге вроде антенны и тоже давала тень отчетливую, тонкую, и звезды в небе отчетливы были, и месяц отчетлив до того, что в пазухе его проступало ледяное донышко всей луны. Небо возле месяца и звезды покрылись оловянной пленкой, темной в отдалении и мертвенно-белой вблизи.

Тишину потревожило высоким гулом. Самолет прошел. Звук от него был так неуместен в этом ночном безмолвии, что тайга торопливо приглушила его собою, захоронила в гуще своей без эха и отголоска. Снова мерцающее звездами небо, скопище теней на снегу и безбрежная тайга, объятая белым сном.

С угрюмой отчужденностью глядел на меня лес, а бесконечные просверки искр и беззвучное их умирание похожи были на волшебное действо, свершавшееся под покровом ночи.

Струйка совсем истончилась, и вода текла беззвучно, будто ключик не хотел обеспокоить собою ночную тишь. Тупая сахарная голова поднималась от земли, и струйка разбивалась об нее, разлетаясь в разные стороны с едва уловимым потрескиванием. Мерзло потрескивало и в лубе, а под ногами моими крошились звонкие льдинки.

— Ночка! Ночка! — шепотом позвал я, перебирая руками дужку котелка. Под пихтой шевельнулась и тут же сторожко замерла собака. С пихты сыпанулась щепотка-другая перекаленного снега, и он по-мышиному прошелестел в сухопаром малиннике... — Ночка! Ночка! Иди ко мне, иди, не бойся!

Котелок полон. Я приподнял тяжелую пихтовую лапу, и собака с подведенными боками пружинисто отскочила в сторону. Морда ее узенькая, хвост, которым она пошевеливала, густо покрылись изморозью. Собака переступила с лапы на лапу, облизнулась и тонко пискнула.

— Пойдем, пойдем, — доверительно манил я Ночку в избушку. Но она не приблизилась ко мне, а стояла, смотрела и ждала, когда я уйду, чтобы забраться под пихту, укрыться хвостом и снова греть себя дыханием своим. — Ну, пойдем же. Будь ты человеком!

Ночка не двинулась за мной. Как только я отошел к избушке, она сложила хвост крендельком, сунула нос в свежий беличий след, но тут же обернулась в сторону избушки, хвост ее разжался, она вдавила его меж ног и залезла под пихту.

Кусочек вечерней синевы, почти уже растворенной предчувствием утра, еще чуть держался в угольчатой выемке на горизонте. А земля все цепенела от стужи, небо до звонкости вылудилось уже во всю ширь, звезды мерзло светились. Синенький клок — слабое напоминание вчерашних сумерек, вчерашнего дня — вот-вот остудит, затянет бело-серебристой пленкой, и тогда уж все в этом мире возьмется искрами. Мигать они будут, пересыпаться из конца в конец по обширной и тихой земле, да ключик будет чуть слышно шевелиться в лубе. Время от времени собака Ночка сбросит с себя хвост, прислушается, ухом распознает ночные шорохи и, ничего не заподозрив худого, станет спать по-собачьи чутко до утра.

С рассветом она начнет работать, выполнять свое извечное собачье дело, помогать человеку добывать пищу и одежду.

Тут все как надо: небо с молодым месяцем, сколки звезд, леса́, объятые зимним сном, охотник, отдыхающий в избушке по-хозяйски основательно, собака, сторожащая его и покой этой тайги.

Только я здесь ни к чему. Вот так-то!

В тайге сделалось градусов под тридцать. Еще раз или два звал я Ночку в избушку, но она не шла. В какую-то минуту вдруг разом уснул я, и сколько проспал, не знаю.

Проснулся тоже разом, как от тычка. В избушке подвально тихо и холодно. Угол над изголовьем Григория Ефимовича расчертило белым, и я не вдруг догадался, что стены так быстро промерзли в пазах. Щели в дверях и у косяков успели обрасти куржаком.

Я раскопал в золе неостывшие угли, быстро расшевелил печку. Расслабленный теплом, охотник разжался весь, доглядывая последний сон. Спал он не по возрасту долго и крепко. Изнурительная работа и таежный воздух, должно быть, способствовали тому.

Утром я покинул тайгу, хотя собирался побыть у Григория Ефимовича неделю, а может, и больше. Григорий Ефимович удерживал меня не очень настойчиво. Делал он это, чувствовал я, только по доброте души своей.

1966 г.

Курица — не птица

Анастасии Андреевне Логиновой

КОЛОННА, В КОТОРУЮ ВХОДИЛО ПЯТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ поездов, неторопливо, но настойчиво двигалась за фронтом со всем своим скарбом: измерительными приборами, башмаками, шпалами, рельсами, стрелочным и сигнальным хозяйством да разномастным людом, большей частью не годным для строевой службы.

Все это хозяйство и умаянных тяжелой работой стройбатовцев возглавлял инженерный генерал Павел Аркадьевич Спыхальский, по фамилии судя, выходец из поляков. Но, кроме фамилии, всегда почему-то сконфуженного и утомленного лица да неистребимой вежливости, ничего уже в генерале европейского и тем более шляхетского не осталось.

Жил и работал Павел Аркадьевич в четырехосном пассажирском вагоне, на котором сквозь копоть еще просвечивали болотного цвета краска и черные буквы «Моск. ж. д.» да еще какие-то загадочные знаки, которыми так любят железнодорожники озадачивать технически безграмотную публику: «Гоп — стоп г. р. р. п. КПЧ ВРП мест. ПОС. 60 т. тормоз Матросова».

К вагону этому с двух сторон были прицеплены ржавыми фаркопами платформочки на дребезжащем, прихрамывающем ходу. С них торчали дулами кверху спаренные пуле-

меты, давно уже вышедшие из употребления в боевых порядках и потому отправленные в тыл. Возле пулеметов постоянно дежурили обезжиренные солдаты, попавшие сюда из госпиталей и делавшие вид, что зорко следят они за небом, бдительно стерегут генеральский вагон и все сложное хозяйство. В классном вагоне обитала еще фронтовая концертная бригада, и были там курящие певички, плясуньи, хотя уже и перестарелые, но лихие, были два баритона, один тенор, частушечник, гитарист, он же и конферансье — еврей Брамсо, выдававший себя за цыгана, был фокусник Маркел Эрастович, он же по совместительству администратор. В годы нэпа Маркел Эрастович содержал собственное заведение с биллиардом в городе Калуге, а после наловчился колоть себя кинжалом, вынимать из ноздрей бумажную ленту и делать огненный смерч, зажигая бензин во рту.

Генерал Спыхальский, хотя и руководил всеми восстановительными путейскими работами и, должно быть, успешно справлялся с должностью, так как ему выдали уже два ордена, сам, однако, тоже был в подчинении и подвергался строгой опеке со стороны проводницы Анастасии Поликарповны Корбаковой, которую, впрочем, навеличивал лишь он один, а остальные кликали попросту — тетей Тосей.

Небольшого ростика, с чуть тронутым оспой лицом и оспою же полусведенными руками, женщина эта, всю жизнь проработавшая проводницей на поездах дальнего следования, знала и понимала всякий народ, умела с ним обращаться, была с ним в меру строга и без меры насмешлива. Рожденная вятской землей, в долгих своих странствиях она так и не утратила вятского сыпучего говорка, сохранила да еще и приумножила в дни войны трудолюбие, которым отличалась еще в девках. И если уж прямо говорить, генерал и особенно концертная бригада без тети Тоси мало чего полезного сделали бы для фронта. Артисты даже из вагона не смогли бы на свет божий выйти, не говоря уже о сцене, где все видно и заметно. В пути следования оба баритона, певички и танцорши так, видать, кутили, что явились к месту назначения вовсе в непригодном виде.

Нахохотавшись вдосталь над приунывшими артистами, тетя Тося удовлетворенно заметила:

— Ладно хоть гитару с аккордеоном не пропили. — И стала соображать, как и во что одеть концертную бригаду, которая впала в апатию, не шевелясь лежала по полкам и лишь изредка напоминала о себе слабыми стенаниями, умоляя подать воды и пищи.

Из вагонных простынь тетя Тося сконструировала дамам платья и вышила их крестиком, мужчинам она изготовила брюки и куртки из одеял, а манишки — из подшторников, наказывая артистам, чтобы не входили в раж и не шибко бы махали руками, так как материя состоит из полубумажной ткани и манишки могут запросто лопнуть во время исполнения номеров.

Когда замолкла швейная машинка в купе тети Тоси, когда артисты пододелись, причесались и стали глядеться в зеркала, восхищаясь собою, тетя Тося сообщила, что все эти дни штурмовала генерала Спыхальского и добилась, чтобы артистов обмундировали, как настоящих бойцов.

— Вы гений, тетечка Тосечка! — заявил тенор и поцеловал ей ручку, а поцеловавши, тут же грянул жизнерадостно:

Сердце красавицы
Склонно к измене...

Тенор после первого же выступления перед массами променял и пропил тети Тосину одежку. Его примеру последовала и вся остальная капелла.

— Окаянные! — ругала тетя Тося затаившихся на полках артистов. — Чисто ребятишки! Хуже ребятишек! Где я на вас имущества наберусь?

Но вскоре все образовалось. Артистов одели в военное обмундирование, и, хотя оно поступило из БУ, то есть было уже в употреблении, артисты так гордились им, что пропивать форму у них не хватило решимости.

Потом какой-то московский театр пожертвовал боевой бригаде костюмы, фраки, настоящие манишки и клеенчато блестевшие туфли. Забот тете Тосе прибавилось. Надо было все это имущество чинить и гладить, а кроме того, в узле носить его на концерты и, терпеливо дождавшись конца выступления, тут же снять фраки, ботинки и прочее с артистов, увязать и спрятать в тайное место.

В пути следования концертная бригада как-то сама по себе разрасталась. Особенно запомнилось тете Тосе явление народу чечеточника и гитариста, а затем и конферансье Брамсо, как потом оказалось, фамилии, образовавшейся из Абрамсона.

Это случилось на Украине. Ночью поезд остановился в темной и плоской местности. Вверху гудели самолеты, никто не знал, наши это или чужие, и машинист на всякий случай закрыл поддувало паровоза, чтобы труба не сорила искрами и ничего не демаскировала.

Артисты спали. Генерал Спыхальский отдыхал. Солдаты на платформах крутили на звук самолетов пулеметами, но не стреляли, и кашляли в кулаки.

Тетя Тося выметала мусор из тамбура, освещая его притемненным фонарем, и забылась в работе. Послышались царапанье в дверь вагона и какой-то скулящий голос. Подумавши, что это опять какой-нибудь всеми брошенный пес, а на ее вагон почему-то всегда набредали все брошенные и обездоленные, она отбросила железную защелку, открыла дверь и чуть было не опрокинулась назад.

Перед дверью стоял нагой человек с двумя полосатыми арбузами под мышками, и по лицу его текли слезы, скатываясь на волосатую грудь, в которой запуталась сенная труха. На человеке обнаружилась набедренная повязка из холщового мешка, а больше ничего на нем не было.

— Господи! — сотворив крестное знамение и поднимая оброненный веник, сказала тетя Тося. — Ты не из преисподней ли?

— Я — Брамсо. Я — Брамсо, — наконец разобрала тетя Тося. Человек протягивал арбузы и шевелил спекшимися черными губами: — Хлеба. Крошечку хлеба...

Тетя Тося помогла Брамсо подняться в вагон, налила ему чаю, дала хлеба и услышала повесть, которой печальнее еще не слышали на свете.

Калькулятор Бердичевского кожевенного комбината Абрамсон бежал от фашистов из родного города. Он пошел на восток, чтобы вступить в ряды Красной Армии. Ему приходилось в пути прятаться, а фронт так быстро катился на восток, что изнемог он в пути без пищи и крова, и тогда «мивые советские патриоты» спрятали его на бахче, да и забыли о нем. Он честно сторожил эту проклятую бахчу, обносился, как пустынник, арбузов же до того наелся, что теперь до конца дней своих не сможет их не только есть, а и смотреть на них едва ли без отвращения сможет...

Ночью тетя Тося и пустынник накатали полный тамбур арбузов, и Брамсо определился спать в вагоне.

— Я еще одного артиста подобрала! — объявила утром тетя Тося. — Вот это уж артист так артист!..

Так Брамсо оказался в концертной бригаде, выучился отбивать чечетку, вращать печальными глазами, дубасить кулаком по струнам, а больше по корпусу гитары, и выкрикивать: «А-а-а, черелло-марелло-о-о, асса-а!..»

И когда он плясал, люди военные немели от искусства и лишь кто-нибудь задушенно выдыхивал: «Во дает, цыган!

Во бацает, подлюга!» А перед Брамсо солдатские лица крутились арбузами, и по ночам его преследовали арбузные кошмары, и если он сердился на кого — слал самое страшное проклятье:

— Шоб ты всю жизнь арбузами питався!

Тетя Тося не только обшивала, обмывала, обихаживала и приводила в потребный вид после банкетов свою публику, она еще готовила еду для генерала Спыхальского, получая отдельный для него паек из военторговского вагона-лавки. Само собой, часть этого пайка, и часть наибольшая, стараниями тети Тоси доставалась артистам, и они говорили ей за это комплименты, передаривали даренные им цветы, целовали ручку, ни разу, впрочем, не поинтересовавшись, как она все успевает и спит ли когда-нибудь.

И вот однажды, это уже где-то за Днепром, случилось небольшое, всех немало повеселившее происшествие: генералу Спыхальскому вместо мясных консервов выдали в качестве пайка живую курицу.

Тетя Тося принесла ее в вагон, пустила в туалет и нащипала крошек. Курица, совершенно не сознавая, куда она и зачем попала, приводя себя в порядок, женственно ощипалась, деловито и нежадно поклевала крошки, наговаривая при этом умиротворенно, как на крестьянском дворе. «Яичко наращивает», — заключила тетя Тося и пощупала курицу. Все оказалось в точности: курица была с яйцом и, отпущенная на пол, снова заворковала, не понимая, что через час-другой должна быть ощипана, сварена и съедена.

Вечером в вагон, как всегда голодные, но бодрые, с шумом, звоном и бряком вломились артисты, приволокли огурцов, помидоров и хлеба, стали мыться и, обнаружив в туалете курицу, пришли в умиление, разговаривали с нею, пугали гитарой. Но курица эта, должно быть, видала виды и с полотенечной вешалки, которую приспособила вместо насеста, не слетала, а, открыв один глаз, копошилась и по-старушечьи недовольно ворчала.

Подав в купе генералу скромный ужин, тетя Тося помялась и сообщила, что хотела приготовить курицу, но она с яйцом оказалась.

— Вот как! — изумился генерал Спыхальский. — А как вы узнали?

— Так вот и узнала.

Генерал озадачился. Подумав крепко, выдвинул предложение:

— Может, потом? Ну, когда она... хм... ну, когда она родит яйцо.

Утром тетя Тося услышала, как за стенкой ее купе, в туалете, что-то начало постукивать, кататься в стоковой лунке на полу. И тут же весь вагон был поднят на ноги боевым кличем курицы, в срок исполнившей свое дело.

Теплое, розоватое яйцо переходило из рук в руки, будто невиданное творение природы, и когда дошло до генерала Спыхальского и тетя Тося объявила, что вот и завтрак генералу бог сподобил, он несмело полюбопытствовал, как, мол, быть, нельзя же, мол, держать птицу в управленческом вагоне.

Тетя Тося, потупясь, согласилась: нельзя, непорядок — и, словно виновата во всем была сама, довела до сведения генерала, что курица снова с яйцом.

— Да что вы говорите?! — вовсе изумился генерал. — Не могу постигнуть, Анастасия Поликарповна, как же вы все-таки узнаете, что она с яйцом?

— А и не пытайтесь — не постигнете, — сказала тетя Тося и, как о вопросе, окончательно решенном, объявила: — Значит, курицу не режем!

Курица упорно боролась за сохранение своей жизни. Она каждый день выкатывала из себя яйцо, кудкудахтала, извещая об этом войной охваченный мир, и в конце концов отстояла право на существование. Проводница оборудовала ей гнездо за унитазом, кормила и поила ее и, развлекаясь, разговаривала с этим, по утверждению тети Тоси, совершенно разумным существом. «А еще болтают, что курица — не птица, баба — не человек!» — подвергла сомнению старинную поговорку проводница.

Артисты напрягали умственные способности, чтобы придумать имя курице. Называли ее и Джильдой, и Аидой, и Карамболитой, но курица почему-то отреагировала на Клеопатру.

Клеопатра так Клеопатра, — решил коллектив, закрепил за хохлаткой древнее имя да и баловать ее начал всевозможными подношениями. Но тетя Тося немедля осадила сердобольных артистов, утверждая, что, если курица зажиреет, — перестанет нестись и тогда боевой ее путь тут же завершится.

В который уже раз поразившись тети Тосиной проницательности, артисты подношения прекратили и вплотную занялись воспитанием Клеопатры. И скоро смекалистая курица выходила на прогулку из вагона, копалась возле насыпи,

отыскивая пропитание, а когда раздавался гудок — турманом влетала в тамбур и спешила на свое законное место.

Весь поезд, весь трудовой его народ знал и остерегал Клеопатру и вспоминал свой дом, хозяйство при виде такой домашней живности, чего-то поклевывающей, чего-то наговаривающей либо хлюпающей в придорожной пыли и дремлющей на солнце.

Первое время Клеопатра боялась бомбежек, вихрем влетала в вагон и забивалась под отопительные трубы.

— Где ты, матушка? Где ты, Клеопатрушка? — звала ее тетя Тося, когда самолеты, отбомбившись, улетали.

Клеопатра вылазила из засидки, судорожно подергивала шеей, и у нее слабели ноги. Нестись после этого она не могла дня по два и есть тоже, лишь пила воду.

Но постепенно и она вжилась в военную обстановку, не паниковала уже и, когда начинали бить зенитки, греметь разрывы, возмущенно кудахтая, прыгала и нервно целилась клювом в самолет — так бы начисто и исклевала эту нудно жужжащую муху.

Дальше и дальше на запад следовала Клеопатра, исполняя аккуратно свою службу и мирясь с дорожными неудобствами и тревогами, которые добавляли еще эти веселые люди — артисты. Только выйдет, бывало, погулять Клеопатра, только займется она промыслом — паровоз и загудит. Клеопатра немедленно снимается с земли и летит в вагон. Посидит-посидит — не трогается вагон. Выйдет в тамбур, осмотрится — и снова на землю. Артистам потеха — опять на гудок жиманут, и опять курица мчится в вагон.

— Лешие! — ругалась тетя Тося. — Вы меня с ума свели. Мало вам этого, за курицу взялись!

Похохатывают артисты, кудахтает возмущенно курица, идут поезда следом за фронтом, и тянется за ними восстановленная нитка пути меж порушенных вокзалов, станций, городов и селений, и никому неведомо, что где-то далеко-далеко, в больших и строгих кабинетах Наркомата путей сообщения, военных ведомствах, а возможно, и в самом Комитете Обороны уже бесповоротно решена участь Клеопатры да и всего ведомого тетей Тосей народа.

Генерал Спыхальский был известный не только в нашей стране, но и за кордоном теоретик и спец по железнодорожным мостам. И когда легче сделалось на фронте, а разрушенные мосты лежали в Днепре, Десне и прочих реках, возникла большая необходимость в инженерах такого профиля.

Отозвали в тыл Павла Аркадьевича для более важной работы.

Растроганно прощались с ним работники восстановительных поездов. Артисты по этому случаю раздобыли самогонки, и генерал, отроду не пьющий, оскоромился, приняв стопку бурякового зелья, а тетя Тося прослезилась и перекрестила на прощанье генерала, которого чтила за культурность и совсем не генеральское горло.

Павел Аркадьевич заглянул в засидку Клеопатры, поерошил на ней перья, улыбнулся и сказал, смущенно моргая:

— Вот ведь странность какая... — Он не пояснил ничего, но всем было понятно — генералу жалко покидать Клеопатру.

Вскоре прибыл высокий с зычным голосом человек, который уже назывался не просто генералом, а генерал-директором. Одет он был наполовину в железнодорожное, наполовину в военное. Принимая хозяйство, генерал-директор увидел беспечно копающуюся Клеопатру и ткнул в нее пальцем:

— Это что?

— Курица, — чуя надвигающуюся грозу, как можно спокойней ответила тетя Тося.

— Вижу, что не гусь. Я спрашиваю, почему она тут?

— Она яички несет, — пояснила тетя Тося.

— Я-а-ички! — рявкнул генерал, и румянец покинул его лицо. — Вы, может, еще конюшню тут разведете?

— Зачем же конюшню-то? Курица, она опрятная, места мало занимает, а вам каждый день свежее яйцо будет, — оробев, сказала тетя Тося и схватилась за последнюю возможность: — Мы к ней привыкли... как к человеку.

— Мало ли к чему вы тут привыкли! — взревел генерал. — Безобразие! Бедлам! Не железнодорожная часть, а орс какой-то, подсобное хозяйство! Цирк!..

Власть есть власть — с ней не заспоришь, — это тетя Тося давно уже и прочно усвоила. Она спрятала Клеопатру под шинель, отнесла зенитчикам и, заручившись уверением, что те не употребят ее в пищу, попросила выпустить курицу на какой-нибудь станции или возле села, где увидят они других куриц и не будет поблизости собак.

Зенитчики пытались выполнить все, как им было велено. Завидев обочь линии село, мало побитое, садами окруженное, и белые россыпи кур, они на полном ходу поезда выпустили в полет Клеопатру. Курица благополучно приземлилась и возмущенно закричала, не понимая такого к себе

отношения, и тут же увидела убегающий от нее, такой знакомый, обжитый ею зеленый дом на колесах. Хлопая крыльями, она ринулась следом и где бегом, где летом настигла вагон, взлетела, пытаясь заскочить в тамбур, но дверь оказалась запертой. Клеопатра ударилась в стекло. Ее отбросило под колеса, завертело и швырнуло на откос. Комком катилась она по насыпи, перевертываясь через голову, буся пером. Хлопнувшись несколько раз, прошла винтом по земле и утихла Клеопатра, мелькнув белым пятнышком вдали.

Тетя Тося закрылась в купе и плакала в фартук. Артистки зарылись в подушки лицами, баритоны, стиснув зубы, угрожающе молчали, тенор беззвучно рыдал, уткнувшись лбом в стекло. Маркел Эрастович хмурился и, пытаясь утешить свою труппу, говорил о каких-то безымянных жертвах войны.

— Шоб тому генералу весь век арбузами питаться! — прошептал Брамсо с ненавистью.

Тетя Тося придумала генералу казнь еще более жестокую:

— Чтоб он три года кряду ваши концерты слушал!

Неделю спустя новый генерал приказал через посредство адъютанта, этакого рыхленького, с бабьими бедрами лейтенантика, собрать имущество и переселить артистов в другой вагон — шумят больно.

— С удовольствием!

— С радостью!

— С великим наслаждением! — восклицали артисты так, чтобы слышно было генералу, запершемуся в купе. Тенор, покидая вагон, истошно рванул: «Смейся, паяц...» Но допеть ему не дал адъютантик. Совершенно потрясенный, он возник откуда-то и беззвучно открывал и закрывал рот. Но, хотя он и беззвучно это делал, все равно понятно было: «Да вы с ума сошли! Товарищ генерал работают!..»

— Мы тоже работаем, между прочим! — отшил адъютанта тенор и хлопнул дверью вагона так, что на столе генерала опрокинулся стакан с чаем и облил ему форменные штаны.

Неприютно, сиротливо и худо жили артисты в отдельном вагоне. Они уж подумывали: не продать ли им парадные костюмы и после этого, может быть, месть какую придумать, ну, например, трахнуть кирпичом в окно генеральского вагона или в программу концерта включить ехидную частушку.

Но все обошлось благополучно. Явилась в вагон людей искусства тетя Тося с сундучком и швейной машиной. Артисты догадались, что она к ним насовсем и жить без них не может. Смех и слезы, объятия и поцелуи.

— Охреди вы, óхреди! — ругалась тетя Тося. — Эко вагон-то устряпали! Мне тут месяц скрести не отскрести! — И, вовсе построжев, прокурорским тоном спросила: — Форму концертную небось успели прокутить?

Тенор встал перед тетей Тосей на колени, каясь:

— Были! Были такие черные мысли и поползновения...

— Вовремя, вовремя я уволилась, — сказала тетя Тося и стала с великой обидой рассказывать, как новый генерал вызвал из Москвы личного повара и проводником мужчину назначил, чтобы, говорит, ничего такого...

Артисты, оскорбившись за тетю Тосю, хотели тут же идти к генералу и высказать ему все, что они о нем думают. Еле остепенила их тетя Тося, а остепенив, и за дела принялась, и так вот, с этими «ребятишками», как она называла артистов, проработала она до конца войны.

Сейчас тетя Тося живет в Подмосковье, в маленьком прохладном домике. На полу там лежат веселые деревенские половики, стоит узенькая кровать с кружевной прошвой, сундучок старинный стоит в углу, а над ним икона в обгорелом окладе. На стене репродуктор, который говорит от гудка до гудка, и тетя Тося ругается, когда тот слишком уж заговаривается. Есть еще у тети Тоси две сотки земли и палисадник перед домом. И в огороде, и в палисаднике растут у нее овощи, но большую часть земли покрывают цветы, которые она никогда и никому не продает, считая грехом это тяжким. И еще одна особенность — тетя Тося никогда не держала и не держит кур, хотя все условия вроде бы для этого есть.

На стене ее домика рамки с фотокарточками. И среди них несколько тусклых, наспех и худо отпечатанных карточек военной поры. Она и с ними разговаривает, но уж никого не бранит.

Павел Аркадьевич Спыхальский долгое время слал тете Тосе поздравительные открытки ко Дню восьмого марта, к Новому году и к празднику железнодорожников. А потом открытки перестали приходить, и тетя Тося из газет узнала, что генерал Спыхальский скончался. Она сокрушалась, что не побывала на похоронах и не смогла помочь в приготовлении поминального стола. Но соседки объяснили ей, что у таких больших начальников поминок христианского вида не бывает, и она огорчилась еще больше.

Артисты так ни разу и не написали тете Тосе, хотя сулились помнить и любить ее вечно. Однако не в обиде на них тетя Тося — ребятишки ведь, какой с них спрос.

1970 г.

Яшка-лось

МАТЬ ЖЕРЕБЕНКА ЯШКИ — ВИСЛОГУБАЯ, СПРАВная кобыла Марианна. Какими путями достигло такое благозвучное имя далекого уральского села, затерянного в лесах за Камским морем, и прилепилось к кривоногой кобыле — большая загадка.

Сельское предание гласит, будто в ту пору, когда Марианна еще была жеребенком и никакого имени не имела, приезжала в село не то из Молдавии, не то с Камчатки свояченица бригадира, девица в темных очках и желтых штанах, и она-то нарекла кобылу именем, которое иначе, как с насмешкой, селянами не произносилось.

И вбила ли чего себе в голову Марианна, заимевши нездешнее имя, или, скорей всего, от природы была характерная и потому проклята она всем населением заречной деревушки, от мала до велика, потому что вела она себя так, как не подобает ездовой крестьянской лошади.

Неделями, иногда месяцами мирно возила Марианна сани с вонючим силосом либо с дровами, но вдруг на нее находило, и тогда она являлась к конюшне с оглоблями, оставивши где-то в лесу возницу, сани и все, что было в санях. Являлась и ждала, когда конюх, опасливо сторонясь, снимет с нее сбрую и поскорее загонит в отдельное стойло, потому как об эту пору Марианна норовила всех лошадей перелягать, взвизгивала по-поросячьи, крушила ногами заборки, кормушку и все, что ей попадалось на глаза.

Бывало, когда Марианна не дурит и во благополучии находится, посадит конюх ребятишек на прогнутую уместительную спину Марианны штук до пяти, и она бережно снесет их к долбленой, зеленью взявшейся колоде, что под струйкой ключа уже лет сто, а может и больше, мокнет.

Неторопливо тянет воду Марианна, сосет ее губами, а ребятишки подсвистывают протяжно, чтобы слаще пилось лошади. Попьет, попьет Марианна, голову поднимет, осмотрится, подумает и, ровно бы сама себе сказавши: «Да пропадите все вы пропадом!», брыкнет задом, ссыплет с себя ребятишек и ударится бежать неизвестно куда и зачем. Хвост у нее трубой, глаза огонь швыряют. Бежит она, бежит и в чей-нибудь двор ворвется, выгонит корову, размечет животных и птиц, устроится в стайке, съест корм и стоит, вроде бы проблемы какие решает. И не выгонишь ее с подворья. Надоест — сама выйдет, и отчего-то не воротами двор покинет, а непременно махнет через забор и отправится к конюшне, еще издали голосом давая знать конюху: мол, иду я, иду!..

Такая вот мама была у жеребенка Яшки.

И с родным дитем Марианна обходилась по-своему. То всего заласкает, зубами ему нежно всю гриву переберет, голову ему на спину положит и успокоенно дышит теплом. А то и к вымени не подпускает, не кормит его, визжит, как сварливая баба, отгоняя сына от себя.

Яшка — парень ласковый, ручной, таскается за Марианной, молока требует, внимания к себе и ласки материнской. Лезет с голодухи к другим лошадям жеребенок-несмышленыш, тычется в брюхо без разбору. А его лягают кобылы, люто скалится табунный жеребец.

Совсем замордовали Яшку лошади, и стал он от табуна потихоньку отбиваться. Сначала поблизости бродил, а потом дальше и дальше в лес отклоняться начал...

И однажды Яшка не вернулся с пастьбы домой. Его искали по лесам, по речкам, все старые покосы обошли — нет Яшки, ушел он из села и от тесной конюшни, покинул маму Марианну.

Волков в этой местности не водится, рыси есть, правда, и медведи есть. Но рысь с Яшкой не совладает. Может, задрал голодный медведь Яшку либо в колдобину провалился он и пропал?

Марианна раскаялась в своем поведении, бегала вокруг деревни, звала Яшку. Но он не откликался из лесов. Переключилась Марианна на других жеребят, воспитывать их начала, кормить молоком и ласкать зубами, из-за чего дралась с кобылами.

Летом, когда пошли грибы, ягоды и по речке стали бродить рыбаки за хариусами, в заболоченных местах обнару-

жили они следы лосихи и лосенка, но только след лосенка больше напоминал лошадиные копытца.

Как-то приехал в село лесник с дальнего кордона и сказал, что есть в его обходе осиротелая лосиха — во время грозы и ветровала придавило у нее лосенка лиственницей, и долго металась мать по округе, искала дитенка. Она-то, скорей всего, и приголубила Яшку.

Кто поверил этому, кто посмеялся, посчитавши такое предположение досужей небылицей. Ближе к осени пошли лоси на водяную траву и держались у речки. Чаще и чаще стали попадаться широкие следы лосихи и рядом, уже глубокие, четко пропечатанные, следы лошадиных копыт.

Увидели Яшку деревенские ребятишки, бравшие у речки черемуху. Он вышел из пихтача на поляну со старой комолой лосихой и остановился чуть в отдалении, изумленно глядя на людей. Лосиха потрясла головой и выпрямила уши. Яшка, с гривой и хвостом до земли, переступал сильными, пружинистыми ногами, готовый прянуть в сторону и исчезнуть в пихтаче. Он уже окреп и напоминал подростка с налившимся телом и мускулами, но еще вовсе не сложившегося.

— Яшка! Яшка! — позвали ягодники.

Угадали они его по светлой проточине, стекающей со лба до храпа из-под спутанной челки, да по желтой, былинно отросшей гриве и хвосту. Взгляд у Яшки чужой, мускулы комьями перекатываются под кожей, натянут он весь, напружинен.

— Яшка! Яшка!

Протягивая ломтик хлеба, несмело двинулись ребята к Яшке.

Яшка поставил зайчиком уши, заслышав свое имя, но, когда люди стали подходить ближе, вытянул по-змеиному шею, прижал уши, захрапел и грозно кинул землю копытами.

Лосиха загородила Яшку, оттерла его в пихтач и увела за собой.

В глуби леса, на травянистой гриве, Яшка остановился, задрал голову к вершинам лиственниц и пустил по горам протяжный крик. Был его голос высок, переливчат и свободен, как у птицы.

Преследовали Яшку колхозники долго, видели издалека не раз, но он не подпускал людей к себе, и поймать его не могли.

Осень пришла, начались свадьбы у сохатых, и лосиха покинула Яшку, ушла на угрюмый призыв быка, стоявшего

в густых зарослях ольховника, запутанного бражно пахнущим хмелем. Яшка по следу вынюхал лосиху и сунулся в спутанный хмель. Но долговязый бык с налитыми кровью глазами так шугнул непрошеного гостя, так за ним гнался и ревел, что мчался Яшка верст пять без передышки, треща валежником, ломая кусты и тонкие деревца.

Потерял и вторую мать Яшка.

Подули холодные ветры. Облетел лист. На траву стал падать белый иней. Болотца и речку в затишьях ночами прихватывало ледком. Обеспокоились птицы, в стаи сбились и с протяжными криками двинулись в дальний путь. Шерсть на Яшке сделалась густа и длинна, даже ноги до самых копыт взялись мохнатым подпушком. Так вот у боровой птицы к снегу и холодам обрастают лапы — сама природа утепляет жителей своих, и Яшку она тоже утеплила. Несколько раз еще Яшка находил старую лосиху в поределой тайге. Но она не узнавала его и не подпускала к себе. Одиноко сделалось Яшке в притихшем, сиротски раздетом лесу, потянуло его к живой душе, в тепло потянуло, и он начал спускаться с гор вниз по речке и однажды оказался у загородки, обнюхал ее — жерди пахли назьмом, конской и коровьей шерстью, а из-за поскотины наносило дымом.

Яшка двинулся вдоль загороди, часто вскидывал голову, прислушивался. Больше и больше попадалось в траве конских, коровьих и козьих следов. Трава была выедена, выбита копытами и загажена лепешками. Яшка брезгливо фыркал.

У распахнутых ворот поскотины он нерешительно остановился, втянул дрожливыми ноздрями воздух и среди многих запахов выделил один — запах сухой, приморенной травы. Он пошел на этот запах, будто по протянутой нитке, и среди поляны увидел темный, засыпанный палыми листьями зарод.

Яшка подошел к зароду, начал торопливо теребить из него сухой клевер и жадно хрумкать. За поляной, по скатистым берегам над речкою темнели зароды, много зародов, и над ними столбился дым, слышались там людские голоса, стук топора, собачий лай и много другого, нетаежного шума было там. Он тревожил Яшку и о чем-то ему напоминал.

Яшка натоптал объеди и стал спать возле сметанного клевера, а днем отходил в лес.

Здесь его снова увидели ребятишки, молча оцепили. Он стоял в кругу притихших ребятишек, длиннохвостый, мохнатый, с узкой диковатой мордой, и, чуть слышно похрапывая,

по-звериному обнажал зубы. Оробели ребятишки, отступили, и Яшка хватил в лес, умчался, треща валежником.

Но голод выгнал его снова к селу, и снова пришли ребятишки, стали протягивать ему клочья сена, хлеб. Привыкая к людям, Яшка уже не скалился, не храпел, но и еду из рук не брал.

Один раз, выйдя из-за поскотины, Яшка остановился — в ноздри его ударил вонючий запах. Долго кружился Яшка, не решаясь подходить близко к сену. На сенной объеди кто-то лежал, храпя, что-то наговаривая и ругаясь. Далекий проблеск памяти мелькнул: табун лошадей разбродно тащится за человеком, который, шатаясь, идет по полю. Он то падает, то долго поднимается — сначала на четвереньки, а потом уж как полагается человеку. Но сражает его усталость, и он валится окончательно, а лошади, рассыпавшись, пасутся вокруг пластом лежащего человека, и среди них жеребчишка ходит, любопытно вытягивает шею, слушает, как всхрапывает и ругается поверженный человек.

Яшка подошел к зароду. По запаху, по разорванной на груди рубахе, по лохматому волосу на голове узнал его — это был ругливый, шумный человек, но лошади почему-то любили его. Никто не любил, а лошади любили. Может быть, потому, что с раннего возраста привыкали к нему, пьяному, с людьми грубому. И с ними, с лошадьми, он обходился не лучше — ругал их, но кормил и разговаривал так, будто все они должны были его понимать.

Человек проснулся, сел и потряс головой. Яшка отскочил сажени на три, боком встал, повернул голову.

— Ты где шляесси? — спросил человек. — Ты что об себе понимаешь, июда? Значит, я за тебя отвечай, а ты, значит, вольничаешь? — Яшка запрядал ушами, переступил, и это не понравилось человеку. — Пляшешь, пала, танцуешь? А робить кто будет? — Тут человек вскочил с земли и с кулаками бросился на Яшку. Яшка отбежал, остановился. Человек грозил ему кулаком, ругался, а потом сказал: — Сам придешь, пала, сам! Голодуха тебя, бродягу, домой пригонит! — И ушел, хромая на обе ноги, разговаривая сам с собою. Вместе с ним уплыл и запах, тяжелый, болотный.

А назавтра исчез с поля зарод — увезли его по велению бригадира.

Одонья зарода хватило ненадолго, да и снег уже выпал к этой поре, завалил траву, приморозило заросли в речке.

Вскорости мороз ударил, взнялась первая метель.

Яшка пришел в деревню. Сам пришел. Остановился среди улицы, протяжно заржал.

— Лови его, змея! — закричал бригадир.

Прибежали люди. Яшка шарахнулся от них, но его поймали арканом, и Яшка чуть было не задавился, ошалев от страха, криков и петли, больно сдавившей горло.

Бригадир схватился за удавку, ослабил ее, и когда Яшка отдышался, водворили его в темную и душную конюшню, пнув напоследок в пах. Яшка кричал, метался в стойле и ничего не ел. Тогда бригадир еще раз громко заругался и подпустил к нему Марианну. Сын с матерью долго бились в тесном стойле, но потом привыкли друг к другу, обнюхались и ели из одной кормушки овес и сено.

С Марианной и на улицу выпустили Яшку. Он ударился в лес бежать, но в первом же овраге ухнул по брюхо в снег, забился там бешено, потом, обессиленный, осел в сугроб и запришлепывал плачущими губами.

— А-а, морда беспачпортная! В лес тебе, в ле-ес! Я те покажу ле-ес! — закричал бригадир и погнал Марианну. Та деловито спустилась в овраг и, где лягаясь, где боком подталкивая, выдворила блудного сына на дорогу.

Гриву и хвост Яшке подстригли, длинную шерсть прочесали скребком и попробовали объезжать. Многих наездников поскидывал с себя Яшка, не раз в бега пускался, но бескормная зима, снега глубокие загоняли его обратно в село.

А когда взгромоздился в седло бригадир, Яшка присмирел, не решился сбросить человека с худыми ногами. Он позволил надеть на себя узду, хотя и кровенил железные удила, пробуя их перегрызть.

— Вот так вот! — самодовольно сказал бригадир. — Я ведмедя топором зарубил по пьянке, тигру немецкую пэтээром угробил, и ты у меня еще сено возить будешь!

Однако в санях и телеге так и не стал ходить Яшка. Он побил почти весь колхозный гужевой инвентарь, и на него рукой махнул даже бригадир.

Верховой лошадью сделался Яшка. Называли его теперь на селе Яшкой-лосем, любили за красоту, но побаивались жеребца, потому как дикий его характер обнаруживал себя. В колхозном табуне он сделался вожаком, и даже сама Марианна относилась к нему с почтением.

Ездил на Яшке чаще всего главный заречный начальник — колхозный бригадир. Отправится он смотреть дальние поля либо нарезать покосы, и мчится Яшка, как полевой

ветер, стремительно, без рывков, но вдруг застопорит, остановится разом, и летит тогда ласточкой через голову жеребца выпивший и сонный бригадир. А Яшка втянет воздух с прихрапом, вслушается в тайгу, заржет длинно, переливчато — и голос его летит по горам, повторяясь в распадках, закатится в таёжную даль, замрет где-то высоко-высоко.

Кого, Яшка, зовешь? Кого кличешь? Старую лосиху? Но она бродит по тайге со своим уже дитем, ушастым сереньким лосенком. Или тайгу пытаешь — примет ли она тебя снова? Не примет, Яшка, не примет. У тайги свои законы. В тайге живут вольные птицы, вольные звери. Они сами себе добывают корм, сами себя пасут и охраняют. Им нет дела до тебя, пищу и тепло от людей принимающего.

Позвякивают удила, стучат кованые копыта о коренья. Мчится жеребец с седоком на спине, и лопочут листья над его головой, таежный, папоротный запах тревожит его нюх, урманной прелью мутит и хмелит ему голову, ветер шевелит желтую гриву и гонит, и гонит Яшку в потаенную темень краснолесья.

Все отрадней и громче фыркает Яшка, выбрасывая из ноздрей стоялый дух конюшни. Все громче стучат его копыта. Все звонче ветер в ушах. Все стремительней его бег. Ликует сердце Яшки, и кажется ему — никогда уж он не остановится, а все будет лететь и лететь по бескрайней тайге, вдыхая ее животворный дух, и все в нем будет петь, радуясь раздолью, свободе и живому миру.

Так вот и жил диковатый Яшка своей лошадиной жизнью и дожил до тянучей весны, о которой, как о плохом лете, говорят: «Два лета по зиме, одно само по себе». Та весна была сама по себе. Она взялась вымещать за осень, в которую до Дня Конституции ходили по Камскому морю порожние пароходы меж зябких, мокрым снегом покрытых берегов.

Уже в конце февраля на припеках прострелились почки на вербах и белым крапом мохнатых шишечек осыпало угревные опушки леса. В марте дыхнуло сырым ветром с юга, быстро съело нетолстый слой снега на льду моря и погнало по нему волну так, что издали море казалось уже полым. Вода быстро проела щели во льду и ушла под него. Проплешистый голый лед начал нехотя пропадать и истачиваться. Но крутыми мартовскими утренниками он делался стеклянным, и тогда катались по нему на коньках ребятишки, развернув полы пальтишек, как паруса, и гоняли ошалевшие от простора пьяные мотоциклисты, падая и увечась.

— Рано началась весна — на позднее наведет! — говорили селяне. Так оно и вышло.

Не раз еще покрывало лед на море метелями и снова сгоняло снега теплым ветром. Солнца было мало, и дожди не шли. Худой лед угрюмо, пустынно темнел от берега до берега, не давая никакого хода никому.

Отрезанные от кирпичного завода неезжалым и даже для пеших людей непригодным льдом, бедовали селяне праздники без вина. Брагу и самогонку они прикончили еще в пасху, а к Первомаю ничего не осталось.

Селяне уныло ходили толпой по вытаявшему берегу, играли на гармошках грустные песни и кляли небесную канцелярию, которая так надругалась над ними, лишив их выпивки.

Бригадир достал с полатей старый, еще с войны привезенный бинокль с одним выбитым стеклом и глядел на другую сторону Камского моря, где бойко дымил трубою кирпичный завод. Были там магазины, клуб, и люди вели на той стороне праздник с размахом, без тоски и забот.

Надо заметить, что бригадир пил каждый день, начиная с сорок второго года, с тех самых пор, как отпущен был из госпиталя по ранению. Ноги у него были обе перебиты, и он, как Чингисхан, почти не слезал с коня, разве что ночью, поспать...

К нему к такому привыкли не только лошади, но и бабы из заречной бригады и теперь пугались его трезвого, потому как сделался он мрачен, молчалив, не крыл их привычно, не орал сиплым, сгоревшим от денатурата голосом. Он и не замечал празднично одетых баб, не занимался никакими делами, а все смотрел в бинокль, и руки у него дрожали, а в глазах с красными прожилками стояла голодная печаль. И большое недомогание угадывалось во всем его большом теле и лице, побритом по случаю праздника.

Хватило бригадира лишь на половину праздника.

Второго мая рано утром он заседлал Яшку и погнал его на лед. Жена бригадира, ребятишки его и вся бригада облепили коня. Схватили бабы Яшку кто за узду, кто за гриву — не давали ему хода. Яшка, напугавшись криков, плача, многолюдства, голо чернеющего источенного льда с промоинами у берегов, храпел, пятился. А бригадир, осатанелый от трезвости, лупил кнутом Яшку, и жену, и детей да и отбился от народа — раскидал его и бросил Яшку вперед.

Яшка встал на дыбы, всхрапывая, плясал у промоины на камешнике, выкатив ошалело глаза. Но вдруг сжался пру-

жиной, хакнул ноздрями, рысиным прыжком перемахнул промоину и, вытянувшись шеей, как птица в полете, понес бригадира. Он не шел, он слепо летел по горбом выгнувшейся рыжей зимней дороге, порванной в изгибах верховой водою, касаясь ее копытами так, будто жглась дорога.

Возле дороги стояли вешки. Иные из них уже вытаяли, упали, и там, где были стерженьки деревцев и веток, проело дыры во льду. С говором и хрипом катилась вода в лунки, закруживая воронками мокрый назем, щепу и сажу, налетевшую на лед из трубы кирпичного завода.

Не шарахался Яшка от живых, вертящих пену и сор воронок, от зевасто открытых щелей с обточенным водою губастым льдом, а перемахивал их, весь вытянувшись, весь распластавшись в полете. Или бег увлек жеребца, или поверил он в опору, но ослабился, понес седока ровным наметом, скорее, скорее к другому берегу, до которого было версты три, а может и четыре.

Он не прошел и половину дороги. Лед мягко, беззвучно, как болотина, просел под ним. Таежный инстинкт сработал в Яшке раньше, чем он испугался. Яшка рванулся, выбросил себя из провала, поймался передними копытами за кромку полыньи, закипевшей под ним, зашевелившейся водою и обломками льда. Бригадир скатился через голову Яшки на лед, пополз от него, вытягивая жеребца за повод.

Яшка задирал голову, тянулся на поводу, звенел удилами, но лед, как черствый хлеб, ломался под ним ломтями. Бригадир, лежа в мокроте, все тянул и звал сиплым, осевшим голосом:

— Яшка, ну! Яшка, ну! Осилься! Осилься! Ну, ну, ну!..

Яшка крушил копытами лед, рвался на призывный голос человека, выбрасывал затяжелевшее от мокроты тело свое наверх. Он, будто руками, хватался копытами за лед, скреб его подковами, храпел, и что-то охало в нем от напряжения и борьбы. По-кошачьи изогнувшись, он выполз из полыньи до половины. Еще одно усилие, и выбрался бы Яшка из полыньи, но в это время свернулось и упало ему под брюхо седло, брякнув по льду стременами. Яшку сдергивало в воду. Скрежетали, цеплялись яростные копыта за кромку полыньи, резало льдом шерсть, кожу на ногах, рвало сухожилья. Лед свинцово прогнулся и осел под Яшкой. Он ухнул в холодное кипящее крошево с головою. Его накрыло всего, лишь желтая грива всплыла, и рвало ее, путало резучими комьями льда.

Над Камским морем, над Яшкой, бултыхающимся в полынье, над бригадиром, который размотал и сбросил ременный повод с кулака, чтобы и его не стащило в ледяной провал, вертелся и пел жаворонок. Метались далеко люди в цветастых платках, и зеленовато-серым туманом качался косогор за исполосованным вешними ручьями глинистым яром.

Яшка еще раз, последним уже усилием, выбил себя из воды, взметнулся пробкою и закашлял, выбрасывая ноздрями воду и кровь. Бригадир уже не звал его, не кликал. Он отползал от Яшки все дальше и дальше и, безбожный, давно не только молитвы, но и все человеческое утративший, повторял сведенными страхом губами:

— С-споди, помилу... с-споди, помилу...

Яшка увидел мерцающий вдали берег с затаившимся снегом в логах, темнеющий лес по горам, услышал жаворонка и заплакал слезами, а заплакав, крикнул вдруг пронзительно и высоко. И услышал издали, с берега:

— Я-ашенька-а-а!

Вода тянула его вглубь, вбирала в себя, подкатывала к горлу, сдавливала дых и пошла в губы, подернутые красной пеной, в оскаленный рот, хлестанула в ноздри и вымыла из них бурый клуб крови.

Тяжко упала узкая голова жеребца, разом, будто перержавевшая, сломилась его шея. Вот и круп залило, и спину одавило водой, комья разбитого льда выкатывались наверх, и крутило их в полынье.

В глазах Яшка унес далеко синеющий окоем леса, качающегося по горам, голый берег с пробуждающейся травой и рассеченное облако, в которое ввинтился жаворонок, — все ушло к солнцу и расплавилось в нем.

Еще какое-то время желтела мокрая грива на ноздрястой пластушине льда, еще кружило воду и мусор в полынье — это в последних судорогах бился жеребец Яшка, погружаясь вглубь.

Сползла, стянулась со льдины и желтая грива. Мелькнула ярким платом и исчезла, оставив на льду клочья обрезанных волос.

Наверх мячиками выкатились и лопнули пузыри, взбурлило раз-другой, и все успокоилось, стихло, и запорошенная полынья сомкнулась над Яшкой.

Все так же бился, трепетал жаворонок в небе, светило ярко солнце, рокотали и мчались из логов снеговые ручьи и курился дымком лес на горах. А на берегу с визгом, плачем, с мужицкими матюками били бабы бригадира. Мок-

рый, драный, он катался по земле, выливая воду из сапог, и взывал, как о милости:

— Убейте меня! Убейте меня!..

Жена не дала забить его насмерть, отобрала мужа, которому уж и не рада была и намаливала ему смерти. Но вот как дошло до нее, до смерти-то, она устрашилась, ползала на коленях по земле, молила освирепевших баб, заклинала их и успевала вырывать из рук дреколье, какое поувесистей.

Она спрятала избитого мужа на сеновале и носила ему туда еду, покудова село не успокоилось.

Через неделю сошел-таки лед с Камского моря, осел, затонул, растворился. Началась весенняя страда, и бригадир, снова пьяный, на другой уже лошади, ездил по полям заречным императором, крыл сверху всех по делу и без дела и, если ему напоминали о Яшке, скорее скрывался с глаз долой, грозясь и стегая лошадь.

А Яшку вынесло верстах в пяти ниже села на песчаный обмысок. Над ним закружились вороны, стали расклевывать его. Обмысок, на который вынесло Яшку, был возле пионерлагеря, и когда готовили его к сезону, то закопали дохлую лошадь в песок, а вскорости гидростанция начала копить воду, сработанную за зиму, и обмысок покрыло вместе с Яшкой водою, и он навсегда исчез от людей.

Бригадира отдали под суд, но на вызовы в суд он не являлся: то был пьян, то занят, и так вот проволынил лето.

Осенью, к юбилею нашего государства вышла амнистия, и дело о погублении коня Яшки-лося было закрыто.

1968 г.

Индия

Евгению Носову

ОДНАЖДЫ В ГОРОДЕ КАНАВИНСКЕ, ГДЕ РОДИлась и жила Саша Краюшкина, случился пожар. Сгорел самый большой магазин города, с новым, только еще входившим в обиход наименованием «Универмаг».

Четыре дня милиционеры никого не допускали на пожа-

рище, кроме городского следователя и вызванного из области человека — прокурора по особо важным делам, как утверждали канавинцы. После четвертого дня в ночь прошел дожь и смыл с пожарища серый прах, сажу, обнажив черные, баней пахнущие головни.

От места, где был канавинский универмаг, повеяло холодом, древностью, тленом, и у всех зевак разом пропал к нему интерес. Милиция перестала остерегать пожарище, следователь и прокурор по особо важным делам заперлись в кабинете — думать, почему произошло такое бедствие в городе Канавинске: злодейский был тут умысел или просто так загорелось?..

А на пожарище, как только исчезли городские зеваки и порядок соблюдающие милиционеры, грачиной стаей слетелись канавинские ребятишки.

Они рылись в темных, таинственных руинах упоительно, со страстью, вынимая из богатых недр сгинувшего универмага разное добро: то висячий замок без ключа, то конек-снегурочку, то скобу дверную, то какую-нибудь вещь, до неузнаваемости преображенную огненной стихией. Тогда все ребятишки сходились в кучу и разнобойно гадали — что это за вещь и каково было ее назначение при жизни? Согласие не всегда сопутствовало ребятам, и они разрешали спор и уточняли истину древним человеческим способом, иначе говоря — дракой.

С каждым днем ребятишек на пожарище прибавлялось и прибавлялось, а добро, скрытое в темных, глухих недрах, убавлялось. Добытие его делалось все более увлекательным и азартным. Барачные ребята, привычные к табунности больше, чем дети из индивидуальных домов, объединялись в самостихийные артели и работу вели сообща. И надо заметить: коллективам чаще сопутствовал фарт, нежели старателям-одиночкам. Так, одна артель, сплошь состоящая из братьев Краюшкиных, раскопала полупудовый ком спаявшихся шоколадных конфет. Никто не возьмется описывать чувства, охватившие тружеников-ребят при виде такого редкостного самородка.

Эта находка удвоила и утроила силы и устремления ребят к дальнейшему труду и поиску.

Из девчонок на раскопки ни одна не допускалась. Лишь Саше Крюшкиной дано было молчаливое согласие копаться в отдалении, в уголке пожарища, безо всяких, конечно, надежд на успех. Такая льгота выпала Саше по той простой причине, что на пожарище копались пятеро ее братьев, пар-

ней задиристых, решительных и очень привязанных к единственной своей сестренке. Она всегда и везде была с ними, умела хранить любую тайну и так влилась в мальчишеский коллектив, что кинуть ее одну было для братьев уже немыслимо, да еще к тому же в таком увлекательном и серьезном мероприятии, как раскопки пожарища.

Саша всегда понимала свое положение в этом мире, неукоснительно соблюдала требования братьев — мужчин, и, коли ей отвели место для раскопок в отдалении и одиночестве, она там и копалась, не нарушая дистанции.

За время раскопок Саша нашла лишь одну пуговицу, которая немалыми стараниями была приведена в блестящий вид, и на ней обнаружилась звезда. Саша и такую находку посчитала удачей, ведь как-никак район ее раскопок был в стороне. А находкам и успехам братьев она не уставала радоваться. Братья принесли из дому лопаты, вели поиск с размахом и основательностью. В свой сарай братья Краюшкины снесли уже немало ценных предметов, в том числе и железную кровать, сложенную спинка к спинке.

Кстати, ком шоколадных конфет братья разделили меж старателями по совести. Они отсекли лопатой одну половину и отдали ее мальчишкам, жаждущим своего фарта на руинах. Другую половину конфетного самородка отнесли домой, и вся семья Краюшкиных в течение нескольких дней питалась конфетами, употребляя их вприкуску с хлебом. В трудовой семье Краюшкиных до этого случая никогда шоколадных конфет не бывало, и потому отец и мать похвалили своих удачливых ребят, но просили старших, уже учившихся в школе, не забывать об уроках и по возможности меньше рвать и пачкать одежонку.

Проходили дни, недели. Прошел месяц — и поредела армия искателей. Они докопались до грунта, перевернули головни, кирпичи, золу, они истощили залежи настолько, что утратили к работе интерес. Редко-редко печальные руины погибшего универмага, взявшиеся по краям травою, оглашались теперь победными воплями.

Смолкли голоса мальчишек на пепелище, затухали разговоры среди взрослых, стиралось в памяти событие, взволновавшее канавинцев. Такая скоротечность в памяти жителей города объяснялась тем, что взамен сгоревшего универмага началось сооружение нового и — канавинцы не без оснований утверждали — куда более мощного. Он воздвигался из кирпичей, с тремя квадратными колоннами у входа и смахивал на Дворец культуры.

Братья Краюшкины последними отрешились от поисков. Пожарище посещали они теперь изредка и не с корыстной целью, а чтобы поиграть в сыщиков-разбойников. Но Саша никак не могла отвыкнуть от печального места и еще нет-нет да и приходила сюда, и не столько уж покопаться, сколько послушать тишину с истаивающим в ней горьковато-угарным запахом головней, с шорохом осыпающихся комочков земли, семян лебеды, полыни и подземельным мышиным писком.

Жизнь не угасла совсем, она только скрылась в руинах и медленно пробуждалась от душного угарного сна. Слушала девочка эту осторожно просыпающуюся жизнь и щемливо думала о чем-то своем, печалилась, прижавшись за черным бревном. Иногда даже слезы закипали в тихой, сжавшейся от горя душе девочки, и ей казалось тогда, будто внутри ее, как на живом дереве, вырастают иголки и по ним сползают тянучие капельки смолы.

Домой Саша возвращалась притихшая, усталая, и все в содомном, шумном краюшкинском жилье поражались ее возрастающей доброте и покладистости и без того мягкого характера.

Пепелище между тем все гуще и гуще зарастало беленою, жалицей, лопухом, и две розовые ракеты кипрея — вечного спутника пожарищ — запоздало взлетели над ним. В бурьян и густой чертополох, сорящий шишками и пухом, начали ходить собаки, кошки и козы, настырные городские козы с шаманьими глазами.

Осенью, когда уж совсем заглушило бурьяном-саморостом бугор, где прежде стоял универмаг, появился трактор, начал выворачивать и растаскивать обгоревшие бревна петлею стального троса, обнажая голеньких мышат и вяло извивающихся ящерок, упрятавшихся на зиму в сухие головни.

Саша помчалась к пожарищу и, как только прибежала к нему, сразу увидела под одним вывороченным бревном присыпанное землею старое птичье гнездышко, а рядом с ним что-то в бумажной обертке. Саша соскочила в ямку, схватила сверточек и хотела уж по-мальчишески закричать: «Чур на одного!», но не закричала, а застыла с открытым от дива ртом.

С блестящей, хрусткой, чудом сохранившейся обертки смотрел на Сашу синеглазый красавец в желтой чалме и в красном плаще. А за его спиною зеленели развесистыми ветвями желтоствольные пальмы, и меж ними куда-то крался

желтый усатый тигр, похожий на краюшкинского домашнего кота-мураша.

— Индия! — прошептала девочка, глядя на картинку, и понюхала сверток. От него дохнуло на Сашу таким ароматом, такой запашистою струей ударило в нос, что девочка задохнулась даже. Прижала Саша сверток к груди, зажмурилась от восторга и, теперь уже совершенно уверенная, что так вот только и должны пахнуть дальние, загадочные страны, повторила: — Индия! — И со всех ног бросилась домой, еще от ворот крича: — Мама! Папа! Ребята! Я Индию нашла!..

В сахаристо-белой обертке оказалась горбушка туалетного, малинового цвета, мыла. Это мыло Сашина мать заперла в сундук и выдавала его ребятам умываться только по праздникам и во время школьных экзаменов.

Обертку от мыла Саша взяла себе, и не знала она приятнее занятия, чем разглядывать картинку с принцем, пальмами и тигром. И всякий раз девочка находила на картинке этой что-нибудь новое: то звезду на чалме принца, то птичку или орех в ветвях пальмы. Когда все предметы на картинке уже были отысканы и изучены, и даже буквы запомнились по их форме, и девочка, еще не зная азбуки, бойко читала: «МЭЫЛЫО», она начала придумывать и воображать те предметы, те деревья, тех птиц и зверей, какие могли, по ее разумению, обитать в сказочной стране Индии.

Саша никогда потом не могла вспомнить, почему именно Индия воображалась ей при виде картинки от мыла. Может быть, она слышала об этой стране что-нибудь от старших братьев, иногда читавших книжки вслух; может, запало в память увиденное в кино, куда ее брали с собою раза два братья же; а может, приснилось девочке, склонной к задумчивости, что-нибудь сказочное со словом Индия.

Саша подросла, стала учиться в школе, и как-то по географии, а затем и по истории стали проходить в классе Индию. Но странное дело — учебниковая Индия, о которой она вынуждена была слушать и рассказывать на уроках, нисколь не волновала Сашу и никакого касательства как будто не имела к той расчудесной стране, какую девочка открыла для себя и с любовью хранила в душе.

После седьмого класса родители Краюшкины устроили Сашу ученицей в городской узел связи. Братья принесли из сарая заржавевшую кровать, найденную ими на пожарище, и поставили ее в угол средней, большой комнаты. Кровать сама по себе не стояла, поэтому братья связали ее медной

проволокой, ровно больного человека бинтами, отец покрасил кровать голубой краской, наведя на спинках белые полоски, будто на шлагбауме. Саша прибила над кроватью коврик, сделанный ею же из ромбиков, обтянутых разноцветными тряпочками; заправила аккуратно, даже чуть кокетливо постель байковым одеялом и простыней с кружевной прошвой; над изголовьем прикрепила гвоздиками картинку — Индию — и стала жить дальше.

Через какое-то время Сашу из учениц перевели в телефонистки, она стала приносить домой зарплату, и сразу объявились в ней солидность и строгость самостоятельного человека. Старший брат Саши, работавший на прокатном стане, один раз узнал ее голос в телефонной трубке и сдуру обрадованно закричал: «Але! Шурка!» Саша оборвала его, отчетливо и строго заявив: «Никакой тут Шурки нет! Пятый слушает!»

К празднику Первого мая Саша сделала в парикмахерской завивку, и братья поначалу даже не узнавали свою сестренку, всегда подстриженную под мальчишку, с прямой светлой челкой. Они подтрунивали над нею, но вместе с тем прониклись какой-то, самим им непонятной почтительностью к Саше, и отношения у них сделались несколько отчужденными.

А тут обнаружилось еще одно немаловажное обстоятельство: за Сашею начал ухаживать техник из районного узла связи. Человек при форме, начитанный и культурный. Мать взялась стежить двуспальное одеяло, сатиновое, с шелковым верхом, а Саша в неурочное время строчила оконные шторы, сшила себе два новых платья: одно с желтыми цветами, другое темно-голубое, все это убрала в чемодан, недавно приобретенный в новом канавинском универмаге с колоннами.

Парни догадались, что Саша теперь не долгий житель в краюшкинской большой избе, что уведет ее техник-связист в другую какую-то жизнь, но до конца не могли поверить в это и представить сестренку в другом дому не умели. У них было такое ощущение, будто их обирают среди бела дня и они ничего не могут предпринять в защиту себя. Чувство обиды и беспомощности своей братья маскировали разными колкими шутками и намеками, чем приводили Сашу в большое смущение и конфуз.

Но мать не успела достежить красивое двуспальное одеяло, и Саша не вышла замуж. Летом грянула война с фашизмом, и сразу же трое старших братьев Саши, а вскорости и

техник-связист ушли на фронт — сражаться с врагом нашей земли.

Война была большая, долгая и кровопролитная. Много людей требовалось на фронт, и через год после начала войны мобилизована была на позиции и Саша.

Два младших брата Саши также покинули родной дом следом за старшими братьями и сражались: один — танкистом, другой — в зенитчиках. Саша уходила из дому последней. В растерянно-притихшем просторном доме оставались только мать и отец. Понимая, как тяжело жить в таком пустоуглом, немом доме, Саша посоветовала отцу с матерью пустить на квартиру семейных эвакуированных, чтоб не заела их до смерти кручина.

На войне Сашу заставили работать по специальности — связисткой. Она хорошо работала и всегда старалась выполнять быстро распоряжения командиров и старших начальников. Когда обрывалась связь, Саша переживала, может быть, больше, чем командир артиллерийской батареи, в которой она воевала. За хорошую боевую работу и многократное исправление связи под огнем Саше выдали две медали и обещали орден.

Саша была невеликого ростика, проворна и сноровиста в деле, снова стриглась она под мальчишку, ходила в гимнастерке и брюках, считая, что при боевой работе и при множестве мужских глаз брюки как-то ловчее и удобнее, чем юбка.

Техника из районного узла связи — жениха Саши — тем временем убили на фронте, и одного Сашиного брата тоже убили, а двое из трех первых братьев пропали без вести еще в начале войны и, верно, мыкали горе в плену.

И без того задумчивая и несловоохотливая, девушка от печальных вестей и от тяжелой фронтовой жизни сделалась вовсе молчаливой, суровой даже, и решительно осаживала военных парней, если они пытались разговорить ее, проникнуть в сокровенные девичьи думы и поухаживать за нею. Лишь иногда, в редкие минуты фронтовых передышек, командир батареи замечал мягкое выражение на лице строгой связистки и в задумчивых глазах ее — теплую и долгую улыбку, и казалось ему: не на передовой, не на позициях была в то время девушка, а где-то далеко-далеко. Комбат один раз осторожно полюбопытствовал у связистки, которую он по-отцовски нежно любил и жалел: чему это она улыбается и о чем мечтает?

— Я, товарищ капитан, Алексей Васильевич, думаю об Индии, — охотно отозвалась девушка.

Ответом этим привела она в замешательство комбата и чуть даже испугала его. Расспрашивать Сашу комбат больше ни о чем не решился, а посоветовал ей подмениться и выспаться как следует.

Шли тяжелые зимние бои под Винницей, мало людей и пушек осталось в батарее, где трудилась связисткою Саша. Но все равно батарея билась с врагом, крушила его снарядами, и все равно связь артиллеристам нужна была днем и ночью.

В один из боевых дней, уже под вечер, фашисты произвели артналет по наблюдательному пункту Сашиной батареи, и осколком перебило связь. Саша вышла на линию, проложенную вдоль единственной улочки украинского хутора, разбитого войною и погребенного снегом. Линия вся была под сугробами, потому что на земле мела буря и шибко крутило снегом везде и всюду.

Утопая по грудь в сугробах, Саша выдергивала провод наверх и так постепенно дошла до порыва. Один конец провода Саша повесила на сломанное у дороги дерево и стала думать — как найти второй? Она уже была опытная связистка и всегда примечала места, где прокладывалась линия связи. Она принялась копаться руками и ногами в сугробе у пошатнувшегося тына и зацепила валенком второй конец провода. Однако соединить разрыв никак не могла. Снегом одавило линию, и провода не стягивались, не хватало у Саши сил подтянуть один конец к другому, а запасного провода она в спешке не взяла с собою. Артналет был близкий, и Саша выскочила из блиндажа налегке, в одной шинели, с одним только телефонным аппаратом. Телогрейка с потайным карманчиком, где были фотография техника-связиста, родительские письма и красноармейская книжка, тоже остались в блиндаже.

Девушку продувало насквозь, и она корила себя за то, что так вот легкомысленно выбежала на линию, надеясь скоро сделать нужную работу. Но все же она обмозговала обстановку и нашла выход из создавшегося положения. Попрыгала Саша сначала на одной ноге, потом на другой, погрела самое себя, подула на руки и принялась отдирать от повалившегося огородного тына кусок колючей проволоки, прибитой к ноcкам штакетника еще в мирное время, должно быть от воров.

Пока она вставляла кусок колючей проволоки в разрыв телефонной линии, по хутору стали сильно бить фашистские минометы. И одним разрывом подхватило Сашу, подбросило вместе со снежным сугробом вверх. Потом ее уронило наземь и ровно бы ударило животом обо что-то острое. Саша попыталась выпростаться из-под снега, но мины еще падали вокруг, и разрывами закапывало девушку глубже и глубже. Она барахталась в снегу, однако сил ее никак не хватало раскопать самое себя, и Саша стихла, унялась, сделалось ей тепло, покойно, и боль в животе как будто остановилась.

Девушку потянуло в зевоту и в сон.

И сразу же, как только закрылись Сашины глаза, она увидела черный от копоти дом за железнодорожной линией на склоне уральской горы, голубую кровать с белыми, как у шлагбаума, полосками, а над изголовьем, на беленных известкою, тесаных бревнах — страну Индию.

Голубыми глазами глядел на нее из сумрачного уголка симпатичный и родной до последней кровиночки принц в красивом плаще и желтой чалме, на которой ослепляюще остро светилась алмазная звезда. Пальмы качали ветвями за спиной принца, и от пальм приятным холодком опахивало бедро Саши, где разгоралась пригоршня углей и огонь подбирался к сердцу. Зашлось в частом, напряженном бое сердце и вот-вот могло лопнуть от непосильной жары и работы...

По разбитому хутору медленно ехал в повозке старый солдат. Ехал он, ехал и увидел на дороге припорошенную снегом солдатскую шапку. «Раз есть шапка солдатская, значит, и боец-красноармеец должен тут где-то быть», — рассудил повозочный. Он остановил лошадь и начал озираться по сторонам и ничего не обнаружил. Только над сугробом, на частоколине тына, висел телефонный аппарат в деревянном сундучке, почему-то присоединенный к колючей проволоке, и трубка его болталась по ветру. «Раз есть телефон, значит, и боец-связист где-то здесь», — решил старый солдат и принялся копаться в сугробе.

— Ах ты, милая ты моя! — дрогнул голосом старый солдат, раскопав в снегу девушку. Теплой ладонью вытер он с лица ее снег и надел на беловолосую стомленную голову девушки красноармейскую шапку. После этого солдат бережно поднял девушку на руки и снес в свою повозку, набитую соломой. Здесь он осмотрел связистку попристальней и на

животе ее, под шинелью, нашел большую рану, сочащуюся кровью.

Солдат приступил к делу первой необходимости — начал перевязывать рану своим единственным пакетом, наговаривая при этом для утешения:

— Ничего́, ничего, сейчас я тебе первую помощь окажу, а после и в санроту доставлю, не бойся, не брошу. Откудова будешь-то?.. Молчишь? Ну, по́молчи, помолчи, сохрани силу. Понадобится еще... К свадьбе понадобится. До свадьбы зажить должно, непременно зажить...

То ли от голоса солдата, от холода ли, девушка на минуту пришла в сознание и сразу схватила расстегнутые брюки галифе и стала слабо отбиваться, отталкивать мужицкую руку от нагого и живого еще девичьего тела.

Солдат сломал слабое сопротивление девушки, не прекращая при этом перевязки и толкуя убедительно, что он, слава те господи, уже двух дочерей определил, замуж выдал за хороших людей в городе Барнауле, и потому не может он смотреть на девичье тело иначе как отец и никаких крайних умыслов и скоромностей иметь по отношению к ней тоже не может, тем более при таком бедственном и кровавом случае.

Закончив перевязку, запасливый старый солдат влил из своей фляжки глоток воды в жарко и прерывисто дышащий рот девушки и отвернулся на секунду, вытирая снег рукавицею с волосатого лица.

— Таких-то вот... Таких-то зачем же?.. — сказал он в бушующий снежной бурею мир, сморгнул с затяжелевших ресниц мокро и высморкался в жесткую полу шинели. После всего этого старый солдат загородился от ветра, изладил непослушными пальцами цигарку в полдивизионную газету величиной, высек огня, закурил и тронул свою лошадь, тоже старую и унылую.

Все так же мело, завевало кругом, было убродисто, и лошадь тащилась по рыхлому снегу неходко. Снежную муть и тучи наискось прошивало строчками трассирующих пуль, и с припоздалостью слышался торопливый, нервный стук пулеметов.

Время от времени ахали то далеко, то близко разрывы, где-то надрывно, по-звериному рычал буксующий танк, заунывно дребезжали и пели порезанные провода на пошатнувшихся телеграфных столбах.

Война не утихала даже в такие часы, когда, по земным законам мирного времени, утихало и пряталось все живое

и всякий путник, застигнутый в поле, в лесу ли, спешил скорее на огонь, ближе к жилью, к человеку. И скотина, хоть конь, хоть корова, стояла в парном хлеве и умиротворенно дремала, думая свои лошадиные или коровьи думы.

Раненая девушка что-то забормотала. Повозочный очнулся от глубокой задумчивости, почмокал губами, высасывая дымок из мокрой, притухшей цигарки, придержал лошадь. Обернувшись, он увидел, удивленный, что у девушки открылись глаза и она, улыбаясь, глядит мимо него, мимо этой снежной дуроверти. Солдат наклонился ухом к девушке.

— Здравствуй, Индия! Здравствуй...

Кому еще говорила девушка: «Здравствуй!» — солдат уже не разобрал, голос ее отошел, закатился вовнутрь, и только протяжный и облегченный вздох достиг слуха старого солдата.

Он стянул со стриженой головы шапку и понуро стоял какое-то время возле повозки, скорбно наблюдая, как засыпает снегом глаза девушки, остановившиеся на каком-то, ей лишь ведомом радостном видении.

Возле дороги были свежевыкопанные щели. В одну из них старый солдат опустил тело девушки. Он прикрыл ее вместе с лицом шинелью и закопал землею, смешанной со снегом.

В ближнем палисаднике качались на ветру дудки каких-то цветов и сникший до снега черномордый подсолнух. Повозочный побрел по сугробу в палисадник, намял семян цветов и вышелушил горсть подсолнечника. Все это семя он широким взмахом сеятеля раскинул по уже подернутому белой пленкой бугорку, чтоб не затерялась могила девушки в большом, охваченном войной мире, и уехал по своим военным делам в беснующийся снежной заметью вечер.

Зимою же война продвинулась из этих мест дальше, на запад, а летом возле дороги на солдатском окопчике взошли цветы мальвы и желтоухие, тощие подсолнухи.

Если ныне случается редким заезжим людям бывать в этом украинском хуторе и если они поинтересуются, кто покоится при тихой сельской дороге, хуторяне отвечают: солдат по фамилии Индия.

Фамилию эту странную хуторянам сказывал повозочный, что доставлял к передовой боеприпасы на старой лошади зимою сорок третьего года.

1965 г.

Передышка

Рассказ фронтовика

ВЫ СОВРЕМЕННУЮ ПЕСНЮ ПРО КОЛЬЦО И ПРО любовь слыхали?

Глупая, надо вам заметить, песня, и, мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности эти вот слова: «Нет ни начала, ни конца...» Брехня! Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, — есть начало, и конец есть!..

В сорок третьем году во время летних боев мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толклись на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен, деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой.

Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах, есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка, с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно.

Но как «ни болела — померла», — говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились «вперед на запад», — как тогда шутили вояки.

Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы, скорей всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева.

Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного артдивизиона и взвод этот: связистов, разведчиков, топографов, вместе с катушками, телефонами, буссолью,

стереотрубой, планшетом и прочим скарбом — возил по фронту на отечественном «газике» этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звания за умелость и талант — Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком, — такой он был классный шофер. «Где «студдер» не везет, трактор буксует и олень не идет — там Андрюха Колупаев пройдет!» — говорили про него и через это умение шибко доставалось Андрюхе. «Газик», к которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно, и, когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли: вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль «За боевые заслуги» и новую трофейную машину.

Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой как много километров! Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось и в завалившихся глазах обозначилась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли: «Не заболел ли? Дома все ли в порядке?.. Может, письмо худое получил?..»

«Отстаньте от меня!.. Отцепитесь!.. Чего привязались?!» — надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова.

Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления.

Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди и попроницательней, и вострее его — и скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат — зрящий на три метра в землю, а может. и дальше!

Андрюха Колупаев влюбился!

Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую господь бог ниспослал человеку этакое чудо!

Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там! Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не об-

наружили! У радиатора «газушки» вертел заводную ручку и матерился на весь Украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик.

О любовь! Ты и вправду что слепа! У меня вот, взять, шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал — он у меня коромыслом! Зато глаза — как у артиста Дружникова — задумчивые! Внешность — хоть куда! Но завлек я кого-нибудь? Завлек?..

Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусленным химическим карандашом было выведено: «Коханый мий!» Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину.

«Коханый мий!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов двадцати двух — двадцати трех.

Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях, то-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала: «Будь ласка, Андрий Степанычу, будь ласка!..»

Лицо Андрюхино так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу.

Фасонит Колупаев Андрюха, задается! Но у него ж в забайкальском совхозе имени Десяти замученных красных партизан имеются жена и двое детишек! Забыл? На-по-о-омним! Рассказывай, голубчик, как и что было, детально, досконально рассказывай, иначе...

— Не могу, ребята! Хоть режьте! Любовь промеж нас зачалась гибельная!.. — и грустно поведал Андрюха, как тоскует он об Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул: — Очень, ребята, хорошо любить! Вроде бы и мученье, а всé одно хорошо!..

Поняли мы его — не чурки! — как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились

тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью.

Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха залисил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать: спать можно, пылью не душит.

Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет «жестокого оскала войны», где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где «только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают...» и горько пахнет черным порохом, которым мы «овеяны». Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных «симпатий», я научал тереть бумагу о закопченный котелок либо обжечь по углам. То-то бедные довчонки в тылу переживали, получив «опаленные огнем» письма!

Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви, хочет, чтобы я написал «хорошее» письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней, бывало, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему: с заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал.

Если бы я знал, чем все это кончится!..

Но никому неведомы девственные тайны любви. Оч-чень путаная эта штука — любовь! Она, как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи ты господи!..

Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. «Балаболка ты, говорит, балаболка!..»

Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная! Куда что иделось?..

Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас.

Но получилось, как в худом солдатском анекдоте: Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени Десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот.

Из хутора Михайловского письма прекратились, а из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много: и насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы, и по всяким разным причинам. И правильно! Кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он, командир, — отец над всеми и, значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, и не надо терять такое качество и нынешним командирам.

Разные письма бывали.

Помню, одна бабенка спрашивала в письме об своем муже: «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил:

«Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение».

«Где тот госпиталь? — спрашивает бабенка в другом письме. — Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа».

«Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», — снова вежливо отвечает майор.

«Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы!..»

Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме, — такие слова!.. Ах бабы, бабы! Дуры вы, бабы! Право слово, дуры!

Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского Совета. В конце письма он присобачил печать, поставил «Верно» и учинил размашистую принципиальную подпись.

Это уже документ! На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили: «Мы тут работаем не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма! А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь...» (тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся...)

Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что, если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени Десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему тире Сталину!

Молодой щеголь майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком в сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул:

— Вы чего улыбаетесь?! Такой же бабник! Такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!..

Я хотел обидеться на «бабника», да не посмел и поскорее вызвал ЧМО — такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровывалась она точно: чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на ЧМО бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху, а я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос: «Шоб ты сказылась, худа скотыняка!..» На кого-то покрикивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!..» Кто получит? чего получит? — я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг.

«Живут же люди, ей-богу!» — Я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майору-те што останется?..» Главная цель Жвакина на войне: потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая.

— Чего заныл-то? — услышал я Андрюху Колупаева.— Достать надо уметь, на то ты и старшина!

Что ответил старшина — я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан:

— Ну, каку холеру надо? Колупаев слушат!

Мне, простуженному вконец, обсопливевшему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение — живет как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится... Лучше бы за адресами ладом следил!

— А ничего! — сказал я. — Иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пунктик... И тебе тут чего-то даду-у-ут! — пропел я на мотив популярной до войны песни: «Мама, мама! Мне врач не поможет — я влюбился в девчонку одну...»

Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.

— Есть ковды мне ходить-расхаживать! У меня машина, понимаешь!.. Мне по картошки ехать надо, понимаешь!.. Чтобы вы проворней воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь!..

Я держал трубку телефона на отлете — и по блиндажу разносилось его запальчивое «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдения, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой.

— Товарищ двадцать пятый говорить будут!

Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту — чего-то соображал:

— Колупаев? Немедленно! Слышишь, немедленно ко мне!..

— Есть!.. — пискнул Андрюха и добавил: — Есть немедленно...

У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает — и вовсе под руку не попадайся!

— Вот так-то, товарищ Колупаев! — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать — зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно?!

— Слышь? — заныл Андрюха.

— И не спрашивай! И не приставай! Военная тайна!..— отверг я его домогания и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу «Пушка», поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и, как глухарь на току, повторял: «Тэкс, тэк-тэк!..» — должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно.

Я уже по всем батареям прочирикал последние известия. Дивизион сладострастно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали: не появился ли на передовой влюбленный водитель «газика»?

К пехоте кухня приехала; дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный

батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот. С дальних телефонных линий по индукции доносило: «Но-о-! А он чё? Х-ха-ха-а!..»

Немцы и те чего-то примолкли.

Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру:

— Прибывает!

И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям: «Внимание!» — как перед артподготовкой.

Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, и без того уж застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному:

— Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!

Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго, с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал — чего будет?

— Боец Колупаев, — наконец выдавил командир дивизиона и повторил: — Боец!

Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, — ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами — держись без поддержки масс, раз ты такой гордый!

— Иди-ка сюда, боец Колупаев! — поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонаций майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я — телефонист, — простодушно двинулся к столу, точнее, к избяной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов.

— Так-так, боец Колупаев, — постучал пальцами по столу майор, — воюем, значит, громим врага!

— Да я чё, я за баранкой... — увильнул встревоженный Андрюха. — Это вы тут, действительно... без пощады!..

— Чего уж скромничать! Вместе, грудью, так сказать,

за отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети?.. Все как-то забываю спросить.

— Дак эть я вроде сказывал вам? Конешно, много нас — не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят. Все как полагается...

— Пишешь им? Не забываешь?

— Дак эть как забудешь-то? Свои.

— Ага. Свои Правильно... — Глаза майора все больше сужались и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу.

Атмосфера сгущалась.

Я бояться чего-то начал, даже из простуженного носа у меня течь перестало.

— Чего случилось-то, товарищ майор? — не выдержал Андрюха.

— Да ничего особенного... На вот, почитай! — майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги, и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.

Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, они набухали, полнели и клейко текли за гимнастерку, под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переиначенную мной песню: «Артиллеристы, точней прицел! Разведчик стибрил, наводчик съел...»

Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом, и вот сатирический куплет повторяет и повторяет...

Худо дело, ребята! Ох, худо! Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой.

Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно, зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по оспяным щербинам и отвесно, со звуком падал с носа на приколотую карту.

«Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит...» — ежась от страха, простонал я.

Телефонисты требовали новостей, зуммерить начали.

— А, пошли вы!..

— Ладно, ладно, жалко уж!..

Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.

— Воюем, значит, боец Колупаев?! — подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. — Бьем, значит, гада!

Андрюха все ниже и ниже опускал голову.

«Заступница, матушка, пресвятая богородица! Пусть майора вызовут откуда-нибудь!..» — взмолился я.

Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. «Когда не надо — трезвонят, ироды, — телефон рассыпается!..»

— Вы что же это, ля-амур-р-ры на фронте разводить, а?!

— Ково? — прошептал Андрюха.

— Он не понимает! Он — непорочное дитя! Он... — майор негодовал, майор наслаждался, как небесный пророк и судия своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди не чинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: — Вы посмотрите на него! Это ж невинный агнц! — я качанием головы подтвердил, — что, мол, и говорить — тип! И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все...

— Сегодня вы предали семью! Завтра Родину предадите!

— Ну уж...

— Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! — Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам: «Ну, это уж слишком!» — Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются.

«Ой, батюшки! Что только и будет?!»

— Если будете кричать — я уйду отсудова! — обрывая майора, заявил Андрюха. — И руками не махайтесь! Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте!..

— Что-о-о? Ч-что-о-о-о?! А ну, повторите! А ну...— Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах.

Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился.

И в это время!.. Нет, есть солдатский бог! Есть! Какой он, как выглядит и где находится,— пояснить не могу, но что есть — это точно!..

— Двадцать пятого к телефону! — По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал с уха трубку:

— Из штаба бригады, товарищ майор!

— А-а, чь... черт! — все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку.— Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда, огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь? — майор выворотил белки в сторону Колупаева.— С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока бог миловал... Да. Точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю...

Он сунул мне трубку. Она была сырая — сдерживал себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Не одному Андрюхе потеть!

— Ну, как там у вас? — послышался вкрадчивый голос.

Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста.

Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, пододвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман.

— Пиши! — уже утихомиренно и даже скучно сказал он, и я тоже начал успокаиваться: если майор перешел на «ты», значит, жить можно.

Андрюха вопросительно глянул на майора.

— Письмо пиши.

Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой — три класа вечерней школы! С такой грамотой писать под диктовку!..

Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу:

— Дорогая моя, любимая жена...

Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул:

— Я этого писать не буду!

— Почему? — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.

— Потому что никакой любви промеж нас не было.

— А что было?

— Насильство. Сосватали нас тятя с мамой — и все. Окрутили, попросту сказать.

— Ложь! — скривил губы майор. — Наглая ложь! Чтобы при Советской власти, в наши дни — такой допотопный Домострой!..

— Домострой?! Хужее!.. Я было артачиться зачал, дак пахан меня перетягой так опоясал... Никакая власть, даже Советская, тятю моего осврасить не может.

— Давайте, давайте, — покачал головой майор. — Вы посочиняете. Мы — послушаем! — И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И я снова угодливо распялил свою пасть.

Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика:

— Не к месту, конешно, меня лукавый попутал... Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмило! Но, извините меня, товарищ майор, — артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое — потолкуем. А счас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтре наступать, слышу, будете. Мне везти взвод... — Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. — Письмо семье и в сельсовет ночесь напишу. Покажу вам. Покаянье Галине Артюховне так же будет сделано... Разрешите идти?

— Идите!

Я удивился: в голосе майора мне почудилась пристыженность.

Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору:

— Шибко я потрясенный. Покурю в тепле, — и курил молча до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно: — Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор... По всему Эсэсэру она протекает, а он, милый, о-го-го-о-о-о! Гитлер-то вон пер-пер да и мочой кровавой изошел! Оказалась у него задница не по циркулю прост-

ранствия наши одолеть! И на агромадной такой территории оч-чень жизнь разнообразная!.. Например, встречаются еще народы — единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам!.. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее...

Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.

Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру.

— Вам вот внове знать небось, какой обычай остался в нашей деревне? — Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. — Родитель — перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь...

— К-как это? Вина?

— Вина-а! — хмыкнул Андрюха. — Вина само собой. Но, главное — плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копытов долой! Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит... Я вот своротил тяте санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел! Кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает... А я, худо-бедно, фронту помогаю... Не в молельню ходил, божецкие стихиры слушать, а в клуб, на беседы. Оч-чень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах...

— Идите! — устало повторил майор.

Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.

Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то, что я — чуть чего — и залыбился: «Чего изволите?» — Тьфу!..

Командир дивизиона попил чая из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.

— Ишь какой! Откуда что и берется! — буркнул он сам себе под нос. — Снюхался с хохлушкой, часть опозорил! А еще болтает о мирах! Наглец!.. Н-ну, погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок!..

Письма Андрюхины майор проверил или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хо-

тя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:

— Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков!

«Э-э, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже!..»

Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда — какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось.

Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:

— Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной... О-чень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла... Да детишков-то куда же денешь?

Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье... Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину — и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я — телефонист истребительного артдивизиона — Костя Самопряхин.

1971 г.

Ясным ли днем

Памяти великого русского певца Александра Пирогова

И В ГОРОДЕ ПАДАЛ ЛИСТ. С ЛИП — ЖЕЛТЫЙ, С тополей — зеленый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополевый лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой.

И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как

громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

И, непривычно распаляясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом:

— Нога, говорю, не отросла еще?

Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли головы, но тут же вспомнили о деле, усерднее принялись выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов, а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое, и если он, ранбольной, выпивший или просто так побуянить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02 — и будь здоров! Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет и дело оформит. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Она шевельнула коком, сбитым наподобие петушиного гребня, заметив, что инвалид тут же сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, разостланной меж столами.

Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся — не шатнуло бы его и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы чернилами белый халат врача или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом. Он понял, что все это им привычно и никто ему в спину не смотрел, кальсонины не заметил. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

И когда Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все еще писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых инвалидов — вымирают инвалиды, исчезает боль и укор прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько отнято дней из без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, проверками, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях.

Врач поставил точку, промокнул голубой промокашкой написанное и поднял глаза.

— Что ж вы стоите? — И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины...

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город надетую, кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделать? Такой закон. Догадавшись, что он привел в замешательство близорукого молодого врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыбнулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, что-

бы поменьше брякало, и радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянув папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое поведение. «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так и горы сносят. Рвут!..»

До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых клеточек и полосок.

В кафе кормилась молодежь. За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел.

Девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены были голубыми, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

— Приятно вам кушать, девушка! — сказал он. Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на него.

— Ах, да-да, спасибо! Спасибо! — и прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — Она тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке. — «Так, под книжку, ты и вола съешь, не заметишь!» —с улыбкой заключил Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках, открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило легкий желтый лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал тополиный. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребятишки шли с сумками из школы, распинывая листья и гомоня.

За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами «МПС».

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелками. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — не разобрать сразу.

В корзинах у кого с десяток грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали охапки рябины, и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает, а потом сердце, или почки, или печень — уж бог знает что — болеть начинает.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», — говорит ему жена и облегчить в делах пытается.

При воспоминании о жене Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман. В кармане пиджака, в целлофановом пакете персики с рыжими подпалинами. Жене его, Пане, любая покупка в удовольствие. Любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет. — Из-за моря небось привезли?» Спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Разом, и опять же толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вокзал стриженые парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца сумка, только неукладистей и нарядней. Сверху всего багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бросили.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шерстяном спортивном костюме. Второй — как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему недоставало. Третий не-

большого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он с гитарой был и, видать, верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до средины бедер спускавшемся. У свитера воротник, что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки: одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович, сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «транзистором» — должно быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой розовой кофточке, под которой острились титченки, не отпускалась от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила «Славик! Славик!»...

Среди этих парней, видимо, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, кепочка надвинута на смышленые цепкие глаза, и Сергей Митрофанович сразу определил — это блатняшка, без которого ну ни одна компания российских людей обойтись не может почему-то.

Капитан как привел свою команду — так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивая слезы, а ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девчонками грянули:

Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митрофанович. — И без того песня — погань, а они еще больше поганят ее!»

Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту» с усмешками, правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе несуразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча!..

Слов уж не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни, изверченной наподобие проволочного заграждения. Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку, и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не встревал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка умел только он один, а остальные больше дурачились, болтали поллитровку, делали ужасные глаза. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика от питья покатились слезы. Он разозлился и начал совать своей девушке бутылку.

— На!

Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.

— На! — настойчиво совал ей Славик поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь.. — залепетала девушка, — я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. — Будет стакан! А ну! — подал он команду блатняшке.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вынул из

него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее кто-то походил? Сергей Митрофанович засек глазами Володину деваху. Она!

— Сыр съесть! — отдал приказание Еська-Евсей. — Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стакана!..

Этим ребятам все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-усна-а! — завопил блатняшка. Громко чавкая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и понес все на свете.

— Ну, ты! — обернулся к нему разом взъерошившийся Славик.

— Славик! Славик! — застучала в грудь Славика его девушка — и он отвернулся, заметив, что капитан, хмурясь, поглядывает в их сторону.

Блатняшка будто ничего не видел и не замечал.

— Хохма, братва! Хохма! — Когда поутихло, блатняшка, вперед всех смеясь, начал рассказывать: — Этот сыр, ха-ха... банку такую же в родилку принесли, ха-ха!.. Передачку, значит... Жинки, новорожденные которые, глядят — на крышке бабка баская, и решили — крем это! И нама-а-азалися-а-а!..

Парни и девчонки повалились на скамейки, даже Володина барышня колыхнула ядрами грудей, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под накипевшим подбородком.

— А ты-то, ты-то чё в родилке делал? — продираясь сквозь смех, выговорил Еська-Евсей.

— Знамо, чё, — потупился блатняшка. — Аборт!

Девчата покраснели, а Славик опять начал подниматься со скамейки, но девушка уцепилась за полу его куртки.

— Славик! Ну, Славик!.. Он же шутит...

Славик снова оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно и ловко порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил половину стаканчика и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськина пла-

менно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни. Она жеманно морщилась:

— Ты же знаешь, я не могу водку...

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское!..

Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя длинными музыкальными пальцами.

Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка сердито вылила водку в крашеный рот. Девчонки захлопали в ладони. Сеструха Еськина взвизгнула от восторга, а Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не баские твои дела... Она небось на коньяках выросла, а ты водкой неволишь...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик и робко попросила:

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать, будто ребенка.

«Ах ты, птичка-трясогузка!» — загоревал Сергей Митрофанович и поднялся со скамьи. Стянув кепку с головы, он сунул ее под мышку.

Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно, балуясь, а придет время, схватит Еську-Евсея какая-нибудь жох-баба и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутствия и гибели.

— Что ж, ребята, — начал Сергей Митрофанович и прокашлялся. — Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали остатки сыра. Он даже крякнул якобы от удовольствия, чем привел блатняшку в восхищение:

— Во дает! Это боец! — и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович и опустился обратно на скамью.

Он не любил вспоминать и рассказывать о том, как и где

оторвало ему ногу, а потому обрадовался, что объявили посадку.

Капитан поднялся с дальней скамьи и знаками приказал следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселяя будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор. — Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету!..

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться было бы. Они его одним юмором до припадков довели бы...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солда-а-ата-а-а, жди солда-а-а-та-а-а.

Уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь модная барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая Володиным спортивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Митрофанович — если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы, батя? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске он купил две бутылки заграничного вермута — другого вина никакого не оказалось, кроме шампанского, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил пальцами газету, и опять просматривал весь вагон, и ни во что не встревал.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженые парни, выпив водки, и захохотали.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а-а, цалу-уете-есь! Но-оч коротка! Не хватило-о-о!

И тут же запели щемяще-родное:

Но-чь ко-ро-отка,
Спя-ат облака-а...

«Никакой вы службы не знаете, соколики! — грустно подумал Сергей Митрофанович. — Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы». Но старая фронтовая песня стронула с места его думы и никак не давала сосредоточиться на одной мысли.

— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился, будто в лесу, прислушался.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полок, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тута? — спросил Сергей Митрофанович, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... — с пристуком поставил бутылку вермута на столик Сергей Митрофанович и прислушался, но в вагоне уже не пели, а выкрикивали кто чего и хохотали, бренчали на гитарах.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняшки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, а шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил он поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку. — Сейчас мы ее раскур-р-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да на кой штопор?! Пережитки, — подмигнул ей блатняшка. Он, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, пальцем просунул пробку в бутылку. — Вот и все! А ты, дура, боялась! — Довольный собою, оглядел он компанию и еще раз подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же щипнул ее, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал, однако значения ее словам не придал и как бы ненароком то на колено ей руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба пассажирам...»

Сергея Митрофановича и приблудного парня оттиснули за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг, стукнул их друг о дружку. Они плакали, смеялись. Еська-Евсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и вроде бы отпускаться не собиралась. Слезы быстро катились по ее и без того размытому лицу, падали на кофточку, оставляя на ней серые полоски, потому как у этой девчонки глаза были излажены под японочку и краску слезами отъело.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и даже тряс девушку за плечо, желая привести в чувство. — Ведь слово же давала! Не реветь буду...

— Ла-адно-о, не бу... лады-но-о-о, — соглашалась девушка и захлебывалась слезами.

— Во дают! — хохотнул блатняшка, чувствуя себя отторгнутым от компании. — Небось вплотную дружили... Мокнет теперь. Засвербило...

Но Сергей Митрофанович не слушал его. Он наблюдал за Володей и барышней, и все больше жаль ему делалось Володю. Барышня притронулась крашеными губами к Володиной щеке:

— Служи, Володя. Храни Родину... — и стояла, не зная, что делать, часто и нервно откидывала белые волосы за плечо.

Володя, бросив на вторую полку руки, глядел в окно вагона.

— Ты пиши мне, Вова, когда желание появится, — играя подведенными глазами, сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: — Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Все! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо:

— Все, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова подружка вдруг села на скамейку:

— Я не пойду-у-у...

— Ты чё?! Ты чё?! — коршуном налетел на нее Славик. — Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-у-у-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняшка. — Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Доченька! Доченька! — потряс за плечо совсем ослабевшую девушку Сергей Митрофанович. — Пойди, милая,

пойди, попрощайся ладом. А то потом жалеть будешь, проревешь дорогие-то минутки.

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторяется одно и то же, одно и то же, — подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович. — Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы в казарму...»

— Может, трахнем, пока нету стиляг? — предложил блатняшка и потер руки, изготавливаясь.

— Выпьем, так все вместе, — отрезал Сергей Митрофанович.

Поезд тронулся. Девчата шли следом за ним. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сеструха — с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала, кричала на ходу. Летела нарядной птичкой девушка в розовой кофточке, а Володина барышня немножко прошла рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою. Она не забывала при этом откидывать за плечо волосы натренированным движением головы.

Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась. Она спрыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать, она спотыкалась. Задохнувшаяся, с остановившимися, зачерненными краской, глазами, она все бежала, бежала и все пыталась поймать руку Славика.

— Не бежи, упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Спина его мальчишеская обвисла, руки вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смирные, совсем не те, что были на вокзале. Даже блатняшка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

Жужжала электродуга под потолком. По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Проехали реку. Начался дачный

пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землею с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

Еська-Евсей не выдержал:

— Славка! Слав!.. — потянул он товарища за штаны. — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол за Сергея Митрофановича и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку вермута и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли?! На смерть разве едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и потянул со Славика куртку. — Слав, ну ты чё? Ребята! Человек же предлагает... Пожилой, без ноги...

«Парень ты, парень! — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит, все пеплом обратится. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с одного края, парафиновый стаканчик. — Пусть вам хороший старшина попадется!

— Постойте! — остановил его, очнувшись, Володя. — У нас ведь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы на вокзале пофасонили, — усмехнулся он совсем трезво. — Давайте как люди.

Выпивали и разговаривали теперь как люди. Горе, пережитое при расставании, сделало ребят проще, доступней.

— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова спрятался в уголке, натянув на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Дорожа их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский, сектор обстрела выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, и два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были так толсты, а пилы всего две, и то-

пора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и, наконец, завопили:

«Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!»

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо было свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Но на войне часто приходится переступать через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята,—глухо закончил Сергей Митрофанович.

— Скажи, как бывает! А мы-то думали... — начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! — подхватил с усмешкой Сергей Митрофанович.

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя. — После ранения, я имею в виду.

— А как же? Приехала за мной в госпиталь, забрала. Все честь честью. Как же иначе-то? — Сергей Митрофанович пристально поглядел на Володю. Большого ума не требовалось, чтоб догадаться, почему парень задал такой вопрос.

Ему-то и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале он не слышал чего-то о таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, таились? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие там повествования о том, что такая-то курва отказалась от такого-то мужа-калеки. Да не очень он вникал в бабьи рассказы. В книжках читывал о том же, но книжка, что она? Бумага стерпит, как говорится.

— Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового — может, сгульнуть, если невтерпеж,— может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков — человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился он к Славику, — да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую!.. — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать, и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел?— обратился он к Володе. — Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим и ждут, как он сейчас затянет: «Ой, рябина, рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!».

Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на парней, и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе и ветру, где он был ротным запевалой.

Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...

Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на натянутой какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милой своей назовет?..

Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну ногу, жужжало над крышей вагона, и в голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без лощености, угадывался весь характер, вся его душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его смягченный временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим ожесточение и смерть, пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских будней. Слушая Сергея Митрофано-

вича, человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиновою деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах — уже не замечались. Молодой, бравый командир орудия, с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изумлялись, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Они бывали в оперном театре своего города, слышали там перестарок-женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких способностей к пению, но как-то попали в оперу и зарабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо было совсем в другом месте.

Но в искусстве, как в солдатской бане, — пустых скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что дармово, не трудом добыто, ценить не научен, стыдливо относится к дару своему и поет, когда сердце просит или когда людям край подходит и они нуждаются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабаляя своего дара и не забавляясь им.

Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?!

Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талантов одну-другую каплю...

...Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейтенантик с бакенбардами — искал таланты. В сорок четвертом году войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда еще просто Сергей, просто то-

варищ сержант, прошедший служебную лестницу от хоботного до хозяина орудия.

Смотр проводился в западноукраинском большом селе, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых грушах и ореховых деревьях.

На передней скамье сидели генералы и полковники. Среди них был и командир бригады, в которой воевал Сергей Митрофанович.

Когда сержант в начищенных сапогах напряженно вышел на паперть, командир бригады что-то шепнул на ухо командующему корпусом. Тот важно кивнул в ответ и с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта с двумя орденами Славы и медалями на груди.

Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих солдатах, очень уж волновался — народу много набилось в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился под сводами церкви. Однако после популярных фронтовых песенок: «Встретились ребята в лазарете, койки рядом, но привстать нельзя, оба молодые, оба Пети...» или «Потеряю я свою кубанку со своей удалой головой», после всех этих песенок его «Ясным ли днем» прозвучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам командир корпуса, а следом за ним генералы и полковники хлопали, не жалея ладоней.

«Поздравляю! Поздравляю!» — тоже хлопая и пятясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего этого смотра фронтовых талантов.

Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофановичу, быть бы с ногой, быть бы живу-здорову, детишек иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать бы ему по специальности, а не пилоправом.

Да к массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить еще мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви вешали человека — тайного агента гестапо, как было оповещено с паперти тем же лейтенантом с бакенбардами.

Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей — суды и расправы свершались позади них, на отвоеванной земле.

Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед радиатором машины, целившейся под старую срубленную грушу, на которой осталась макушка с плодами и толстый сук. К суку привязана веревочная петля.

Поднимались люди на цыпочки, чтобы увидеть преступника, а главное — палача.

Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще никогда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из церкви, из густых дерев волосатый, рукастый человек и совершит свое жестокое дело. И когда в машину, подпятившуюся кузовом под грушу, запрыгнул молодой парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах, в несопревшей от пота гимнастерке с белым подворотничком и со значком на клапане кармашка, он все еще ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не единожды видел в кино, узколобый, с медвежьими глазами, в красной рубахе до пят.

Парень тем временем открыл задний борт машины. Площадь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в уголок кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в ватных штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю рубаху, в незашнурованных солдатских ботинках на босу ногу.

«Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!..»

«Где он? Где он?» — бегал глазами Сергей Митрофанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме, надменного, с вызовом глядящего на толпу. Как-то из подбитого танка взяли артиллеристы раненого командира машины, с тремя крестами на черном обгорелом мундире. Голова его тоже вроде как обгорела, лохматая, рыжая. Он пнул нашу медсестру, пытавшуюся его перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея Митрофановича должен был выглядеть куда большим злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист.

Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно. Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, показывал рукою: «Еще! Еще! Еще! Стоп!» — и навис над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот попытался подняться и не смог. Тогда парень подхватил его под мышки, притиснул спиной к кабине и, придерживая коленом под живот, попытался надеть на него петлю. Веревка оказалась короткой и налазила только на макушку. Мужичонка все утягивал шею в плечи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как задирают морду коню перед тем, как всунуть в его храп железные удила. Веревка все равно не доставала.

Унялась, замерла площадь. Перестали кричать цивильные, а у военных на лицах замешательство, неловкость.

Парень быстро сообразил, что надо делать. Он пододвинул к себе ногой канистру и велел преступнику влезть на нее. Тот долго взбирался на плашмя лежавшую канистру, будто была она крутым, обвальным утесом, а забравшись,

качнулся на ней и чуть не упал. Парень подхватил его, и кто-то из цивильных злорадно выдохнул:

— Ишь, б..., не стоит!.. Как сам вешал!..

Надев на осужденного петлю, парень пригрозил ему пальцем, чтоб стоял как положено, и выпрыгнул из машины.

Тайный агент гестапо остался в кузове один. Он стоял теперь как положено, может быть, надеясь в последние минуты своим покорством и послушанием умилостивить судьбу. Первый раз он обвел площадь взглядом, затуманенным, стылым, и во взгляде этом Сергей Митрофанович явственно прочел: «Неужели все это правда, люди?!»

— Нэ нравыться? А чоловика мого... Цэ як? Гэ-эть, подлюга, який смирнэнький! Бачь, який жалкэнький! — закричала женщина рядом с Сергеем Митрофановичем, и ему показалось, что она обороняется от подступающей к сердцу жалости.

Началось оглашение приговора. Сморчок этот мужичок выдал много наших окруженцев и партизан, указал семьи коммунистов, предал комсомольцев, сам допрашивал и карал людей из этого и окрестных сел...

Чем дальше читали приговор, тем больший поднимался на площади ропот и плач. На крыльце церкви билась старуха-украинка, рвалась к машине:

— Дытыну, дытыну-у-у мою отдай!

И не понять было: он ли отнял у нее дитя, или же сам был ее дитем? И вообще трудно все понималось и воспринималось.

Мужичок с провалившимися глазами, в одежонке, собранной наспех, для казни, ничтожный, жалкий, и те факты, которые раздавались на площади в радиоусилителе, — все это не укладывалось в голове. Чувство тяжкой неотвратимости надвигалось на людей, которые и хотели, но не могли уйти с площади.

Сергей Митрофанович начал сворачивать цигарку, а затем протянул кисет заряжающему из его расчета Прокопьеву, который приехал на смотр с чечеткой-бабочкой.

Пока они закуривали — все и свершилось.

Сергей Митрофанович слышал, как зарычала машина, завизжал кто-то зарезанно, заголосили и отвернулись от виселицы бабы. Машина как будто ощупью, неуверенно двинулась вперед. Осужденный схватился за петлю, глаза его расширились на вскрике, кузов начал уползать из-под его ног, а он цеплялся за кузов ногами, носками ботинок — искал опору.

Машина рванулась, и осужденный заперебирал ногами в последней судорожной попытке удержаться на земле. Маятником качнулся он, сорвавшись с досок. Груша дрогнула, сук изогнулся, и все поймали взглядом этот сук.

Он выдержал.

Только сыпанулись сверху плоды. Ударяясь о ствол дерева и о голову дергающегося человека, упали груши на старый булыжник и разбились кляксами...

Ни командир орудия, ни заряжающий обедать не смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось не густо, хотя от нее разносило по округе вкусные запахи. Военные молча курили, а гражданские все куда-то попрятались.

— Что ж, товарищ сержант, потопали, пожалуй, до дому, — предложил Прокопьев, когда они накурились до одури.

— А чечетка? Тебе ж еще чечетку бить, — не сразу отозвался Сергей Митрофанович.

— Бог с ней, с чечеткой, — махнул рукой Прокопьев. — Наше дело не танцы танцевать...

— Пойдем, скажемся.

Они поднялись в гору, к церкви. Повешенный обмочился. Говорят, так бывает со всеми повешенными. На булыжник натекла лужица, из штанин капало. Оба незашнурованных ботинка почти спали с худых грязных ног, и казалось, что человек балуется, раскручиваясь на веревке то передом, то задом, и ботинки эти он сейчас как запустит с ног по-мальчишески...

Все казалось понарошку. Только на душе было муторно, поташнивало, и скорее хотелось на передовую, к себе в батарею.

Лейтенант с бакенбардами взвыл, театрально воздевая руки к ангелам, нарисованным под куполом церкви, когда артиллеристы явились в алтарь и стали проситься «домой».

— Испортили! Все испортили! Никто не хочет петь и плясать! Из кого, скажите на милость, из кого создавать ансамбль?!

— Это уж дело ваше, — угрюмо заметил Сергей Митрофанович. И уже настойчивей добавил: — Наше дело — доложиться. Извиняйте, товарищ лейтенант...

Лейтенант понимающе глянул на артиллериста и покачал головой.

— Как жаль! Как жаль... С таким голосом... Может, подумаете, а? Если надумаете, позвоните, — уже вдогонку крикнул лейтенант.

Артиллеристы поскорее подались из церкви: тут, чего доброго, и застопорят. Скажет генерал: «Приказываю!» — и запоешь, не пикнешь.

На последнем вздыхе с паперти кто-то из военных тоскливо кричал про черные ресницы и черные глаза.

К вечеру на попутных машинах они добрались до передовой и ночью явились на батарею.

— Не забрали! — обрадовался командир батареи.

— А мы бы и не пошли, — заверил его хитрый Прокопьев.

— Правильно! Самим нужны! Где-то тут ужин оставался в котелке? Эй, Горячих! — дернул командир батареи за ногу храпевшего денщика. — Дрыхнешь, в душу тебя и в печенки, а тут ребята прибыли, голодные, с искусства...

Отлегло. Дома, опять дома, и ничего не было, никаких смотров, песен — ничего-ничего.

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу. Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик, и руки в заусеницах и царапинах, совсем не похожие на его голос, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а! — протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить блатняшка и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в тюряге один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь», — Сергей Митрофанович хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы. — Он глянул в окно, зашевелился, вынимая деревяшку из-под стола. — Я ведь подъезжаю, — и застенчиво улыбнулся: — С песнями да с разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться. — Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, схватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу. — Он полез за бутылкой, но Славик проворно высунулся из угла и придержал его руку:

— Не надо! У нас есть. И деньги есть, и вино. Лучше попотчуйте жену.

— Дело ваше. Только ведь я...

— Нет-нет, спасибо, — поддержал Славика Володя. — Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим, — простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Ить я какой человек? Я вот пяту жену додёрживаю и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем следом. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник, а платформы не было.

Сергей Митрофанович осторожно спустился с подножки, утвердился на притоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник, и, когда поезд, словно бы того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза двинулся, он приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они стояли тесно и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче, за станцией; вагоны один за другим унырuвали в лес, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, Сергей Митрофанович совсем уж тихо повторил:

— Мирной вам службы!

В глазах ребят он так и остался одинокий, на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка». Станция и в самом деле была пихтовая. Пихты росли за станцией, в сквéрике, возле колодца, и даже в огороде одна подсеченная пихта стояла, а к ней привязан конь, сонный, губатый.

Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником.

Попутных не попалось, и все, хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади и пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расползлись вширь, сцепились ветвями. Прель и темень устоялась под ними.

На вырубках взялся лес и давил собою ивняк, ягодники, бузину и другой пустырный чад.

Осенью сорок пятого по этим вырубкам лесок только-только поднимался, елани были еще всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. На стогах раскаленными жестянками краснели листья, кинутые ветром.

Осень тогда поярче нынешней выдалась. Небо голубее, просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней, ярче и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой.

Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшись на койке с отшибленными памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяк, долго стоял, вспоминая его, колючий, нахально цветущий, и не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, осот, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду — не вспомнил. Все они, видать, в его нынешнем понимании походили друг на дружку, потому как цвели желтенько. И вдруг заблажил без заикания:

— Кульбаба! Кульбаба! — и ринулся на костылях в чащу, запутался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

И, зашедшаяся от внутреннего плача, жена его подтвердила:

— Кульбаба. Узнал?! — и сняла с его лица паутинку. Он еще не слышал паутинки на лице, запахов не слышал и был весь еще как дитя.

Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, краснеют ошметья объеди, а ягод нету?

— Птички. Птички склевали, — пояснила Паня.

— П-п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом госпиталя. Врач долго,

терпеливо объяснял: какой уход требуется больному, что ему можно пить, есть, — и все время ровно бы оценивал Паню взглядом — запомнила ли она, а запомнивши, сможет ли обиходить ранбольного, как того требует медицина. Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да что горевать?! Дело молодое...» — зарделась она. «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки она все поняла, и слова врача, жестокое их значение — тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Склонился он над землею и показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с нагловатым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев.

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз, — послушно подтвердила она. — А это вот заячья ягодка, майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он наморщил лоб, напрягся, на лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженная память устала, перегружена уже впечатлениями, и заторопила его.

В речке он напал на черемуху, хватал ее горстями, измазал рот.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Пане неведомо, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, но уже молча он показал ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость надо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, неназойливо голубело. Было

очень тихо, ясно, но предчувствие заморозков угадывалось в этой, размазанной по небу, белесости и в особенной, какой-то призрачно-светлой тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выспрашивал. Он суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его словно бы подтаяло, и на губе выступил немощный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернились, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину изгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей к Пане.

И она заторопилась:

— Мама ждет нас. Все гляденья, поди, проглядела! Давай я тебе помогу в гору-то. Давай-давай!..

Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать. — Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?! — и копной вальнулась на крыльцо. Зятя она любила не меньше, а показывала, что любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении, и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича? Одна — сидеть, другой — стоять? — прикрикнула Паня. Панина мать расцеловала Сережу увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... — и у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью усмехнулась Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, который у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пи-

хты, насеянные сосны и лиственницы. Они уже начинали давить собой густой и хилый осинник и березник. Только липы не давали угнетать себя. Вперегонки с хвойняком, настойчиво тянулись они ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лесишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. Лишь поганки не поддались инею, пестрели шляпками во мху и в траве. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, булькала в воде негромко, но густо. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время снова начнется заготовка леса вокруг Пихтовки, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Паня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Он свернул с разъезженной дороги на тропу и пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захламили ее, а на стеклозаводе, что приник к Каравайке, столько дерьма спускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых ужи плодятся — только им тут и способно.

Неподалеку от поселка прудок. В нем мочат липовые лубья. Вонь все лето. К осени лубья повытаскивали, мочало отодрали — оно выветривается на подставах. Прудок илист, ядовито-зелен, даже водомеры не бегают по нему.

Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе

о том, что он видел, что думал, но сквозь его бесхитростные, такие простые детские думы просачивалась очень уж древняя печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании его была неподдельная искренность, детская доверчивость и любовь к его чистому, еще незахватанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович. — Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое, накличет он на себя беду. И Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет помочь маленькому человеку.

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке уже ничем не поможешь. Он вырос и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекучей памяти людей.

Радио на клубе заговорило словами, а Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом, с любимыми и близкими людьми.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорей всего получалось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война это последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели.

Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил — тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь.

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и неспокойно на душе. Оттого и вина перед ре-

бятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виноватости. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего он нес! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел, чтоб и они тоже голышом ходили? Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее дал детям ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а какие-то подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая лукавого и глупого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его.

Но память и совесть не выключишь.

Вот если б все люди — от поселка, где делают фанеру, и до тех мест, где сотворяют атомные бомбы, — всех детей на земле считали родными, да говорили бы с ними честно и прямо, не куражась, тогда и молодые не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо старших за правду и честность, а не за одни только раны, страдания и прокорм.

«Корить — это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить, возьмутся, как мы, маскировать свою ущербину, свои недоделки и неполадки. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. Давить своей грузной жизнью мальца — ума большого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не только за хлеб, который мы им даем, — это потруднее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же гордости хотим и сами же притужальник устраиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, со сбитым телом и руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела бабой — ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и женская мудрость, нажитая разлукой и горестями, сняла с них блеск горячего беспокойст-

ва. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. По-прежнему крепко сбитая, без надсадливости делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего — они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.

Мать Панина копалась в огороде, вырезала редьки, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Мать Панина постоянно роется в нем, чтобы доказать, что хлеб она ест не даром.

— Да ты никак выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался Сергей Митрофанович и впереди жены вошел в кухню.—С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...

— Привет они тебе передавали. Все передавали,—сказал Сергей Митрофанович. — Это тебе, — сунул он пакетик Пане,—а это всем нам,—поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермяк — солены уши! — с улыбкой сказал Сергей Митрофанович. — Позови мать. Хотя постой, сам позову. — И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Ты чего это?—быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. — Разбередили тебя опять? Разбередили... — И заторопилась: — Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?

— Не в этом дело, — вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — и громче повторил: — Мама!

— Чё тебе? — недовольно откликнулась Панина мать и

звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи? Четыре редьки, десяток морковин! — сказала Паня. — Садись, приглашают дак.

Панина мать побренчала рукомойником, подсела бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой:

— Эко налепили на бутылку-те! Дорого небось?

— Не дороже денег, — возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расходах.

— Ску-усна-а-а! — сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и уже пристальней оглядела бутылку и стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он вспомнил, как новобранец на вокзале обсасывал сыр с пальца. — Ты чё жмешша, Параныка? — рассердилась Панина мать. — И где-то кружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! — гордо воскликнула она и метнулась в подполье.

После второй рюмки Панина мать сказала:

— На меня не напасешша, — и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а вот сердце все подмывало и подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав со стола лишнее, подсела к мужу Паня и обняла его. —

Спел бы хоть. Редко петь стал. А уж такой мне праздник, такой праздник...

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль. — Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг:

— Что ты?! Что ты?! Бог с тобой...

— Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а-а! — Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шароховатые» — вспомнил он. Паня припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе, чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое?

Он молчал, вспоминал ее молодую, придавленную виной. В родном селе подпутал ее старшина катера, с часами на руке, лишил девичества. Она так переживала! Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только там, в долгой разлуке, рассосалось все, и обида его оказалась столь махонькой и незначительной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отдалении от жены и полюбил ее, да все открыться стыдился.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться! Или уж затаскали слово до того, что и произносить его срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это всякому внове должно быть, если его произносить раз в жизни и не на ветер».

— Старенькие мы с тобой становимся, — чувствуя под руками заострившиеся позвонки, сказал он.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие, — настаивал он и, отстранив легонько жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких, — и сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребятишек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями, а когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала Панина мать в сенях. — Все не намилуются. Ораву бы детишков, так некогда челомкаться-то стало бы!

У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой, — ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? — хотела сказать Паня. — Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот, — отколупывать от сердца надо...» — Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.

Сергей Митрофанович зажал в горсть лицо и тихо, ровно бы для себя, запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

И с первых же слов, с первых звуков Паня дрогнула сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама не понимала, почему плачет, и любила его в эти минуты так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть — и она пошла бы, и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Он пел, а Паня, не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали их, окопы-те, хлебом заростили, а ты все тама, все тама...»

И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.

— Захмелел я что-то, мать, совсем, — тихо сказал Сергей Митрофанович. — Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас? Ну, давай про нас.

Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженых ребят, нарядную, зареванную девчушку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, только еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от разлук, горя и бед.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать распевно и жалостно рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля, не дал согласия.

— Да и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить каждый человек может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье стараждущих...

— И-и, голуба-Лизавета, талан у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.

— Мели!

— Чего мели?! Чего мели?! Если уж никаких способностей нету, один талан — делать другим людям добро — все одно есть. Да вот пользуются этим таланом не все. Ой, не все!

— И то правда. Вот у меня талан был — детей рожать...

— Этих таланов у нас у всех излишек.

— Не скажи. Вон Панька-то...

— А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей?! — взъелась Панина мать.

— Тиша, бабы, слухайте.

Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи. Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам.

На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и прудка, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Он начал пятнать огороды, отаву на покосах, крыши домов. Покорно стояли недвижные леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенями, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадывали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли.

Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою.

1966—1967 гг.

Ночь космонавта

И ВСЕ ЖЕ ТЕ КОРОТКИЕ, ДРАГОЦЕННЫЕ МИНУТЫ, которые он «зевнул» — наверстать не удалось: космос — не железная дорога! Космонавт точно знал, где они, эти минуты, утерялись непоправимо и безвозвратно.

Возвращаясь из испытательного полета с далекой безжизненной планеты, объятой рыжими облаками, он по пути облетел еще и Луну. Полюбовавшись печальной сестрой Земли, а по программе — присмотрев место посадки и сборки межпланетной заправочной станции-лаборатории, он завершал уже последний виток вокруг Земли в благодушном и приподнятом настроении, когда увидел в локаторном отражателе черные клубящиеся облака, и понял, что пролетает над страной, сердечком вдающейся в океан, где много лет шла кровопролитная и непонятная война.

Многие державы выступали против этой войны, народы мира митинговали и протестовали, а она шла и шла, и маленький, ни в чем неповинный народ, умеющий выращивать рис, любить свою родину и детей своих, истреблялся, оглушенный и растерзанный грозным оружием, которое обрушивали на его голову свои и чужие враги, превратив далекую цветущую страну в испытательный полигон.

Космонавту вспомнилось, как совсем недавно, когда мир был накануне новой, всеохватной войны и ее удалось предотвратить умом и усилиями мудрых людей, какая-то женщина-домохозяйка писала с благодарностью главе Советского государства о том, что от войн больше других страдали и страдают маленькие народы, маленькие страны и что в надвигавшейся войне многие из них просто перестали бы существовать...

У космонавта была странная привычка, с которой он всю жизнь боролся, но так и не одолел ее: обязательно вспомнить, из какой страны, допустим, писала эта женщина-домохозяйка? В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы, терзал себя, раздражался, пока не восстанавливал в памяти, где, при каких обстоятельствах видел человека, встретившегося на улице; какая фамилия у артиста, лицо которого мелькнуло на экране, где он играл прежде, этот самый артист? И даже, пройдя изнурительную и долгую выучку, он не утратил этого «бзыка», как космонавт называл сию привычку, а лишь затаил ее в себе. Закалить характер можно, однако исправить, перевернуть в нем что-то никакой школой нельзя — что срублено топором...

Космонавт ругал себя: вот-вот поступит с Земли команда о посадке, надо быть собранному до последней нервной паутинки — вдруг придется переходить на ручное управление. И никак не мог оторвать взгляда от вращающегося экрана локатора, по которому вытягивались тушеванными росчерками пожары войны, и приказывал себе вспомнить: откуда писала эта домохозяйка нашему премьеру? «Навязалась на мою голову! — ругал он неведомую женщину. — Бегала бы с авоськой по магазинам — некогда бы... Буржуйка какая-нибудь, а за нее шею намылят. Руководитель полета — мужик крутой, как загнет свое любимое присловье: «Чего же, — скажет, — хрен ты голландский...»

— Из Дании! Из Дании! — радостно заорал космонавт, забыв, что передатчики включены.

Сидевшие на пульте связи и управления инженеры изумленно переглянулись между собой, и один из них, сжевывающий в разговоре буквы «Л» и «Р», изумленно спросил:

— Овег Дмитвиевич, что с вами? Вы пвиняви сигнав товможения?

— Принял, принял! Сажусь! Бабенка тут одна меня попутала, чтоб ей пусто было!..

— Бабенка?! Какая бабенка?!

Но космонавт не имел уже времени на разъяснения, и пока там, на Земле, разрешалось недоумение, пока на пульте запрашивали последние данные медицинских показаний космонавта, которые, впрочем, никому ничего не объяснили, потому что были в полном порядке, сработала автоматическая станция наведения, и началась посадка.

Системы торможения включились по сигналу Земли, и изящный легкий корабль повели на посадку, пожелав космонавту благополучного приземления.

Полулежа в герметическом кресле, Олег Дмитриевич смотрел на приборы, чувствуя, как стремительно сокращается расстояние до Земли, мучительно соображая: «Сколько потерял времени? Сколько?..»

Потом было точно установлено — две с половиной минуты и одна десятая секунды. Стоило ему это того, что вместо казахстанской, обжитой космонавтами, степи, он оказался в сибирской тайге.

Как произошло приземление и где — он не знал. Сильная, непривычно сильная перегрузка вдавила его в кресло, что-то сжало грудь, голову, ноги, дыхание прервалось. Он припал губами к датчику кислорода, но тут его резко качнуло, в ногу ниже колена впилось что-то клешней, и он успел еще подумать: «Зажим! Погнуло зажим».

Потом он действовал почти бессознательно, ему не хватало воздуха и хотелось только дышать. Дышать, дышать, дышать! В груди его хрипело, постанывало что-то, он делал губами судорожные хватки, но слышались только всхлипы, а воздух туда не шел, и последние силы покидали его. Напрягшись всем тренированным телом, уже медленно и вяло поднял он руку, на ощупь нашел рычаг и, вкладывая в палец всю оставшуюся в теле и руках силу, повернул его. Раздались щелчки: один, другой, третий — он обрадовался, что слышит эти щелчки, значит — жив! А потом, уже распластанный в кресле, вслушивался — срабатывают ли системы корабля?

Раздалось шмелиное жужжание, перебиваемое как бы постукиванием костяшек на счетах. Он понял, что выход из корабля не заклинило, и подался головой к отверстию, возникшему сбоку. Оттуда, из этого отверстия, сероватого, дымно качающегося, клубом хлестанул морозный воздух. Земной, таежный, родимый! Он распечатал грудь космонавта. Сжатое в комок сердце спазматически рванулось раз-другой и забилось часто, обрадованно, опадая из горла на свое место, и сразу в груди сделалось просторней. В онемелых ногах космонавт услышал иглы, множество игл, и расслабленно уронил руки, дыша глубоко и счастливо. Наслаждение жизнью воспринималось пока только телом, мускулами, а уж позднее — и пробуждающимся движением мысли: «Я живой! Я дома!»

Жалостное, совершенно не управляемое ощущение расслабленности, какое бывает после тяжелой болезни и обмороков, и непонятное раскаяние перед родным домом, перед отцом или перед всеми людьми, которых он так надолго по-

кидал, охватило космонавта, и у него, как у блудного сына, вернувшегося под родной кров, вдруг безудержно покатились по лицу слезы, и, неизвестно когда плакавший, он улыбался этим слезам и не утирал их.

Сознание все еще было затуманенное, движения вялы, даже руку поднять не было сил. Но, облегченный слезами, как бы снявшими напряжение многих дней, и то сиротское чувство одиночества и покинутости, изведанное им в пространствах Вселенной, от которого отучали в барокамерах и прочих хитромудрых приборах, но так до конца и не отучили — человеческое в человеке все-таки истребить невозможно! Чувство это тоже вдруг ушло, как будто его и не было. Еще не зная, где он приземлился и как, космонавт все равно уже осознавал себя устойчивей, уверенней, и ему хотелось поскорей сойти с корабля, ступить на Землю, увидеть людей и обняться с первым же встречным, уткнуться лицом в его плечо. Он даже ощутил носом, кожей лба и щек колючесть одежды, осталось это в нем с тех давних времен, когда, дождавшись с войны отца, он припал лицом к его шинели, и в нос ему ударило удушливым запахом гари, сивушной прелостью земли, и он понял, что так пахнут окопы. Сквозь застоявшиеся в шинели запахи пробивало едва ощутимые, только самому ближнему человеку доступные токи родного тепла.

Очнулся космонавт на снегу, под деревом, и увидел перед собой человека. Тот что-то с ним делал, раздевал, что ли, неумело ворошась в воротнике легкого скафандра. Они встретились глазами, и космонавт попытался что-то спросить. Но человек предостерегающе поднял руку, и по губам его космонавт угадал: «Тихо! Тихо! Не брыкайся, сиди!»

Ни говорить, ни двигаться космонавт не мог и отрешенно закрыл глаза, каким-то, самому непонятным наитием угадав, что человеку этому можно довериться. Усталось, старческая, дремучая усталость — даже на снег глядеть больно. А ему так хотелось глядеть, глядеть на этот неслыханно белый снег.

Силы возвращались к нему постепенно, и много времени, должно быть, прошло, пока он снова поднял налитые тяжестью веки.

Горел огонь. На космонавта наброшен полушубок и под боком что-то мягкое. Наносило земным и древним. Он щекою ощутил лапник. «Ладаном и колдовством пахнет. Лешие, наверное, под этим деревом жили: тепло, тихо и не промокает...»

«Пихта!» — вспомнил он первое существо на Земле. Не дерево, а именно существо, оно даже прошелестело в его сознании или в отверделых губах вздохом живым и ясным. От полушубка нанесло избой, перегорелой глиной русской печи и еще табаком, крепкой махоркой — саморубом. Нестерпимо, до блажи захотелось покурить космонавту. «Вот ведь дурость какая! А полушубок-то, полушубок! Какая удивительная человеческая одежда!.. Так пахнет! И мягко!..»

Космонавт осторожно повернул голову и по ту сторону умело, внакрест сложенного огня увидел человека в собачьих унтах, в собачьей же шапке, в клетчатой рубахе, но по-старинному, на косой ворот шитой, и вспомнил — это тот самый человек, которого он увидел давно-давно: он делал с ним что-то, шарясь у ворота скафандра. Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, заметив, что космонавт шевельнул головой, выплюнул цигарку в костер и широко развел скособоченный рот, обметанный рыжеватой с проседью щетиной.

— Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как говорится, на родную землю!

— Здравствуйте! — отчего-то растерянно ответил космонавт и вспомнил — это ведь первое слово, произнесенное им на Земле по-настоящему вслух! Хорошее слово! Его всегда произносит человек человеку, желая добра и здоровья. Замечательное какое слово! Он натужился, чтобы повторить его, но человек, поднявшись с чурбака, замахал на него руками:

— Лежи, лежи! Я буду пока докладать, а потом уж ты. Значит, так, — уже врастяжку, степенно продолжал он. — Зовут меня Захаром Куприяновичем. Лесник я. И жахнулся ты, паря, на моем участке. С небеси и прямиком ко мне в гости! Стало быть, мне повезло. А тебе — не знаю. Иду это я по лесу. Рубили на моем участке визиры летом вербованные бродяги, по-всякому рубили, больше тяп-ляп... Иду это я, ругаюсь на всю тайгу, глядь: а ко мне самовар с неба падает! Ну, я было рукавицу снял и по старинке: «Свят-свят!..» Да вспомнил, что по радио утресь объявили: сегодня мол, наш космонавт должон приземлиться, и смекнул: «Эге-е-е-е! Это ж Алек Митрич жалует! И правильно! — грю себе. — Всякие космонавты были, везде садились, а в Сибире почто-то нету? Беляев с Леоновым вон в Пермской лес сели, а наша Сибирь поширше, поприметней ихнего лесу...»

— Так я в Сибири?!

— В Сибире, в Сибире, — подтвердил лесник и удивился. — А ты разве не знаешь?

Олег Дмитриевич удрученно помотал головой.

— Вот те раз! А я думал, тебе все известно и все на твоих автоматах прописано? — Лесник во время разговора не сидел без дела. Он шелушил кедровую шишку, выуженную из огня и, ровно расщелкивая напополам орешки, откладывал зерна на рукавицу, брошенную на снег. Но тут он перестал щелкать орехи и уже обеспокоенно спросил: — Алек Митрич, выходит, твои товаришшы не знают — где ты есть и живой ли?

Космонавт нахмурился:

— Не знают.

Захар Куприянович по-бабьи хлопнул себя руками:

— А, язвило бы тебя! Сижу-рассиживаю, табачок курю, вот, думаю, прилетят твои свяшшыки на винтолете, и я тебя им в целости передам... Ах, дурак сивый, ах, дурак!.. Чего же делать-то? — Большой этот человек в собачьих унтах огляделся беспомощно по сторонам, как бы спрашивая у молча сомкнувшейся кедровой и пихтовой тайги совета.

Олег Дмитриевич приподнялся и, переждав легкое головокружение, указал леснику на полушубок:

— Прежде всего оденьтесь, потом уж будем думать, что нам делать.

— Сиди уж, коли бес попутал и ко мне на голову сверзил! – махнул рукой Захар Куприянович и бесцеремонно, как на маленького, натянул на космонавта полушубок, после чего поднял рукавицу с ядрышками орехов и сказал: — Держи гостинец! — но когда высыпал в протянутые ладони комонавта гостинец, спохватился: — Можно ли тебе орехто? Народ вы притчеватый. На божьей пище живете! Показывали тут по телевизору твою еду, навроде зубной пасты. Жалко мне тебя стало... — Захар Куприянович приостановился, что-то соображая. Его голубовато-серые глаза, уже затуманенные временем, глядели напряженно на огонь, и рыжие, колкие вихры, выбившиеся из-под черной шапки, как бы шевелились в отсветах пламени.

Ядрышки орехов были маслянисты и вкусны. Олег Дмитриевич никогда не пробовал этого лакомства. Чувствуя, как возвращаются к нему силы от живого огня, от угощения лесника, впавшего в глубокие размышления, он беспечно сказал:

— Не бес меня попутал, Захар Куприянович, — женщина!

Лесник отшатнулся от огня:

— Ба-а-аба-а-а-а?! — он суеверно ткнул перстом в небо: — И там ба-ба-а-а?!

Подбирая языком остатки зернышек на ладони, космонавт кивнул головой, подтверждая свое сообщение, и попросил удрученно онемевшего лесника, показывая на темную в кедраче тушу корабля, от которого тянулся мятый след по снегу:

— Мне нужно подкрепиться, Захар Куприянович. И нужно осмотреть ногу. Болит.

— Верно, верно, — засуетился лесник. — Подкормиться тебе надо, а у меня с собой ну ничегошеньки... Кабы я знал? — Он говорил, а сам не трогался с места, пряча глаза под окустившиеся брови и все шарил вокруг себя руками.

— Когда зайдете в корабль, в боковом клапане нажмите кнопку с буквами «НЗ» — и все вам откроется: термос, пакеты и тюбики с божьей пищей.

— Мне, поди-ка, нельзя? — напряженным сипом произнес Захар Куприянович. Не поворачиваясь, он потыкал пальцем через плечо в сторону корабля. — Туды нельзя... военная тайна... то да се... А может, я шпиён? — Захар Куприянович сам, должно быть, удивился такому предположению и даже как-то взорлил над костром.

Грудь у него выпятилась, и один глаз прищурился. Очень он нравился себе в данный момент, рот вот только кривился от старой контузии да по природной смешливости, а так что ж, так хоть сейчас в разведчики. Но космонавт осадил его на землю, сказавши, что шпиёны ходят в шляпах, в макинтошах широкоплечих, монокль у них в глазу, серебряные зубы во рту, в руке тросточка, в тросточке фотоаппарат и пилюли с ядом. В этом деле он уж как-нибудь разбирается.

Захар Куприянович крякнул и решительно направился к кораблю. Все он нашел быстро и, вернувшись, восторженно покрутил головой:

— А кнопок! А механизьмов! Ну, паря, и машина! Чистота в ей и порядок. Как ты все и помнишь только?! — Он постукал по своему лбу кулаком, наливая из термоса в колпачок кофе. — Сельсовет у тебя потому что крепкий... — И тут же, как бы самому себе, рассудительно утвердил, показывая наверх: — Да уж всякова якова туды не пошлют!

От кофе Захар Куприянович отказался, а вот фруктовой смеси из тюбика попробовал, выдавив немножко на ладонь. Прежде чем лизнуть, понюхал, зацепил языком ба-

гровый червячок, зажмурился, прислушался к чему-то, подержав во рту смесь, проглотил ее и почмокал губами:

— Еда-а-а-а!

Он курил, поджидая, когда напьется кофе космонавт, и сразу потребовал, чтобы тот ложился обратно на лапник.

— Ногу погляжу. Чего у тебя там? Не перелом, думаю. При переломе не шутковал бы...

Захар Куприянович сильно надавил на колено, затем на икру, и когда космонавт замычал от боли, приподнялся с корточек, стал размышлять, почесывая затылок:

— Разрезать придется, Алек Митрич. А костюм-то казенный, дорогой, поди-ко?!

— Дорогой. Очень. Но ничего не поделаешь. Режьте.

Лесник направился к пошатнувшемуся кедру с развилом, и только теперь Олег Дмитриевич заметил на окостенелом суку кедра висящее ружье, патронташ с ножнами и опять подумал, что холодно леснику в одной рубахе, да еще с распахнутым воротом. Но когда снова увидел Захара Куприяновича возле себя, грудастого, краснощекого и почувствовал на голой уже ноге ненастывшие его руки, успокоился, заключив, что это и есть истинный сибиряк, о которых много говорят и пишут, а осталось их не больше, чем уссурийских тигров в тайге, — отдельные лишь семьи, которые в лесах затерялись.

Перетянув ногу бинтами, взятыми из аптечки корабля, Захар Куприянович сказал, что ничего будто бы особенного нет, чем-то придавило голень, и вот опухла нога, но идти он едва ли сможет и что загорать им придется здесь до вечера.

— А вечером что? — спросил космонавт, ругая про себя конструкторов, до того облегчивших корабль и так уверенных в точной его посадке, что наземной связи они не придали почти никакого значения, и она накрылась еще на старте, при прохождении кораблем земной атмосферы. Древняя, но прочная привычка русских людей: поставить хороший дом да прибить к дверям худые ручки, дотащится, видать, до второго тысячелетия и, может быть, даже его переживет.

Уйти от корабля, даже если бы и нога была здорова, космонавт не мог до тех пор, пока сюда не прибудут люди, которым нужно передать машину.

— Так что же вечером? — повторил Олег Дмитриевич вопрос впавшему в полусон и задумчивость леснику.

— Вечером? — встряхнулся старик. И космонавт понял, что он держится с людьми напряженно оттого, что сильно оконтужен. — Вечером Антошка придет, — отозвался Захар

Куприянович и, как бы угадывая мысли космонавта, молвил: — Извини. Бывает со мной. Затупляется тут, — постукал он себя по лбу и откашлявшись, продолжал: — Не мое это дело, как говорится, но вот что все же вдичь мне, Алек Митрич? Вот приземлился ты, слава богу, можно сказать, благополучно, а ни теплых вещей при тебе, ни оружия, ну никакого земного приспособления и провианту? Вот и Беляев с Леоновым пали в Перьмскую землю, так их тоже, по слухам, одевали местные жители?..

У лесника был мягкий говор, и космонавт, слушая, как он распевно тянул гласные «а» и «е», усмехнулся про себя, вспомнив, что представлял выговор сибиряков по хору, который, как и Волжский, и Уральский, в основном нажимают на букву «о», заворачивая ее тележным колесом — тем самым люди искусства упорно передают местный колорит и особенность говора, а получается, что везде одинаково кругло окают, и это очень смешно, но не очень оригинально.

— А ежели бы я в самом деле шпиён оказался? — донимал тем временем Захар Куприянович. — А хуже того — беглый бандит какой? Ну, а пронеси тебя лешаки в чужое осударство?

— Это исключено, отец, — уже сухо, отчужденно сказал космонавт и, поправляя неловкость, громче добавил: — Каждый грамм в корабле рассчитан...

— Так-то оно так. Ученые, они, конечно, знают, что к чему. И все же наперед учитывать надо бы земное имущество. А то из-за пустяка какова такая важная работа может насмарку пойти... Вон в семисят первом году трое сразу загинуло. Какие ребята загинули! Расея вся плакала об их... — Лесник сурово шевельнул бровями и печально продолжал: — Я как сейчас помню, сообщенье об взлете передали, а моя клуха в слезы: «Зачем же троих да в троицу? Небо-то примет, а земля как?» Я ее чуть не пришиб потом. Накаркала, говорю, клятая, накаркала!..

— Что, серьезно так и сказала? — приподнялся на лапнике космонавт, пораженно уставившись на лесника.

— Врать буду?! Она у меня не то кликуша, не то блаженная, не то еще какая... Как меня на фронте ранило почти до смерти — в горячке валялась, пока я не отошел... Вот и не верь во всякую хреновину! С одной стороны высший класс науки, люди на небеси, как в заезжем доме, а в тайге нашей все еще темнота да суеверие... Но душа-то человеческая везде поодинаковому чувствует горе и радость. Скажи, не так?

— Так, Захар Куприянович, так. И плакали по космонавтам мы теми же слезами. — Олег Дмитриевич задумался, прикрыл глаза. — И что еще будет?.. Освоение морей и океанов, открытие Америки взяло у человечества столько жизней!.. Так ведь это дома, на земле... Там, — кивнул космонавт головою в небо, — все сложней... Там море без конца и края, темное, немое... Но и там будут свои Робинзоны... Так уж, видать, на роду написано человеку — к совершенству и открытиям через беды и потери...

Захар Куприянович слушал космонавта не перебивая, хмурясь все больше и больше, затем двинул ногой в костер обгоревшие на концах бревешки, выхватил топор из кедра, одним махом располовинил толстый чурбак, пристроил поленья шалашом и мотнул головой:

— Пойду дров расстараюсь, а ты подремли, коли не окоченел вовсе.

— Нет, мне тепло.

— Да оно холодов-то больших и нет. Сёдня с утра семь было, ополудень того меньше. Ноябрьская еще погода. Вот уж к рожеству заверне-о-о-от! Тогда уж тута не садись! В Крым меть! Я там воевал, — пояснил лесник. — Благодать там! Да вот жить меня все же потянуло сюда... Н-нда-а-а-а, вот и по твоему рассужденью выходит: дом родной, он хоть какой суровай, а краше его во всем свете нету...

— Как же найдет нас Антошка? — чувствуя, что лесника потянуло на долгий разговор, прервал его космонавт. — И кто он такой?

— Антошка-то? А варнак! Юбилейного выпрыску варнак! К двадцатилетию Победы выскочил на свет, а известно: поздний грех грешнее всех. Наказанье мне в образе его от бога выпало за тот грех. Держу при себе. Ежели в город отпустить — он там всех девок перешшупает — такой он у меня развытной да боевой! На алименты истратит всего себя!.. — Лесник сокрушенно покачал головой, и, придвинувшись, доверительно сообщил: — Вот и лес кругом, сплошная тайга, а он и здесь эти, как их, кадры находит! То на лесоучастке, то в путевой казарме... Как марал, кадру чует носом и бежит к ей, аж валежник трешшыт! Шийдисят верст ему не околица! Деру его, деру, а толку...

Захар Куприянович плюнул под ноги и шагнул по мелкому еще снегу к кедру с отростком-сухариной. Космонавт не мог понять: отчего же это у одного дерева стволы разного цвета? Стукнул обухом по сухарине Захар Куприянович, прислушался, как прошел звон от комля до вершины

по дрогнувшему дереву, и, поплевав на руки, крепко ахая к каждому взмаху, стал отделять от кедра белый, на мамонтовый бивень похожий, отросток, соря крупно зарубленной щепой на стороны.

Свалив сухарину, лесник раскряжевал ее, поколол на сутунки и подладил огонь, и без того горевший пылко, но по-печному ровно, без искр и трескотни. Кедр без братнего ствола сделался кособоким, растрепанным, в нем возникла просветь, и в самой тайге тоже образовалась проглядина. «В любом месте, в любом отрезке жизни все на своем месте находится», — с легкой грустью отметил космонавт.

Присевши на розовенькое внутри кедровое полено, Захар Куприянович принялся крутить цигарку, отдыхиваясь, не спеша. На круто выдавшихся надбровьях его висели осколки щепы, переносицу окропило потом. Олег Дмитриевич успел выпить еще колпачок кофе, выдавил тюбик белковой смеси и мечтательно сказал:

— Хлебца бы краюшечку, ржаного, с корочкой!

Лесник через плечо покосился на него, искривил рот в улыбке, и получилась она усмешкой.

— Что, ангел небесный, на искусственном-то питанье летать будешь, а на гульбу уж, значит не потянет? — и поглядел на небо. — Скоро-скоро постолую тебя ладом, будет хлебец и похлебка, а ежели разрешается, то и стопка. А покуль скажи, Алек Митрич: винтолет прилетит — ему нужна площадка или как? Я вон дров наготовил для сигнала, если что...

— Поляна есть?

— Как не быть. В версте, чуть боле — мой покос. Надо сигналить, дак я и стог зажгу...

— Ну, зачем же сено губить! Попробуем до корабля добраться. Там у меня кое-что посущественней есть для сигналов...

— Дело твое, — спокойно сказал Захар Куприянович, подставляя космонавту плечо. — Но коли потребуется, избу спалю — не изубычусь...

Космонавт поднялся, шагнул и, охнув от боли, почти повис на Захаре Куприяновиче. Тот ловко подхватил его под мышку и понес, давая ему лишь слегка опираться здоровой ногой. Получалось так, что будто бы космонавт шел сам, но он лишь успевал перебирать ногами.

Волною повалило полосу хвойного подлеска. Начисто снесло зеленую шапку с огромного кедра. Ударившись о

ствол другого дерева, корабль уже боком, взадир прошелся по нему, сорвал ветви, располосовал темную рубаху с розовой подоплекой, а попутно посшибал и наружные присоски антенн с корпуса корабля.

«Ах, дура, дура моторная! — изругал себя космонавт, глядя на кедр. — Нашел время разгадывать загадки. А если б на скалы попал или в жилое место?..»

Под кораблем и вокруг него оплавился снег, видны сделались круглые прожилистые листья лесного копытника, заячьей капусты, низкорослого, старчески седого хвоща, и свежо рдела на белом мху осыпавшаяся брусника, а жесткие листья брусничника раскидало по земле. Всюду валялись прелые, кедровками обработанные, шишки, иголки острой травы протыкали мох, примороженные стебли морошки с жухлым листом вырвало и смело под дерева. Гибкий березник-чапыжник с позолотою редкого листа на кронах, разбежавшийся по ближней гривке, встревоженно разбросало по сторонам, а пихтарник, скрывающийся под ним, заголило сизым исподом кверху.

Вдали, над вершинами кедрачей, туманились крупные горы — шиханы. Ржавый останец с прожильями снега в падях и темными былками хребтовника, курился, будто корабль перед стартом. За перевалами садилось солнце, яркое, но уже по-зимнему остывшее, не ослепляющее. Тени от деревьев чуть обозначились, и у корабля стала проступать голубоватая тень. Где-то разнобойно крякали кедровки, стучал дятел, вишневоголовая птичка звонко и четко строчила на крестовнике пихты, повернувшись на солнце дергающимся клювом.

«Люди добрые, хорошо-то как!» — умилился Олег Дмитриевич и, наклонившись, сорвал щепотку брусники. Ягода была налита дремучим соком тайги. Она прошлась по крови космонавта холодным током, и он не только слухом и глазами, а телом ощутил родную землю, ощутил и вдруг почувствовал, как снова, теперь уже осознанно царапнуло горло. «Вот еще!..» Подняв лицо к небу, космонавт скрипуче прокашлялся и попросил лесника помочь ему подняться в корабль. Он подал Захару Куприяновичу плоский ящичек, мягкий саквояж с замысловатой застежкой и осторожно опустился на землю.

Когда они отошли шагов на десять, Олег Дмитриевич оглянулся, полюбовался еще раз кораблем и обнаружил,

что формой своей, хотя отдаленно, он и в самом деле напоминает тульский самовар с узкой покатистой талией.

Корабли-одиночки: корабли-разведчики и одновременно испытательные лаборатории новой, не так давно открытой плазменной энергии — не прихоть и не фокусы ученых, а острая необходимость. В требухе матери-Земли, вежливо называемой недрами, — скоро ничего уже не останется из того, что можно сжечь, переплавить: все перерыто, сожжено, и реки земли сделались застойными грязными лужами. Когда-то бодро называемые водохранилищами и даже морями, лужи эти все еще крутили устарелые турбинные станции, снабжая электроэнергией задыхающиеся дымом и копотью города. Но вода в них уже не годилась для жизни. Надо было снова вернуть людям реки, надо было лечить Землю, возвращая ей дыхание, плодотворность, красоту.

Старинное, гамлетовское «Быть или не быть...» объединило усилия и разум ученых Земли, и вот спасение от всех бед, надежда на будущее — новая энергия, которая не горела, не взрывалась, не грозила удушьем и отравой всему живому, энергия, заключенная в сверх прочном поясе этого корабля-«самовара», подобная ртути, что разъединяясь на частицы, давала импульсы колоссальной силы, а затем кристаллами скатывалась в вакуумные камеры, где, опять же подобно шарикам ртути, соединялась с другими, «отработавшимися» уже кристаллами и, снова обратившись в массу, возвращала в себя и отдавала ту недостающую частицу, которая была истрачена при расщеплении, таким вот путем образуя нить или цепь (этому даже и названия еще не было) бесконечно возникающей энергии, способной спасти все сущее на Земле и помочь человечеству в продвижении к другим планетам...

Открытие было настолько ошеломляющим, что о нем еще не решались громко говорить, да и как объяснить это земному обществу, в котором одни члены мыслят тысячелетиями вперед, другие — все тем же древним способом: горючими и взрывчатыми веществами истребляют себе подобных, а племена, обитающие где-то возле романтического озера Чад, ведут первобытный товарообмен между собою...

Ах, как много зависело и зависит от этого «самоварчика», на котором летал и благополучно возвратился «домой» русский космонавт! Все лучшие умы человечества, с верой и надеждой, может быть, большей верой, чем древние ждали когда-то пришествие Христа — избавителя от всех бед, — ждут его, обыкновенного человека, сына Земли, который и

сам еще не вполне осознавал значение и важность работы, проделанной им.

— Так какова, отец, таратайка? — продолжая глядеть на корабль и размышляя о своем, полюбопытствовал космонавт.

— Да-а, паря, таратайка знатная! — подтвердил Захар Куприянович. — Умные люди ее придумали. Но я нонче уж ничему не удивляюсь. Увидел в двадцатом годе на Сибирском тракту «Аму» — как удивился, так с тех пор и хожу с раскрытым ртом... Сам посуди, — помогая двигаться космонавту к костру, рассуждал лесник. — При мне появилось столько всего, что и не перечесть: от резинового колеса и велосипеда вплоть до бритвы-жужжалки и твово самовара! Я если нонче увижу телегу, ладом сделанную, либо сбрую конскую, руками, а не ногами сшитую, — пожалуй больше удивлюся...

Он опустил космонавта на лапник, набросил на спину его полушубок, поворошил огонь и прикурил от уголька.

— Нога-то чё? Тебе ведь придется строевым к правительству подходить. Как, захромаешь?! — Захар Куприянович подморгнул Олегу Дмитриевичу, развел широкий рот в кривой улыбке, должно быть, ясно себе представляя, как это космонавт пошкондыбает по красной дорожке от самолета к трибуне.

— Врачи наладят, — охладил его космонавт. — У нас врачи новую ногу приклепают — и никто не заметит!..

Захар Куприянович поворошился у огня, устроился на чурбаке, широко расставил колени.

— Фартовые вы! — Олег Дмитриевич вопросительно поднял брови. — Фартовые, говорю, — уже уверенно продолжал старик. — Вот слетаете туды, — ткнул он махорочной цигаркой в небо, — и все вам почести: Героя Звезду, правительство с обниманием навстречу! Ну, само собой, фатера, зарплата хорошая... А если, не дай бог, загинет который — семью в нужде не оставят, всяким довольством наделят...

— Ну, а как же иначе, отец? Что в этом плохого?

— Плохого, конечно, ничего нет. Все очень правильно. На рыск идете... Но вот, Алек Митрич, что я скажу. Ты токо не обижайся, ладно?

— Постараюсь.

— Вот и молодец! Так вот, как на духу ответь ты мне, Алек Митрич: скажем, солдат, обыкновенный солдат, когда из окопу вылазил и в атаку шел... а солдат штука шибко чутливая, и другой раз он твердо знал, что поднялся в по-

следнюю атаку. Но совсем он нетвердо знал — схоронят ли его по обряду христианскому. И еще не знал что с семьей его будет. О почестях, об Герое он и подавно не думал — сполнял свое солдатское дело, как до этого сполнял работу в поле либо на заводе... Так вот скажи ты мне, Алек Митрич, только без лукавства, по совести скажи: кто больше герой — ты или тот бедолага-солдат?

— Тут двух ответов быть не может, отец, — строго произнес космонавт. — Как не могло быть ни нас, ни нашей работы, если б не тот русский солдат.

Захар Куприянович глядел на огонь, плотно сомкнув так и не распрямляющиеся губы, и через время перехваченным голосом просипел:

— Спасибо. — Помолчав, он откашлялся и, ровно бы оправдываясь, добавил: — Одно время совсем забывать стали о нашем брате солдате. Вроде бы сполнил он свое дело — и с возу долой! Вроде бы уж и поминать сделалось неловко, что фронтовик ты, окопный страдалец. Награды перестали носить фронтовики, по яшшыкам заперли... Это как пережить нам, войну заломавшим? Это ведь шибко обидно, Алек Митрич, шибко обидно... Вот я и проверил твою совесть, кинул вопросик язвенный. Ты уж не обижайся...

— У меня отец тоже фронтовик. Рядовой. Минометчик.

— А-а! Вот видишь, вот видишь! — Лицо Захара Куприяновича прояснилось, голос сделался родственней. — Да у нас ведь искорень все от войны пострадавшие, куда ни плюнь — в бойца попадешь боевого либо трудового. И не след плеваться. Я ж, грешник, смотрел на космонавтов по телевизеру и думал: испортят ребят славой, шумом, сладкой едой... Вишь вот — ошибся! Неладно думал. Прости. И жене этого разговора не передавай.

—«Фартовые, — повторил про себя космонавт. — У всякого времени, между прочим, были свои баловни и свои герои, но не все пыжились от этого, а стеснялись своего положения. И вызывающий ответ одного из первых космонавтов на глупый вопрос какого-то заслуженного пенсионера, ставший злой поговоркой: «Где лучше жить — на земле или в космосе?» — «На земле! После того как слетаешь в космос!» — был продиктован чувством неловкости и досады, и ничем другим».

— Я не могу ничего передать своей жене, Захар Куприянович, потому что не женат.

— Н-н-но-о-о?! Худо дело, худо! — Захар Куприянович, стараясь держаться в дружеском тоне, почесал голову под

шапкой. — Это ведь они, девки-то как мухи на мед, на тебя набросятся и закружат! Закружа-а-ат. Не старый еще, при деньгах хороших, на виду у всего народа! Закружа-а-аат! Ты, паря, уши-то не развешивай, какую попало не бери, а то нарвешься на красотку — сам себе не рад будешь!..

Олег Дмитриевич улыбался, слушая ровную текучую речь Захара Куприяновича, его полунасмешливые советы по части выбора половины и все время пытался представить своего отца на месте лесника. Ничего из этого не выходило. Тот застенчивый, потерянный вроде бы в жизни, чем-то напоминающий чеховского интеллигентного чиновника, хотя вечный работяга сам и произошел из рабочей семьи. Говорят: баба за мужиком. А у его родителей все получилось наоборот. Пока мать жила — и отец как отец был, хозяин дома, глава, что ли. Но перед самой войной свернула тяжкая болезнь полнощекую, бегучую, резвую мать и унесла ее в какой-то месяц-два в могилу, и сразу отец сиротой стал, а Олег и подавно.

До десяти лет, пока отец с войны не возвратился, Олег воспитывался у тети Ксаны. И устал. Устал от ее правильности, нерусской какой-то правильности, от сознания места, какое он занимал в чужой семье.

Было у тетки еще двое детей — дочь и сын. И все, что делалось или покупалось для них, делалось и покупалось для него. Но только яблоко ему почему-то попадалось с червяком, штаны заплатанные, ботинки поношенные, тарелка за столом в последнюю очередь... Ему все время давали почувствовать — чье он ест и пьет. И он не забывал об этом. Если поливал огород — не считал за труд принести лишнюю бадью воды, если чистил свинарник — выскабливал его до желтизны, если рвал рубаху — дрожал осиновым листом; разбитое стекло спешил сам и застеклить, хотя тетя Ксана никогда его не била, а своих лупцевала походя, и они с неприязнью, а порой и враждебностью относились к сводному брату, вредили ему чем могли. Тетушка, горюнясь лицом, часто повторяла: «Олежек, тебе полагается быть поскромнее да потише. Ласковый теленок две матки сосет, грубой — ни одной...» И это было хуже побоев.

Как же он был счастлив, когда вернулся с войны отец. Униженно выслушав тетю Ксану и униженно же отблагодарив ее старомодным поклоном за все, что она сделала для сына, отец отремонтировал хлев, покрыл заново крышу на домине тетушки, подладил мебель, переложил печь, из старого теса выстрогал «гардероп» — и не взял, к радости Оле-

га, никаких денег за это и ничего из шмуток, «заведенных сиротке». Он взял сына за руку и увел его с собою.

Отец по профессии столяр-краснодеревщик, и поселились они жить в узенькой комнатке при мебельном комбинате. После смерти матери тихоня-отец пристрастился к выпивке, а на войне еще больше втянулся в это дело. Олег привык к нему пьяненькому и любил его пьяненького, смущенного и доброго. Воля Олегу была полная — живи и учись как знаешь, обихаживай дом как умеешь. И Олег учился ни шатко, ни валко, дом вел так же, однако к самостоятельности привык рано. Отец чем дальше жил и работал, тем больше ударялся в домашний юмор, называл себя столяром-краснодырщиком, краснодальщиком, краснодарильщиком и еще как-то. На комбинате заработки после войны были худые, отец халтурил на дому: делал скамьи, табуретки, столы и коронную свою продукцию — «гардеропы». Приморский городишко и особенно окраинные его поселки были забиты отцовскими неуклюжими «гардеропами». В любом доме Олег натыкался на эти громоздкие сооружения, покрашенные вонючим, долго не сохнущим лаком. За «гардеропы» в дому их не переводилась еда, стирали им бабенки, изредка подбирали в комнате, где все пропахло лаком, стружками и рыбьим клеем.

Как хорошо, как дружно жили они с отцом! Один раз, один только раз отец наказал его. Олегу шел шестнадцатый год. Он ходил в порт на разделку рыбы вместе с поселковыми ребятами, выпил там и покурил. Отец снял со стены старый солдатский ремень и попытался отстегать Олега. Покорно стоял паренек среди комнаты, а отец хвостал его мягким концом ремня и задышливо кричал: «Хочешь, как я?! Хочешь, как я?! Пьянчужкой чтобы?..»

Потом он отбросил ремень, сел к столу и заплакал: «Конечно, была бы мать жива, разве бы распустила она тебя так...»

Олег подошел, обнял отца, сухонького, слабого, и поцеловал его руку, опятнанную краской...

С тех пор он никогда не напивался. Курить, правда научился, но в летной школе пришлось и с этой привычкой расстаться. А отец, как жил, так и живет в приморском городишке, в той самой комнатке, обитой изнутри квадратами фанеры, и никакими путями не вызволить его оттуда. «Вот уж когда женишься, внуки пойдут... А пока не тревожь ты меня, сынок. Мне здесь хорошо. Все меня знают...»

Суетятся сейчас соседи, особенно соседки. В поселке дым коромыслом! — снаряжают отца в дорогу. А он, страшась этой дороги и всего, что за нею должно последовать, хорохорится: «Мы, столяры-краснодеревщики, нигде не пропадем!»

Космонавт улыбнулся и тут же с тревогой подумал: «Не сказали бы отцу, что я потерялся. Сердчишко-то у него...» — И вспомнилось ему, как после гибели Комарова отец, наученый, должно быть, соседками, намекал в письме, будто космонавт выбрался из ракеты в океан и плавает на резиновой лодке, и надо бы искать его, не отступаться. Слышал о Комарове отец в поселковой бане, и в бане уж зря не скажут, сам, мол, знаешь — отвеку все сбывалось, что здесь говорили... Олег прочел послание отца друзьям.

Покоренные простодушием письма, космонавты весь вечер проговорили о доброте и бескорыстии своего народа, и так уж получилось, что письмо то вроде бы и горе подрастопило, начала исчезать подавленность. Но не успели пережить одну беду, как громом с ясного неба ударила гибель Юры, а вскоре целиком экипаж «Союза»... Сколько же еще возьмет славных братьев это самое завоевание космоса?! Слово-то какое — завоевание!

— Захар Куприянович, как скоро придет этот самый варнак Антошка?

— Антошка-то? — Захар Куприянович передернул плечами, посмотрел выше кедров. — А скоро и будет. Вот стрельнем — он и будет! — Лесник снял с дерева двустволку, поднял ее на вытянутой руке и сделал дуплет. Выбросив пустые гильзы, зарядил ружье, чуть пошабашил и еще сделал дуплет. — Скоро будет, — прибавил он, цепляя ружье на сук. — Я думал, ты задремал?

— Об отце я думал. Беспокоится старик.

— Как не беспокоиться? Дело ваше рысковое, говорю. Матери-то нет? Нету-у... Значит, отцу за двоих угнетаться. Ты там леташь выше самого господа бога, а он тут с ума сходи!.. Ох, дети, дети, и куда вас, дети? Ты ему весточку пошли, отцу-то.

— Как же я ее пошлю?

— Отсуда телеграфу, конечно, нету. А шийдисят верст пройдешь — будет станция березай, кто хочет — вылезай! Оттудова и пошлем отцу телеграмму, свяшшыкам твоим и всем, кому надо. — Предупреждая вопрос космонавта, Захар Куприянович пояснил: — Значит, об эту пору варнак мой с работы является. И сразу к матке: «Где тятя?» —

«В лесу тятя». А тятю немецким осколком по кумполу очеушило. Он идет, идет, да и брякнется — копыта врозь. Лежит, все чует, а подняться не может. В городу один раз поперек тротуара — дак трудящие перешагивают, пьяный, говорят, сукин сын... Ну, а тут, в лесу, лежу-лежу — и отлежуся. Но ежели в назначенное время не явлюсь — Антошка находит меня, в чувствие приводит либо волокет на себе домой. Означенное время как раз наступило. Антошка по следу моему счас шарится.

— Как же вы, Захар Куприянович, с падучей — по тайге?

— А что делать-то, паря? На пече лежать? Так я в момент на ней засохну и сдохну. Во! — насторожился он и поднял предостерегающе палец. — Идет, бродяга, ломится!

Олег Дмитриевич напряженно вслушался, но ничего в тайге не уловил, никаких звуков. Редкие птицы уже смолкли. От деревьев легли и сгустились тени. В костре будто пощелкивали кедровые орешки, шевелилась от костра на снегу хвостатая тень. Стукнул где-то дятел по сухарине и тоже остановил работу, озадаченный предвечерней тишиной. Витушки беличьих и соболиных следов на снегу сделались отчетливей, под деревьями пестрела продырявленная пленка снега, от шишек, хвои и занесенных с березника ярких листочков.

Покойно и сурово было в тайге. Сумеречь накатывала со всех сторон, смешивала тени леса и сам лес. Бескрайняя таежная тишина, так же как и в космосе, рождала чувство покинутости, одиночества — казалось, нигде в миру нет ни единой души, и только тут, возле огня, прибилась еще какая-то жизнь. Олег Дмитриевич поежился, представив себя совершенно одного в этой тайге. Что бы он здесь делал, как ночевал бы? Уйти-то нельзя. Пулял бы ракеты вверх и ждал у моря погоды, испытывая оторопь и неизведанный, ни с чем не сравнимый страх человека, поглощенного тайгой, настолько большой и труднодоступной, что ее не смогли до сих пор свести под корень даже с помощью современной техники.

В пихтовнике раздался шорох, качнулись ветви, заструилась с них изморозь, и в свете костра возник парень на лыжах, в телогрейке, в сдвинутой на затылок беличьей шапке, с бордовым шарфом на шее. Он резко затормозил лыжами возле костра и пораженно глядел то на отца, то на космонавта.

— Знакомься...

— А я думал...

— Думал, думал... — буркнул Захар Куприянович и стал собираться, укладывая кисет и спички в карман.

— Я думал... Так это Олег Дмитриевич, что ли?!

— Он! — торжественно и гордо заявил отец. — Посиди вот с им, покалякай. А лыжи и телогрейку мне давай!

Парень снимал лыжи, телогрейку, а сам не отрывал взгляда от космонавта, будто верил и не верил глазам своим.

— А вас ищут! Засекли, что вы в районе нашего перевала упали, а где точно, не знают. Назавтра поиски всем леспромхозом организуются.

— Назавтре, — проворчал Захар Куприянович. — А сёдня, значит, загинайся человек!

— Сё-одня! — передразнил сын отца. — Сёдня все на работе были, как тебе известно. Звонок недавно совсем директору, а от директора покуль нашего участка добились... Меня Антоном зовут, — парень подал руку космонавту и коротко, сильно жманул. — В порядке все?

— Ногу немножко...

— Донесем! — с готовностью откликнулся Антон. — На руках донесем! Такое дело! Ты чё это, тятя, ковыряешься, как покойник?

— Утрись! — цыкнул Захар Куприянович на сына, взял таяк и по-молодецки резво перебросил ногою лыжу. — Не надоедай тут человеку! — наказал он и широко, размашисто катнулся от костра, и лес сразу поглотил его.

— Силен мужик! — покрутил головой космонавт и хитровато покосился на Антошку. — Дерет тебя, сказывал?

— Махается! — нахмурился парень, опустив глаза. — Другого б я заломал. А его как? Отец! Да еще израненый... — Парень достал из кармана пачку папирос, протянул быстро космонавту, но опамятовался, сделал «чур нас!» и закурил сам, лихо чиркнув замысловато сделанной из дюраля зажигалкой. Прикуривал он как-то очень уж театрально, топыря губы и отдувая чуб, в котором светились опилки.

«Кокетливый какой!» — улыбнулся космонавт.

Под серым свитером, плотно облегающем окладистую фигуру парня, разлетно прямели плечи. Руки крупные, на лице тоже все крупно и ладно пригнано, волосы отцовские, рыжеватые, глаза чуть шалые и рот безвольный, улыбчивый. «Этот парень будущей жене и командирам в армии — не подарок! Этот шороху в жизни наделает! — любуясь парнем, без осуждения, даже будто с завистью думал Олег Дмитриевич. — Сейчас он, пожалуй что, в космонавты начнет проситься...»

Антошка, перебарывая скованность, мотнул головой в темное уже небо:

— Страшно там?

«Во, кажется, издалека подъезжает», — отметил космонавт и произнес:

— Некогда было бояться. Вот здесь когда оказался — страшно сделалось.

— Х-хы, чё ее, тайги-то, бояться? Тайга любого укроет. Тайга добрая...

— До-обрая. Не скажи!

— Конечно, к ней тоже привыкнуть надо, — рассудительно согласился парень и неожиданно спросил: — А вам Героя дадут?

— Я не думал об этом.

Антошка с сомнением глядел на космонавта, а затем так же, как отец, сдвинул шапку на нос, почесал голову и воскликнул:

— Во жизнь у вас пойдет, а! Музыка, цветы! А девок, девок кругом! Что тебе балерина, что тебе кинозвезда!..

«Голодной куме все хлеб на уме! И этот о том же!» — усмехнулся Олег Дмитриевич и подзадорил Антошку:

— Любишь девок-то?

— А кто их, окаянных, не любит?! Помните, как в байке одной: «Тарас, а, Тарас! Девок любишь? Люблю. А они тебя? И я их тоже!» Ха-ха-ха! — покатился Антошка, аж дымом захлебнулся и тут же посуровел лицом: — Отец небось наболтал? Как сам к Дуське-жмурихе в путевую казарму прется, так ничего...

— До сих пор ходит?!

— Соображает!

— Ему сколько же?

— Шестьдесят пять.

— Тут только руками разведешь!

— И разведешь! А на меня, чуть чего — веревкой! Избалуешься! Эта самая свекровка, которая снохе не верит! — заключил Антошка и ерзнул на чурбаке. — Да ну их, несерьезные разговоры. Трепотня голимая!.. Я вот об чем хочу вас спросить, пока тяти нет. Вот мне восемнадцать, девятнадцатый, мне еще в космонавты можно?

«Вот. Дождался! А сколько будет этого еще? Вон ребят наших прямо заездили вопросами да просьбами. Пенсионеры и те готовы лететь в космос, хоть поварами, хоть кучерами...»

— Образование какое у тебя?

— Пять.

— Маловато. Представляешь ли ты себе наш труд?

— Представляю. По телевизору видел, как вас, горемышных, на качулях и на этой самой центрифуге мают, и как в одиночку засаживают... Тяжело, конечно... разговорчивый если — совсем хана!..

«Ну, этот сознательный. С этим я быстро слажу».

— И это, Антон, не самое главное. Труд каждодневный, требующий все силы: физические, умственные, духовные. Жить нужно в постоянном напряжении, работать, работать, работать... Сила воли ой какая нужна! Самодисциплина прежде всего!..

Парень задумался, поскучнел.

— Учиться, опять жé... А я пять-то групп мучил, мучил!.. Отец каждую декаду в поселок наезжал, жучил меня. Видите, какие большие ухи сделались, — доверительно показал Антошка ухо, приподняв шапку, — за семь-то лет!

— Так ты что, — рассмеялся космонавт. — Семь лет свои классы одолевал?!

— Восемь почти. На восьмом году науки отец меня домой уволок. Ох и бузова-ал! «Раз ты, лоботряс, лизуком хочешь жить, ну, значит, легко и сладко, — пояснил Антон, — пила и топор тебе! Ломи! Тайги на тебя еще хватит!» Но я его надул! — хмыкнул Антошка. — Он мне двуручку сулил, а я бензопилой овладел! На работу я зарный — валю лесок. — Антон неожиданно прервался, совершенно другим тоном, деловито распорядился: — Приготовьте все, что надо: телеграммы там какие, сообщения. Сейчас тятя придет, и я на участок.

Из пихтарника выкатился Захар Куприянович с большим мешком за спиной.

— Живы-здоровы, Алек Митрич? — поинтересовался он. — Не уморил частобайка-то трепотней?

Антошка насупился. Лесник сбросил с плеч собачью доху, накинул ее на Олега Дмитриевича, затем вытряхнул из мешка подшитые валенки, осторожно надел их, сначала на поврежденную ногу космонавта, затем на здоровую. После этого достал деревянную баклажку, опоясанную берестой, поболтал ею и налил в кружку.

— Чё мало льешь? Жалко? — вытянул шею Антошка.

Отец отстранил его рукой с дороги и протянул кружку космонавту:

— Ожги маленько нутро, Алек Митрич. Ночь надвигается, — настойчиво сказал он. — Потом уж как можешь. —

И пока космонавт отдыхивался, хватив несколько глотков чистого спирту, пока жевал теплое мясо, с краюшкой домашнего хлеба, с хрустящей корочкой (не забыл, старик!), Захар Куприянович наказывал Антошке, что и как делать дальше.

В блокноте, почти исписанном от корки до корки, Олег Дмитриевич быстро набросал несколько телеграмм, одну из них, самую краткую, — отцу. Антошка стоял на лыжах, запоясанный, подобранный, ждал нетерпеливо. Засунув бумажки под свитер, на грудь, и заправив шарф, он пружинисто выдохнул:

— Так я пошел! Я живчиком!..

— Надежно ли документы-то схоронил? — спросил отец и начал наказывать еще раз: — Значит, не дикуй, ладом дело спроворь. Сообщи, стало быть, номер лесничества, версту, квартал в точности обрисуй. Винтолет ежели прилетит, чтобы на покос садился. Мы туда к утре перетаборимся... Все понял?

— Да понял, понял!

— Ты мордой-то не верти, а слушай, когда тебе сурьезное дело поручают! — прикрикнул на него отец. — Может, ночью винтолет полетит, дак огонь, скажи, на покосе будет. Ну, ступай!

Антошка мотнул головой, свистнул разбойничьим манером и рванул с места в карьер — только бус снежный закрутился!

— Шураган! Холера! — Захар Куприянович ворчал почти сердито, однако с плохо скрытой довольностью, а может, и любовью. — Моя-то, клушка-то: «Ах, господи! Ах, боже мой! И что же теперь будет?! Ах! Ах!» — засуетилась, а сама не в ступ ногу. Горшок с маслом разбила. Суда собиралась, да ход-то у ей затупился. Капли пьет. Молока вот тебе послала. Горячее ишшо. — Лесник вынул из-под телогрейки вторую флягу и протянул Олегу Дмитриевичу.

Космонавт отвинтил крышку, с трепетным удовольствием выпил томленного в русской печи молока.

— Ах, спасибо Вот спасибо! Сеном пахнет! — В голове его маленько пошумливало и шаталось, сделалось ему тепло и радостно. — А вы-то? Вы ж не ели?

— Обо мне не заботься, — махнул рукою лесник. — В доху-то, в доху кутайся. Студеней к ночи сделалось.

— Нет, мне тепло. Хорошо мне. Вот, Захар Куприянович, как в жизни бывает. Никогда я не знал вас, а теперь

вы мне как родной сделались. Помнить буду всю жизнь. Отцу расскажу...

— Ладно, ладно, чего уж там... Свои люди. — Захар Куприянович смущенно моргал, глядя на темные кедрачи.— Не я, так другой, пятый, десятый... У нас в тайге закон такой издревле. Тут через павшего человека не переступят...

Спустя малое время Захар Куприянович укутал космонавта, сомлевшего от спирта и еды, в полушубок и доху, убеждая, что поспать нужно непременно — много забот и хлопот его ожидает, стало быть, надо сил набраться.

Размякший от доброй ласки, лежал космонавт возле костра, глядел в небо, засеянное звездами, как пашня нерадивым хозяином: где густо, где пусто, на мутно проступающие в глубинах туманности, по которым время от времени искрило, точно по снежному полю; на кругло катящуюся из-за перевалов вечную спутницу влюбленных и поэтов, соучастницу свиданий и разлук, губительницу душ темных и мятежных — воров, каторжников, бродяг, покровительницу людей больных, особенно детишек, которым так страшно оставаться в одиночестве и темноте.

Такими же вот были в ту пору небо, звезды, луна, когда и его, космонавта, не было, когда человек и летать-то еще не научился, а только-только прозрел и не мог осмыслить ни себя, ни мир, а поклонялся богу, как покровителю. Боясь его таинственной беспредельности, приближая его к себе и задаривая, человек населил себе подобными, понятными божествами небеса. Но нет там богов. И луна совсем не такая, какою видят ее влюбленные и поэты, а беспредельность, как сон, темна, глуха и непостижима.

Стоило бы каждого человека хоть раз в одиночку послать туда, в эту темень и пустоту, чтобы он почувствовал, как хорошо дома, как все до удивления сообразно на земле, все создано для жизни и цветения. Но человек почему-то сам, своими умными руками рвет, разрушает эту сообразность, чтобы потом в муках воссоединить разорванную цепь жизни или погибнуть.

Олег Дмитриевич смотрел ввысь совершенно отстраненно, будто никогда и не бывал там. Вот приземлился и почувствовал себя учеником, вернувшимся из городского интерната в родную деревенскую избу, после холода забравшимся на русскую печь. Под боком твердая земля, совершенно во всем понятная: на земле этой растут деревья, картошка, хлеб, ягоды и грибы, по ней текут реки и речки, плещутся озера и моря, по ней бегают босиком дети и кричат

чего вздумается. В земле этой лежит родная мать, множество солдат, не вернувшихся с войны, спят беспробудно принявшие преждевременную смерть космонавты — нынешние труженики Вселенной. И дорога земля еще и той неизбежной печальной памятью, которая связывает живых и мертвых.

А там ничего этого нет...

«Не надо об этом думать. Не хочу! Не буду!» — приказал себе космонавт и вышколенно отключился от земной яви, но он чувствовал возле себя человека, близкого, заботливого, а сквозь сомкнутые ресницы и плотно сжатые веки долго еще проникали живые и яркие проблески огня, дыхание вбирало запах кедровой хвои и разопревшего в костре дерева, отдающего сдобным тестом.

Над ним стояла ночь, звонкая, студеная, и звезды роились в небе из края в край. Звезды, которые космонавт видел крупными, этакие сгустки мохнатого огня, порскающего яркими ошметками, — были опять привычно мелки и на привычных местах. Мерцая и перемигиваясь, они роняли слабый, переменчивый свет на землю, на космонавта, сладко, доверчиво посапывающего у костра. Оттопыренные полураскрытые губы его обметала уже бороденка и усы, а под глазами залегла усталость.

Жалея космонавта, разморенного сном, Захар Куприянович осторожно разбудил его, когда начало отбеливать небо с восточной стороны.

— Что снилось-то? Москва? Парад? Иль невеста?

Космонавт озирался вокруг, потирая щеку, наколотую хвоей лапника.

— Не помню. Заспал, — зевая, слабо улыбнулся он.

Щетина на лице Захара Куприяновича заметно загустела, и волос вроде бы толще сделался. Глаза лесника провалились глубже, шапка заиндевела от стойкого, всю тайгу утишившего морозца.

— Измучились вы со мной, — покаянно сказал космонавт. Но лесник сделал вид, что не слышал его, и Олег Дмитриевич прекратил разговор на эту тему — есть вещи, о которых не говорят и которые не обсуждаются.

Солнце еще не поднялось из-за перевалов. Все недвижно, все на росстани ночи с утром. Сизые кедры обметаны прозрачной и хрупкой изморозью. Но с тех, что сомкнулись вокруг костра, капала сырь, и они были темны. Сопки, подрезанные все шире разливающейся желтенькой зарицей, вдали уже начали остро обозначаться.

Над костром булькал котелок, в нем пошевеливался лист брусничника, однотонно сипела в огне сырая валежина. Снег вокруг отемнился сажею. Космонавт шевельнул ногой, приступил на нее и ковыльнул к огню, протягивая руки.

— Эдак, эдак, эть-два! — сказал Захар Куприянович и начал подсмеиваться, он, мол, нисколь и не сомневался в том, что заживет до свадьбы, то есть до парадного марша в Москве. Парад, мол, мертвого на ноги поставит, а уж такого молодца-офицера, будто задуманного специально для парадов, и подавно!

Подтрунивая легко, необидно, Захар Куприянович поливал из кружки на руки космонавту. Велел и лицо умыть — нельзя, чтоб космический брат зачуханный был! Что девки скажут?!

«Ну и мужички-сибирячки! Все-то у них девки на уме!» — обмахивая лицо холщовым рукотерником, который оказался в мешке запасливого лесника, улыбался космонавт. Потом они пили чай с брусникой, громко причмокивая, — воля!

— Здоров ты спать, паря! — потягивая чай из кружки, с треском руша кусок рафинада, насмешливо щурился Захар Куприянович. — Тебе бы в пожарники!

— Не возьмут. Да я и не пойду — зарплата не та, — отшутился Олег Дмитриевич. — Так я спал, так спал!..

Все вокруг нравилось Олегу Дмитриевичу: и студеное утро, и жарко нагоревший костер, и чай с горьковато напревшим брусничником, и дядька этот, с виду только ломовитый, а в житье — просмешник и добряк.

— Да-а, что верно, то верно — говорил и говорить буду: лучше свово дома ничего нет милей на свете. По фронту знаю, — ворковал он, собирая манатки в мешок.

И когда они шли к покосу, космонавт светло озирался вокруг, сбивал рукой снег с ветвей, наминал в горсть, нюхал и даже лизнул украдкой, как мороженое. Остановился, послушал, как ударила в лесу первая синица, хотел увидеть белку, уронившую перед ним пустую, дочиста выеденную шишку, но не увидел, хотя Захар Куприянович и показывал туда, где она затаилась.

Морозец отковал чистое и звонкое утро. Оно входило в тайгу незаметно, но уверенно. Хмурая, отчужденная тайга, расширяясь с каждой минутой, делалась прозористей и приветливей.

Ближе к покосу пошла арёма — высокое разнотравье, усмиренное морозом, среди которого выделялись ушедшие в

зиму папоротники, улитками свернутые на концах. Зеленые их гнезда одавило, и они студенистыми медузами плавали по снегу. Возле речки и парящих кипунов густо росла шарага — так называл лесник кривое, суковатое месиво кустарников, сплетенных у корней. Космонавт улыбнулся, узнав исходную позицию популярного когда-то слова, и поразился его точности.

Посреди поляны толстой бабой сидел стог сена. Из него торчала жердь, как локаторный щуп. Топанина на покосе была сплошная, козья, заячья, на опушке попадались осторожные даже и в снегу, изящные следы косуль и кабарожек. Сохатые ходили напролом, глубоко продавливали болотину у речки, выбрасывая копытами размешанный торф, белые корешки колбы и дудочника. Звери и потеребили стожок, и насыпали вокруг него квадратных орешков. Все-таки строгие охранные меры сберегли кое-что в этой далекой тайге.

По верхней, солнечной закромке покоса флагами краснела рябина; ближе к речке, которая угадывалась по сгустившемуся чернолесью, ершилась боярка, и под нею жестяно звенел припоздалым листом смородинник. По белу снегу реденько искрило желтым листом, сорванным с березников, тепло укрывшихся в заветренном пихтовнике. Осень в Сибири была ранняя, но тянулась долго и сбила с ноги идущую к своему сроку природу.

Солнце поднялось над вершинами дальних, призрачно белеющих шиханов. Заверещали на рябинах рябчики, уркнул где-то косач, и все птицы, редкие об эту пору, дали о себе знать. Чечетка, снегирь, желна! А больше никаких птиц угадать Олег Дмитриевич не смог, но все равно млел, радуясь земным голосам, утру и, блаженно улыбаясь, в который уж раз повторил:

— Хорошо-то так, господи!

Захар Куприянович, вытеребливая одонышки из стога, ухмыльнулся в щетину:

— По небу шаришься, на тот свет уж вздымался, а все господа поминаешь!..

— Что? А-а! Ну, это... — Олег Дмитриевич хотел сказать — привычка, дескать, жизнью данная, и не нашлось до сих пор новых слов для того, чтобы выражать умиление, горечь и боль. Но не было желания пускаться в разговоры, хотелось только смотреть и слушать, и, опустившись на охапку таежного, мелколистного и ошеломляюще духовитого сена, он привалился спиной к стожку и расслабленно дышал, поглядывая вокруг.

Лесник забрался в черемушник — пособирать ягод в котелок. Но только он нагнул черемуху с красноватыми кистями, на которых стекленела морозцем схваченная ягода, как над лесом раздался рык, треск — и в вышине возник вертолет. Он прошел над полями и стал целиться брюхом на стог.

Олег Дмитриевич зажег свечу. Она засветилась, как елочный бенгальский огонь, только шире, ярко бросала она разноцветные искры и не успела еще погаснуть в снегу, как вертолет плюхнулся на поляну, покачался на колесах, вертя крыльями винта, расшуровывая снег с поляны, обнажая иглы стойких хвощей и пушицы.

Лопасти еще вертелись над вертолетом, но вокруг сделалось растерянно-немо после оглушительного рева и треска. Дверь вертолета открылась и оттуда не дожидаясь, когда выкинут подножку, вывалился Антон с развевающимся за спиной бордовым шарфом, с шапкой, вовсе уж отброшенной на затылок.

— Пор-р-р-ядок! Я весь Советский Союз на ноги поднял! — еще издали закричал он и заключил космонавта в объятия, объясняя при этом, что привел вертолет лесоохраны и что вот-вот прибудет вертолет особого назначения, поисковая группа прибудет и много чего будет!..

— Отпусти человека-то, отпусти, вихорь! — заступался за космонавта Захар Куприянович.

Возле вертолета нерешительной стайкой толпилась местная верхушка: директор леспромхоза с парторгом, начальник лесхоза в нарядном, как у маршала, картузе. Девушка в лаковых сапожках и в новом коротеньком пальто — должно быть, представитель здешнего комсомола — терзала в руке цветы; герани, срезанные с домашних горшков, две худенькие квелые розочки и пышную тую.

«Розы-то они, бедные, где же откопали? — изумился космонавт, — должно быть, цветовода-любителя какого-то свалили!» «И, страдая до конца, разбивает два яйца!..» — вспомнилась строчка из «Теркина».

Космонавт поздоровался с местной властью за руку, принял цветы. Девушка залепетала, видимо, заранее подготовленную и порученную ей речь:

— Рады приветствовать... вас... тут... разведчика Вселенной... на нашей... на прекрасной... от имени...

Олег Дмитриевич был смущен не меньше девушки, топтался неловко перед нею и, чтобы поскорее ликвидировать заминку, взял да и поцеловал ее в щеку, покрытую пушком,

чем смутил и оглушил девушку настолько, что она не в состоянии была продолжать речь. Директор и парторг укоризненно глядели на девушку, но она была, видать, не робкого десятка, быстро опамятовалась и, улыбнувшись широко, белозубо, взяла да и сама поцеловала его.

Ритуал разрушился окончательно. Намеченные речи и приветствия отпали сами собой, свободней всем сделалось, и директор леспромхоза, как лицо деловое, начал интересоваться: что нужно предпринять и чем помочь товарищу космонавту? Но тут из вертолета вывалился дядька в очках, за ним выпрыгнул лопоухий пес, помочился на колесо машины, обнюхался, взял след зайца да и ударился в речное чернолесье, поднял там косого дурня, которого после ночных гуляний даже вертолет не разбудил, попер его вокруг вертолета, чуть не хватая за куцый зад.

Никогда не видавший не только машины, но и никакого народу, зайчишка ошалел настолько, что начал прятаться в колесах, будто в чаще. Все хохотали, схватившись за животы. Очкарик, как потом выяснилось, учитель школы и заядлый фотограф, которому до времени не велено было являться из вертолета на глаза космонавту, не терялся, а щелкал да щелкал аппаратом, бегая вокруг машины, науськивая собаку. Снимки его потом обошли почти все газеты и журналы страны — такой ловкий учителишка оказался!

Пока резвились, гоняли по поляне бедного зайца и цепляли на поводок разбушевавшегося пса, над тайгою мощно зарокотало: из-за гор возникли сразу два вертолета и уверенно, неторопливо опустились в ряд на дальнем конце поляны, согнув вихрем винтов пихтач и осинники.

Космонавт, прихрамывая, пошел навстречу и доложил о завершении полета.

Из одного вертолета вместе с врачом вывалилась группа разноперо одетых людей с кожаными сумками, с кинокамерами и всевозможными аппаратами наизготовке. Камеры зажужжали, аппараты засверкали, а местный фотограф со стареньким, обшарпанным «Зорким» на шее, хитровато улыбаясь, трепал за уши павшего на брюхо пса и кормил его сахаром.

Отбиваясь от фотографов и киношников, космонавт показал в сторону Захара Куприяновича и Антошки. И не успели отец с сыном глазом моргнуть, как их взяли в кольцо. Ошеломленный вопросами, ослепленный вспышками блицев, старик задал было тягу в лес, но его перехватили проворные люди с блокнотами, и он отыскал глазами космонав-

та, взглядом умоляя высвободить его из этой гомонящей, жужжащей и стреляющей орды. Олег Дмитриевич смеялся, переобуваясь в летные унты, в меховую куртку и не выручал лесника. Спустя время, уже переодетый, он подхромал к нему и крепко обнял:

— Спасибо, отец! За все спасибо! — Антошку космонавт тоже обнял.

Люди все это записали в блокноты и засняли прощанье космонавта с лесником. Олег Дмитриевич, вернув леснику валенки и полушубок, еще раз обнял его и поднялся в вертолет. Обернувшись в дверях, он кивнул леснику с сыном головой, затем сцепил руки и пожал их — привычным уже, космонавтским приветом.

— Отцу-то, отцу поклонись, Митрию-то Степановичу! — крикнул Захар Куприянович, и космонавт, должно быть, расслышал его, что-то утвердительно прокричал в ответ и кивнул головой.

Дверь вертолета закрылась, херкнул двигатель, крылья наверху шевельнулись, пошли кругом, и вдруг дочиста уже сняло тонкий слой снега с поляны, обнажило траву, выбило из стога и погнало клочья сена, опять заголило пихтовники и кедры, густо брызнула красная рябина на опушке. Вертолет дрогнул, приподнялся, завис над стогом и пошел над вершинами кедрача, за угрюмо темнеющие шиханы. На хвостовом махоньком пропеллере что-то ослепительно сверкнуло, разбилось в куски, и машина исчезла из виду.

Захар Куприянович потерянно топтался на поляне, затем нашел дело — собрал сено в стожок, подпинал его и удивленно сказал:

— Вот... Ночь одну вместе прожили... Дела какие, а?..

Антошка увидев, как смялись и начали кривиться губы отца, сказал:

— Беда прямо с тобой! Расстраивается, расстраивается!.. По телевизору увидим... Может, в отпуск приедет...

— Эвон у меня какой умный да большой утешитель!.. — сказал Захар Куприянович. — Помогай-ка лучше людям.

Лесхозовский вертолет тоже скоро поднялся в воздух, направляясь к ближней железнодорожной станции, куда должен был прибыть поезд особого назначения. Антошка отбыл туда же с бензопилой. Леспромхозу дано было распоряжение рубить дорогу к станции и подготовить трактора и сани для вывезения космического аппарата...

Космонавт между тем, уже побритый, осмотренный врачами, отвалившись на сиденье, летел к своему аэродрому и

просматривал свежие газеты. Попробовали было корреспонденты расшевелить его вопросами. Он рассказал им о Захаре Куприяновиче, об Антошке, попросил не особенно смущать старика «лирическими отступлениями» и, сославшись на усталость, как бы задремал, смежив ресницы.

Но он не дремал вовсе. Он как будто разматывал ленту в уме и видел на ней весь свой полет. Луну, приближенную настолько, что просматривал он ее как бы с парашютной вышки, и сиротливо висевшую в пространстве, скромно мерцающую планету с простецким названием Земля, которая казалась ему когда-то такой огромной. Вспомнил и снова ощутил, не только сердцем и разумом, а даже кожей, как, шагая в тяжелом скафандре по угольно-черной поверхности чужой ему и непонятной планеты, он остро вдруг затосковал по той, где осталась Россия, сплошь почти укрытая зеленым лесом, тронутым уже осенней желтизной по северной кромке. Вон она лежит сейчас в снегах, чистая, большая, притихшая, и где-то в глубине ее, пришитая к тайге белой ниткой тропы, стоит избушка с номером на крыше, и от нее упала тень на всю белую поляну. Виделся беловато-жаркий костер в ночной тайге, грубо тесанный, кореньговитый мужик, глубоко и грустно о чем-то задумавшийся.

«Отцу-то, Митрию Степановичу поклонись!» — мудрая доброта человека, которму уж ничто не надо самому в этой жизни, сквозила в его словах, в делах и в усталом взгляде.

«Сумеем ли мы до старости вот так же сохранить душу живую, не засуетимся ли? Не механизируем ли себя и чувства свои?..»

Прилетев в Байконур, Олег Дмитриевич первым делом спросил об отце. Друзья или, как хорошо называл их Захар Куприянович, связчики сказали космонавту, что Дмитрий Степанович уже в Москве, устроен, ждет его.

Отдав рапорт правительству, пройдя через первый, самый нервный период встречи на Внуковском аэродроме, космонавт, переходя из рук в руки, из объятий в объятия, все искал глазами отца. Увидев его, он даже вскрикнул от радости. Был он в новом клетчатом пальто модного покроя, в тирольской шляпе с бантиком на боку, в синтетическом галстуке, сорящем разноцветные искры, приколотом к рубашке модной железякой, — уж постарались земляки, не ударили в грязь лицом, пододели старика! Впереди отца, удало распахнув котиковую шубу, выпятив молодецкую грудь, стояла, раздавшаяся телом, усатая тетушка Ксана и делала Олегу ручкой.

Раздвинув плечом публику, минуя тетушку, которая с захлебом причитала: «Олежек! Олежек! Миленький ты мой!» — космонавт приблизился к отцу, прижал его к себе и услышал, как звякнули под клеенчато-шуршащим пальто медали отца. «Батя-то при всем параде!»

Отец тыкался нахолодавшим носом в щеку сына и пытался покаяться:

— Порол ведь я тебя, поро-о-ол...

«И правильно делал!» — хотел успокоить отца космонавт, но тетушка-таки ухитрилась прорваться к нему, сгребла в беремя и осыпала поцелуями, все повторяя рвущимся голосом: «Милый Олежек! Миленький ты мой!..»

Мелькнуло в памяти ее интервью в центральной газете: «Воспитывала... до десяти лет... Исполнительный был мальчик. Учился хорошо, любил голубей.. мечтал летчиком...»

Учился он, прямо сказать, не очень-то. Воля ему большая была. А кто ж при воле-то ладом учится в детстве? Голубей любил или нет — не помнит. Но уж точно знает — хотел быть столяром, как отец, а о летном деле не помышлял вплоть до армии.

Он с трудом вырвался от тетушки, снова пробился к отцу, вовсе уже затисканному толпой, и успел ему бросить:

— Ты от меня не отставай!

Отец согласно тряс головой, а в углах его губ копились и дрожали слезы. «Совсем он старичонка у меня стал. Никуда больше от себя не отпущу!» — сказал сам себе космонавт и отправился пожимать руки и говорить одинаковые слова представителям дипломатического корпуса.

Отца он увидел, спустя большое время, уже возле машин. Старик проплакался и успел ободриться настолько, что даже перед модной иностранкой, одетой в манто из русских мехов, отворил дверцу машины со старинной церемонностью, и подмигнул Олегу Дмитриевичу: «Знай нас, столяров-краснодырщиков!»

Как-то сразу отпустило, отцовская озороватость передалась ему, и он настолько осмелел, что и сам распахнул дверцу перед иностранной дамой, разряженной наподобие тунгусского шамана, и она обворожительно ему улыбнулась улыбкой, в которой мелькнуло что-то знакомое.

— Знай нас, столяров-краснодырщиков! — вдруг брякнул Олег Дмитриевич.

Дама, не поняв его загадочной шутки, все же томно прокурлыкала в ответ, обнажая зубы, покрытые блестящим предохранительным лаком:

— О-о, как вы любезны! — и снова что-то знакомое пробилось сквозь все помады, наряды и коричневый крем, которому надлежало светиться знойным африканским загаром.

«Всегда мне черти кого-нибудь подсунут!» — досадовал Олег Дмитриевич, едучи в открытой машине по празднично украшенным улицам столицы, и мучительно вспоминая: где и когда он видел эту иностранную даму, разряженную под шамана или вождя африканского племени. Толпы празднично одетых людей кричали, забрасывали машину цветами, школьники флажками махали, а космонавт, отвечая на приветствия, все маялся, вспоминая эту самую распроклятую даму, чтобы поскорее избавиться от «бзыка», столь много наделавшего ему хлопот и вреда, но ничего с собою поделать не мог. А люди все кричали, улыбались и бросали цветы — люди земли, родные люди! Если б они знали, как тягостно одиночество!.. И вдруг мелькнуло лицо, похожее на... и Олег Дмитриевич вспомнил: никакая это не иностранка, а самая настоящая российская мадама, жена одного крупного конструктора. Он встречал ее как-то на приеме, и сдалась она ему сто раз. «О-о, батюшки!» — будто свалив тяжелый мешок с плеч, выдохнул космонавт и освобожденно, звонко закричал:

— Привет вам, братья! — обрадовался вроде бы с детства знакомым, привычным словам, смысл и глубина которых открылись ему заново там, в неизведанных человеком пространствах, в таком величии, в таком сложном значении, какие пока не всем еще людям Земли известны и понятны. — Привет вам, братья! — повторил космонавт, и голос его дрогнул, а к глазам снова начали подкатывать слезы, и он вдруг вспомнил, как совсем недавно и совсем для себя неожиданно, во сне или наяву плакал, уже охваченный тревогой и волнением от встречи с землею, с живой, такой простой и знобяще близкой матерью всех людей.

Повидавший голокаменные астероиды, пыльные, ровно бы выжженные напалмом, планеты, без травы, без деревьев, без речек, без домов и огородов, он один из немногих землян воочию видел, как бездонна, темна и равнодушна безголосая пустота, и какое счастье, что есть в этом темном и пустом океане родной дом, в котором всем хватает места и можно бы так счастливо жить, но что-то мешает людям, что-то не дает им быть всегда такими же вот едиными и светлыми, как сейчас, в день торжества человеческого разума и праздника, самими же людьми сотворенного.

1971 г.

Затеси

*

Песнопевица

В ТУ ПОРУ БАКЕНЫ ЕЩЕ БЫЛИ ДЕРЕВЯНные, и держались они на деревянном угольнике. Вершины пирамидок белыми и красными маковками фонарей светились, а в фонари эти вставлялись керосиновые лампы. Днем отец наливал в лампы керосин из большого ржавого бидона, а Галка держала воронку и вкручивала горелки с фитилем в горла ламп. Потом она спускалась на берег, вместе с отцом мыла руки, шоркая их песком, смешанным с галечником, и в маленьких ладошках хрустело, и руки делались белыми, но все равно от них пахло керосином, и платьишко ее постоянно пахло керосином, и в избушке пахло керосином, и в лодке пахло керосином. С запахом этим Галка свыклась и не замечала его. Она свыклась и с жизнью в отдаленной избушке, без подружек, без детских игр. У нее была одна игра —

в бакенщика. Но она не считала это игрой, она не играла, она работала бакенщиком.

Еще солнце только-только упирало в горы и нижнюю часть его подравнивало дальней седловиной, а Галка уж начинала хлопотать. Она по деревянным ступенькам бегала вверх-вниз по крутому яру и носила в лодку лампы, весла, ведерко — вынлескивать воду, две старые телогрейки — отцу и себе. Строго насупив белесые бровки, стояла она у лодки и, тыкая пальцем, пересчитывала лампы, соображала, не забыли ли чего, и, подражая видом и голосом покойной матери, поворачивалась к избушке, кричала от реки:

— Ты долго иссо будешь там копаться?

Отец громко кашлял в ответ и, хлопая широкими голенищами бродней, как крыльями, неторопливо спускался к лодке. Здесь он крутил цигарку и начинал пугливо хлопать себя по карманам.

— Опять спички забыл?! — суровела Галка и доставала из кармана старой телогрейки коробок серников. — На! Совсем у тебя памяти не стало!

Отец прикуривал из лодочкой сложенных ладоней и, незаметно улыбаясь, косил глазом на озабоченную, хмуро насупленную девочку с неумело заплетенной косой, мокреньким носом, в стоптанных сандалиях с белесыми от воды передками. Он брал дочь на руки, усаживал на беседку и мимоходом, незаметно выдавив из ее носа мокроту, набрасывал телогрейку на спину с остренько выступавшими лопатками.

— Поплыли, благословясь, — роняла по-старушечьи Галка.

Отец наваливался на лодку, сильно гнал ее по камешнику. Галку часто откидывало назад и роняло с беседки.

— Эко! Эко! — барахтаясь на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала Галка. — Сила есть — ума не надо!

Отец в мокрых бролнях ступал в лодку, поднимал Галку на беседку и, шатаясь, шел к корме, брал сначала кормовое весло, а затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке, до острова Заячьего, от ухвостья которого шла накосо в реку песчаная ягра — отмель, и отмель эту отмечал красный бакен.

И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уж тихо опускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадков и перекрашивал весь мир, и речку, и горы в свой вечерний свет.

Вечер казался Галке дедом, тихим, бородатым и молчаливым, он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почесывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пень так, будто черный большой дятел стучал по нему.

Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка, и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков — и на реку наползали легкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Заячьего острова.

Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел — и все кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он хотя и тихий дед, а все же сумрачный, угрюмо-молчаливый, и что у него на уме — никто не знает.

Шест железным наконечником пощелкивал о каменное дно, шумела носом лодка, толчками подаваясь встречь быстрой воде, и Галка опускала руки за борт, слышала, как щекочет ее пальцы живая и теплая перед ночью вода.

Кулички снимались с камней, обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками, и стригли голосами привычную песню, которая веселила Галку: тити-вити, тити-вити, тити-вити...

С Заячьей протоки, обросшей у берегов водяною чумой и копытником, шумно взбив воду, поднимались утки, но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде врассыпную, прятались кто куда, а Галка хлопала ладонями, пугая утят и неизвестно почему радуясь, что они бегают в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не видит. Утка с вызовом и бесстрашием то подплывала к лодке, то отлетала от нее, отвлекая таким образом опасность от детишек.

На ухвостье острова отец ненадолго останавливал лодку, и Галка выплескивала воду, скребя по дну лодки сплющенным ведерком, а выплескав, начинала мурлыкать песню и видела, как утка собирала утят из-под листьев и плыла по воде чуть впереди, все еще встревоженно покрякивая. А утята строем за нею, и строй в сумерках казался единым, и только след белесый расходился на стороны, пошевеливая копытник. Отец клал шест под ноги, брал весло, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему бакену,

держа нос лодки наповерх. Остров отдалялся, горы, уже слитые воедино, лес, в котором успокоился вечер-дед, — все оставалось за кормою. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал Галку, нес на мягких руках, покачивая и лаская.

Бывало-то, спашешь пашенку,
Лошадок распряге-ошь,
А сам тло-опой знакомою
В заветный сад пойде-ошь... —

запевала тоненьким голоском Галка, и слышала одну себя, и радовалась тому, что есть она, Галка, на этом свете, что отец слушал ее и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать ее лучше. И Галка пела, пела, уж забывши и про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, а все же жутковат, и пока он не уснет, петь и кашлять было страшновато, неловко как-то.

Никаких детских песен Галка не знала, она жила тем, что переняла у взрослых, и песни ее сплошь грустные, протяжные и про любовь все больше.

В золотом садочке каналейка пела,
Пела так уныло, ой, голос лаздавался-а-а.
Пела так уныло, голос лаздавался-а-а,
Молодой палнишка, ой, с девушкой плю-ощался-а-а...

И как он прощался, и как ей, девушке-то, горько было, когда она спрашивала: «Куда, милый едешь, куда уезжаешь? На кого ты, милый, ой, меня спокидаешь?.. — все это Галка ровно бы и чувствовала и понимала, а потому и на сердце у нее делалось по-разному — то его слезами подтачивало, то озноб, возникший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди.

Отец хватался за бакен, вставлял в фонарь лампу, зажигал ее и отпускал лодку. Ее шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонек бакена, дружески моргая Галке, удалялся в темноту, и она пела ему, огоньку:

В низенькой светелке огонек голит,
Молодая пляха у окна сидит...

Голосишко у Галки становился тише, тише, слова она уже склеивала, головенка ее сморенно падала на грудь и пятнышком светилась в темной телогрейке среди темной лодки. Отец осторожно продвигался к беседке, бросал в нос лодки свою телогрейку, брал на руки Галку, бережно опускал ее на одежонку, прикрывал сверху другой телогрейкой, и Галка, протяжно, с облегчением вздохнув, ложилась щекой на руку и сладко засыпала.

Отец, покачав головой и грустно улыбнувшись в темноте, садился за лопашни и, поскрипывая уключинами, плыл от бакена к бакену, засветлял их и сплывал по течению к избушке. Сложив весла, уронив натруженные руки на колени, он курил, слушал ночь, себя, тосковал о жене, думал о дочке, которой надо бы мать, но мать ее никогда уж не вернется, а мачеха еще какая и попадется...

Лодка, чуть слышно коснувшись берега, останавливалась. Отец забредал в воду, брался за уключину и подтаскивал ее повыше, затем бросал окурок в воду и выскребал Галку из носа лодки, укутывал ее в телогрейку, на руках нес вверх по деревянным ступенькам к избушке.

Иногда Галка просыпалась и невнятно спрашивала:

— Мы уже плиплыли?

— Приплыли, приплыли. Спи, песнопевица, — и отец прижимал ее плотнее к себе, а она дышала ему в грудь маленьким, но добрым теплом, и хотелось ему сказать: «Родненькая ты моя, миленькая ты моя! Что был бы я без тебя?..»

Но он этого не умел сказать, а лишь останавливался на яру, скрипуче прокашливал горло, сдавленное сладким горем, прижимал к себе дочку, ровно бы боясь остаться в одиночестве среди темной ночи, над темной рекой, на которой редко помигивали огни бакенов и где-то далеко еще занималось шлепанье плиц и пыхтенье буксирного парохода.

— Пароход идет, — тихо говорил отец, слушая свой голос, — на твои огоньки, дочка, смотрит и не заблудится в потемках...

Она и выросла там, в избушке бакенщика. Она и отца похоронила там, на травянистом взлобке, рядом с матерью. Работает она теперь в большом учреждении, за чертежной доской и, забывшись иногда, тоненько и грустно запевает:

Куда, милый, едешь, куда уезжаешь?..

И тогда сотрудники проектного отдела поднимают головы от столов, калек, чертежных досок и с улыбкой поглядывают на эту беленькую, всегда почему-то молчаливую и грустную девушку, о которой мало кто знает, как она жила, где выросла, о чем думает.

Вечером она часто выходит на набережную и, облокотившись на решетку, смотрит на реку, на мигалки-бакены с поплавочными железными туловищами, провожает глазами многооконные светлые пароходы с веселой музыкой и чего-то ждет. Она ждет, когда один из этих пароходов подойдет

к ней, возьмет с собою, увезет туда, где ей пристать захочется. Может быть, там, в темноте, светится, горит тот единственный огонек, живой и теплый, о котором она мечтает так давно и терпеливо.

Как лечили богиню

НАШ ВЗВОД ФОРСИРОВАЛ ПО МЕЛКОВОДЬЮ РЕЧку Вислоку, выбил из старинной панской усадьбы фашистов и закрепился на задах ее, за старым запущенным парком.

Здесь, как водится, мы сначала выкопали щели, ячейки для пулеметов, затем соединили их вместе — и получилась траншея.

Немцам подкинули подкрепления, и они не давали развивать наступление на этом участке, густо палили из пулеметов, минометов, а после и пушками долбить по парку начали.

Парк этот хорошо укрывал нашу кухню, бочку для прожарки, тут же быстренько установленную, и кущи его, шумя под ветром ночами, напоминали нам о родном российском лесе.

По ту и по другую сторону головной аллеи парка, обсаженной серебристыми тополями вперемежку с ясенями и ореховыми деревьями, стояли всевозможные боги и богини из белого гипса и мрамора, и когда мы трясли ореховые деревья или колотили прикладами по стволам — орехи ударялись о каменные головы, обнаженные плечи, и спелые, со слабой скорлупой плоды раскалывались.

Нам было хорошо в этом парке, нам тут нравилось.

Мы шарили по усадьбе, ее пристройкам, объедались грушами и сливами, стреляли из автоматов кролей, загоняя их под старый амбар, и кухню совсем перестали посещать. Повар сначала сердился, а потом приладился распределять наш паек панской дворне, которую хозяин покинул на произвол судьбы, убежав с немцами. Одной востроглазой паненке, молодой, но уже пузатенькой, ротный повар валил каши безо всякой меры, и мы смекнули, что тут к чему. «О-а, пан повар!» — восхищалась паненка, принимая котелок, стреляла в кашевара глазами, беспричинно улыбалась и уходила, этак замысловато покачивая бедрами и как-то

по-особенному семеня ножками. Может, нам это лишь казалось, не знаю.

В усадьбе мы быстро отъелись, выпарили вшей, постирали штаны, гимнастерки, одним словом, обжились, как дома, и начали искать занятия. И нашли их. Пожилой связист, мой напарник, чинил в конюшне хомуты и сбрую. Бронебойщик стеклил окна в пристройке, где обитала дворня. Командир отделения ефрейтор Васюков приладился в подвале гнать самогонку из фруктовой падалицы, ходил навеселе. А младший лейтенант, наш взводный, вечерами играл на рояле в панском доме непонятную нам музыку.

На самом верху была комната с розовато-серебристыми обоями, и в ней стоял рояль орехового цвета. Большое зеркало там было с деревянными ангелочками на раме и сооружение, напоминающее и кровать, и скамейку, и диван одновременно, — нам пояснили — канапе! И кто-то из солдат с придыхом вымолвил, услышав это слово: «Во, падлы, буржуи живут, а!»

В комнате этой, пояснила востроглазая паненка, окончательно закружившая голову ротному кашевару, проживала сама пани Мария — дочь пана — дама одинокая и «жжено баская и пшедно важная...»

Портрет ее, писанный маслом, висел здесь же, на стене.

«Баба и баба!» — решили знатоки и глядеть на нее перестали. Оно, может, так и было, баба и баба. И все же в худенькой женщине с распущенными по плечам белокурыми волосами, в тонкой и белой шее, в разрезе удлиненных или надменно прищуренных глаз и особенно во лбу, большом и умном, было что-то такое, отчего мы смолкали в этой комнате, ничего тут не трогали, а младший лейтенант все играл и играл на рояле. «Рахманинова играл», — сказал нам один узбек из пополнения.

Пополнение это, разное по годам и боевым качествам, прибыло спустя неделю после нашего блаженного житья в панской усадьбе, и мы поняли — райские эти кущи скоро покидать придется, наступать надо будет.

Между тем немец тоже не дремал и подтягивал резервы, потому что обстрел переднего края все усиливался, и многие деревья да и панский дом были уже повреждены снарядами и минами. Дворня перешла жить в подвалы, и днем ей шляться по усадьбе запретили.

При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, но и боги с богинями. Особенно досталось одной богине. Она стояла в углублении парка, над каменной бесед-

кой, увитой плющом. Посреди беседки был фонтанчик, и в нем росли лилии, плавали пестрые рыбки. Но что-то повредилось в фонтанчике, вода перестала течь, лилии съежились, листья завяли, и рыбки умерли без воды, стали гнить и пахнуть.

Безразличными глазами глядела белая богиня на ржавеющий фонтанчик, стыдливо прикрывая грех тонкопалою рукою. Она уже вся была издолблена осколками, а грудь одну у нее отшибло. Под грудью обнажались серое пятно и проволока, которая от сырости начала ржаветь. Богиня казалась раненной в живое тело, и ровно бы кровь из нее сочилась.

Узбек, прибывший с пополнением, был лишь наполовину узбеком. Он хорошо говорил по-русски, потому что мать у него была русская, а отец узбек. Узбек этот, по фамилии Абдрашитов, в свободное от дежурства время все ходил по аллее, все смотрел на побитых богов и богинь. Глаза его, и без того задумчивые, покрывались мглистой тоскою.

Особенно подолгу тосковал он у той богини, что склонялась над фонтанчиком, и глядел, глядел на нее, Венерой называл, женщиной любви и радости именовал и читал стихи какие-то на русском и азиатском языке.

Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту затесался, и мы смеялись над ним, подтрунивали по-солдатски солоно, а то и грязно. Абдрашитов спокойно и скорбно относился к нашим словам, лишь покачивал головой, не то осуждая нас, не то нам сочувствуя.

По окопам прошел слух, будто Абдрашитов принялся ремонтировать скульптуру над фонтаном. Ходили удостовериться — правда, ползает на карачках Абдрашитов, собирает гипсовые осколки, очищает их от грязи носовым платком и на столике в беседке подбирает один к другому.

Удивились солдаты и примолкли. Лишь ефрейтор Васюков ругался: «С такими фокусниками навоюешь!..»

Младший лейтенант отозвал Васюкова в сторону, что-то сказал ему, бодая взглядом, и тот махнул рукой и подался из парка в подвал, где прела у него закваска для самогонки.

Дня три мы не видели Абдрашитова. Стреляли в эти дни фашисты много, тревожно было на передовой — ждали контратаки немцев, готовившихся прогнать нас обратно за речку Вислоку и очистить плацдармы.

Часто рвалась связь, и работы у меня было невпроворот. Телефонная линия была протянута по парку и уходила

в подвал панского дома, куда прибыл и обосновался командир роты со своей челядью. По заведенному не нами очень ловкому порядку, если связь рвалась, мы, и без того затурканные и задерганные связисты с передовой, должны были исправлять ее под огнем, а ротные связисты — нас ругать, коль мы не шибко проворно это делали. В свою очередь ротные связисты бегали по связи в батальон; батальонные — в полк, а дальше уж я и не знаю, чего и как делалось, дальше и связь-то повреждалась редко, и связисты именовали себя уже телефонистами, они были сыты, вымыты и на нас, окопных землероек, смотрели с барственной надменностью.

Бегая по нитке связи, я не раз замечал копающегося в парке Абдрашитова. Маленький, с неумело обернутыми обмотками, он весь уж был в глине и в гипсе, исхудал и почернел совсем и на мое бойкое «Салям алейкум!» тихо и виновато улыбаясь, отвечал: «Здравствуйте!» Я спрашивал его, ел ли он. Абдрашитов таращил черненькие отсутствующие глазки: «Что вы сказали?» Я говорил, чтобы он хоть прятался при обстреле — убьют ведь, а он отрешенно, с плохо скрытой досадой, ронял: «Какое это имеет значение!»

Потом к Абдрашитову присоединился хромой поляк в мятой шляпе, из-под которой выбивались седые волосы. Он был с серыми запавшими щеками и тоже с высоко закрученными обмотками. Ходил поляк, опираясь на суковатую ореховую палку, и что-то громко и сердито говорил Абдрашитову, тыкая этой палкой в нагих побитых богинь.

Ефрейтор Васюков, свалившись вечером в окоп, таинственно сообщил нам:

— Шпиёны! И узбек шпиён, и поляк! Сговор у них. Я подслушал в кустах. Роден, говорят, Ерза, Сузан и еще как-то, Ван Кох или Ван Грог — хрен его знает. — Принизив голос, Васюков добавил: — Немца одного поминали... Гадом мне быть, вот только я хвамилью не запомнил. По коду своему говорят, подлюги!

— Сам-то ты шпиён! — рассмеялся младший лейтенант. — Оставь ты их в покое. Они о великих творцах — художниках говорят. Пусть говорят. Скоро наступление.

— Творцы! — проворчал Васюков. — Знаю я этих творцов... В тридцать седьмом годе этакие вот творцы чуть было мост в нашем селе не взорвали...

Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк починили. Замазали раны на ней нечистым гипсом, собрали грудь, но без сосца собрали. Богиня сделалась уродлива, и ровно бы

бескровные жилы на ней выступили, она нисколько не повеселела. Все так же скорбно склонялась богиня в заплатах над замолкшим фонтаном, в котором догнивали рыбки и чернели осклизлые лилии.

Немцы что-то пронюхали насчет нашего наступления и поливали передовую из всего, что у них было в распоряжении.

С напарником рыскали мы по парку, чинили связь и ругали на чем свет стоит всех, кто на ум приходил.

В дождливое, морочное утро ударили наши орудия — началась артподготовка, закачалась земля под ногами, посыпались последние плоды с деревьев в парке, и лист закружило вверху.

Командир взвода приказал мне сматывать связь и с катушкой да с телефонным аппаратом следовать за ним в атаку. Я весело помчался по линии сматывать провода: хоть и уютно в панской усадьбе, а все же надоело — пора и честь знать, пора и вперед идти, шуровать немца до Берлина еще далеко.

Неслись снаряды надо мною с разноголосыми воплями, курлыканьем и свистом. Немцы отвечали реденько и куда попало — я был опытный уже солдат и знал: лежала сейчас немецкая пехота, уткнувшись носом в землю, и молила бога о том, чтобы у русских запас снарядов скорее кончился. «Да не кончится! Час и десять минут долбить будут, пока смятку из вас, лиходеев, не сделают», — размышлял я с лихорадочным душевным подъемом. Во время артподготовки всегда так: жутковато, трясет всего внутри и в то же время страсти какие-то в душе разгораются, клокочет все и воинственные настроения охватывают.

Я как бежал с катушкой на шее, так и споткнулся, и мысли мои оборвались: богиня Венера стояла без головы, и руки у нее были оторваны, лишь осталась ладошка, которой она прикрывала стыд, а под нею, возле забросанного землей фонтана, валялись Абдрашитов и поляк, засыпанные белыми осколками и пылью гипса. Оба они были убиты. Это перед утром, обеспокоенные тишиной, немцы делали артналет на передовую и много снарядов по парку выпустили.

Поляк, установил я, ранен был первый — у него еще в пальцах не высох и не рассыпался кусочек гипса. Абдрашитов пытался стянуть поляка в бассейн, под фонтанчик, но не успел этого сделать — их накрыло еще раз, и упокоились они оба.

Лежало на боку ведерко, и вывалилось из него серое те-

сто гипса, валялась отбитая голова богини и одним беззрачным, треснутым оком смотрела в небо, крича пробитым ниже носа кривым отверстием. Стояла изувеченная, обезображенная богиня Венера. А у ног ее, в луже крови, обнявшись, лежали два человека — советский солдат и седовласый польский гражданин, пытавшиеся в одиночку исцелить побитую красоту.

Звезды и елочки

КАКИЕ ТОЛЬКО ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НЕ НАВЯЗЫвали досужие творцы нашему народу, особенно деревенскому, забывая, что народ сам рождает обычаи в зависимости от жизни, горькой или радостной, но обязательно от жизни.

В Никольском районе, на родине покойного поэта Яшина, я впервые увидел звездочки, прибитые к торцам углов сельских изб, и решил, что это пионеры-тимуровцы в честь какого-то праздника украсили деревню.

Зашли мы в одну избу испить водицы.

Жила в той древней, с низко опущенными стропилами и узко, в одно стекло, прорубленными окнами, избе приветливая женщина, возраст которой сразу не определить было — так скорбно и темно лицо ее. Но вот она улыбнулась нам, воскликнула: «Эвон сколько женихов-то ко мне сразу привалило! Хоть бы взяли меня с собой да заблудили в леску...» И мы узнали в ней женщину, чуть перевалившую за середину века, но не раздавленную жизнью, а лишь усталую от работы и утрат, понесенных ею.

Женщина складно шутила, светлела лицом и, не зная, чем нас угостить, все предлагала гороховые витушки, а узнав, что мы никогда не пробовали этакой стряпни, непринужденно одарила нас темными крендельками, высыпав их с жестяного листа на сиденье машины, уверяя, что с горохового кренделя в мужике дух крепкий бывает и на гульбу его тянет греховодную.

Я не устаю поражаться тому, как наши люди, особенно женщины, и особенно на Вологодчине, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняют и несут по жизни распахнутую, неунывающую душу. Встретишь на перепутье вологодского мужи-

ка или бабенку, спросишь о чем-нибудь, и они улыбнутся тебе и заговорят так, будто сотню лет тебя уж знают и родня ты им наиближайшая. А оно и правда, родня: на одной ведь земле родились, одни беды мыкали. Только забывать иные из нас об этом стали.

Настроенный на веселую волну, я весело же поинтересовался, кивнув головою на избу той женщины: что за звезды на углах, в честь какого такого праздника?

И снова потемнело лицо женщины, улетучились смешинки из глаз, а губы вытянулись в строгую ниточку. Опустив голову, она глухо, с выношенным достоинством и скорбью ответила:

— Праздник?! Не дай бог никому такого праздника... Пятеро не вернулись у меня с войны: сам, трое сыновей и деверь... — Она прошлась взглядом по звездочкам, вырезанным из жести, покрашенным багряной ученической краской, хотела еще что-то добавить, да лишь подавила в себе вздох, прикрыла калитку за собою и оттуда, уже со двора, сглаживая неловкость, сделанную мной, добавила: — Поезжайте с богом. Если ночевать негде, ко мне приворачивайте, изба пуста...

«Изба пуста... Изба пуста...» — билось у меня в голове, и все смотрел я неотрывно — в деревенских улицах мелькали кровавыми пятнами звездочки на темных углах, то единично, то россыпью, и вспомнились мне слова, вычитанные недавно в военных мемуарах о том, что в такую тяжкую войну, наверное, не осталось ни одной семьи в России, которая не потеряла бы кого-нибудь... Человек, сказавший эти слова, не любил баловать народ подобными откровениями.

Да, если пометить все избы России звездами утрат, оно, пожалуй, так и выйдет.

А как много на Вологодчине недостроенных и уже состарившихся изб! Любили вологжане строиться капитально и красиво. Дома возводили с мезонинами, изукрашивали их резьбой — кружевами деревянными, крыльцо под терем делали. Труд такой кропотлив, требует времени, умения и усердия, и обычно хозяин дома заселялся с семьею в теплую, деловую, что ли, половину избы, где была прихожая, и кутья, и русская печь, а горенку, мезонин и прочее уже отделывал неторопливо, с толком, чтоб было в «чистой» половине всегда празднично и светло.

Вот эти-то светлые половины изб так и остались недостроенными. Щели окон, кое-где уже прорубленных, снова наспех забраны чурбаками. На некоторых домах начата уж

орнаментовка мезонинов, оконных наличников и ворот. Но грянул колокол войны, хозяин вытер пот со лба, стряхнул стружки с рубахи и, бережно упрятав топор и весь «струмент» в чуланку, отложил работу на потом, на после войны...

Отложил и не смог вернуться к ней. Лежит русский мужик в сальских или донских степях, подо Львовом и Варшавой, лежит на Зееловских высотах и под Прагой — спит непробудным сном в нашей и чужой земле, а на родине его, в деревнях рассыпается съеденный ржой, но все еще хранимый на всякий случай женщинами «струмент», старятся сами женщины, старятся так и не высветлившиеся избы, и русская пословица «Без хозяина и дом сирота» обрела какой-то совсем уж горестный смысл.

«Пуста изба... Пуста изба...»

Древняя, трудно рожающая хлеб земля, заселенная народом даровитым, бойким на язык и на работу, раскинулась меж болот и лесов. За околицами деревень чистой зеленью переливаются льны, неопятнанным светом своим напоминая вянущую вдовью красу; клонятся долу отяжелевшие ржи; слитно звенит колосом пшеница; шелестят пегие овсы.

Живет и работает земля, как сотню и тысячу лет назад, и, как в древности, на позднем клеверном лугу женщины с литовками, в цветастых сарафанах, с яркими лентами по подолу фартуков, с оборками на кофтах и в белых платках.

— Помогните, мужики! — машут они руками.

И мы подворачиваем, скованно отшучиваясь, берем косы и, стараясь не посрамить мужской род, спешим заделать прокос пошире. И у кого-то уж лучиной хрустнуло литовище — больно размашисто всадил косец литовку в проволокой свитый клевер. «Такой клевер надо брить узко, плавно, — учат нас женщины и понарошке сокрушаются: — Ах ты, беда! Литовище нарушили! Кто нам его изладит? Один у нас мужик на всю артель, да и тот три дня уж с повети не слезает — после именин...» И тут же принимаются утешать сконфуженного косца, уверяя, что литовище было надломлено и они, бабы, для потехи его подсунули. «Заезжайте ввечеру! — приглашают они. — Вместе литовище ремонтировать станем!» Хохочут, озорницы, как в молодости, и опять цветастой цепочкой вытягиваются по клеверу, роняя малиново-зеленые валы его к ногам.

Кажется такой труд легким и непринужденным, и хо-

чешь не хочешь, а сравнишь их, этих вечных тружениц, с теми, кто фыркает при слове «деревня, сарафан» и прочих подобных вещах. Выезжают они на картошку в воскресные дни, как в турпоход: в брючках, в туфельках и в перчатках. Мают работу, и одежда кажется на них неловкой, труд — подневольным, а сами они — людьми чужими на этих кормящих их полях, которые они или их родители недавно покинули, и делают вид, что никогда и в глаза не видели деревенской земляной работы.

На одном из домов, высоко под застрехой увидел я елочку в лентах, в тряпочках и поинтересовался: что, мол, опять за причуды?

И мне опять же серьезно объяснили спутники, что это не причуда, а обычай вологодский, дошедший до наших дней из старины: коли берут парня в солдаты, то невеста его обряжает елочку лентами да цветными тряпочками и прибивает к мезонину или к стрехе избы суженого. Жених, вернувшись из солдат, сам уж снимает елочку и торжественно, под радостный причет и плач несет ее в одной руке, а другой рукою вводит невесту в дом, которая умела ждать и быть верной.

Но если парень почему-либо не вернется из армии — так и будет сохнуть прибитая елочка; и никто ее, скорбную и укорную, не смеет снять, кроме самой невесты.

Увы, на многих вологодских домах нынче траурно чернеют и осыпаются елочки, а ленты и тряпочки выцвели, обмахрились — не возвращаются парни в родные села, под отеческие крыши, к верным и чистым невестам. Они оседают в городах и на великих стройках, женятся на случайных спутницах и канителятся потом в судах с разводами, сиротя детей, тоскуя по родной земле и сожалея об легко утраченной верной любви.

Поля и села. Поля и села.

Облачное небо над ними в голубеньких прозорах, леса и перелески тронуты первыми холодами, листья багряные, что звезды на углах черных изб; выскочившие на обочину опушки елочки будто поджидают, когда их лентами нарядят; белый, мудро молчащий храм за холмом; пестрое стадо на зеленой отаве; конь, запыливший телегою на ухабистой проселочной дороге; первый огонек, затеплившийся в селе; грачиный содом на старых тополях; крик девчоночий, тонко прорезавший тишину деревенской улицы: «Маманя! В магазин белый хлеб привезли!..»

И снова тихая умиротворенность кормящей матери-земли, привычно, в труде прожитый день, привычные сумерки, наползающие из-за холмов, привычные дали, объятые покоем.

Гудки издалека

ВЕСНА ТОЛЬКО ЕЩЕ ВСТУПАЛА В СВОИ ПРАВА, только-только еще проходил спайный лед на Енисее и следом тихо проносило Губенскую протоку; еще снег лежал по логам, и вода оставалась в берегах; еще несло муть: хлам, кусты и редкие льдины, а в устье Медвежьего лога, отбитые мысом и натолканные туда льдом, пускали дым в небо, сопели машинами, парили, бурлили винтом пароходы «Москва» и «Молоков».

Пароходами их называть, может быть, слишком смело. В местной газете, откуда позаимствовано лирическое выражение насчет весны, вступающей в свои права, их обтекаемо именовали судами. Но для нас, игарских ребятишек, да и для всех почти игарчан они самоглавнейшие были пароходы.

Водяные эти сооружения отличались от других судов трубой — она у них была больше и выше, чем у всех остальных кораблей, — и еще гудком — он был ревучей всех гудков в Игарском порту. Построенные на одном и том же заводе, по одной и той же колодке, «Москва» и «Молоков» имели все же кое-какие различия.

«Москва» была чуть женственней, если можно так выразиться в отношении машины. Да, она тоже чумаза, латана по бортам и поддону, с неровно выправленными обносами, и у одного якоря, торчавшего из носовой ноздри, отломлена лапа. Но на ее трудовой, все лето неустанно дымящей трубе виднелись три полоски — две красные и посредине белая. Эти же полоски выведены по борту, по шесту-водомерке и по рулевой рубке, да и на четырех спасательных кругах «Москвы», форсисто развешанных по ту и по другую сторону рубки, различалось белое.

«Молоков» был, как жук, черен, маслянист, на водомерке-шесте у него черные полоски и по борту черная, а рубка выкрашена в коричневый цвет. На трубе «Молокова» тоже

когда-то была полоска, но оказалась под таким непроницаемым слоем трудовой копоти, что ее уж и не видно сделалось. Все на «Молокове» под один неповторимый цвет рабочей спецовки, которую стирать уже бесполезно и бросить жалко.

Зная, с чего начинается жизнь в заполярном городе Игарке, понимая, чего требуется народу, «Молоков», примеряя к стихиям молодецкие силы, налетал закругленным рыльцем на льдину и, содрогаясь корпусом, трубой и всем своим чумазым существом, давил, давил ее. Труд его игрушечным казался. Но льдина начинала шуршать, шевелиться и, жалобно прошелестев обрыхленными краями, пускала пузыри, крошилась, ломалась и трескалась. А «Молоков», отбрасываясь назад, снова налетал на льдину корпусом, напирал, таранил ее, почти затопляясь кормой, буйно дымя трубой и шипя всеми отверстиями.

Наконец «Молоков» выталкивал круглое тело льдины в протоку, и, увидев, как подхватило и понесло ее к морям и океанам, вырвавшийся из зимнего плена, обалделый от простора, солнечного неба, манящих далей, в которых он никогда не бывал, давал он сиплый, ржавчиной засорившийся гудок. Сначала шел только пар, потом шипеть начинало, потом уж прочищалось отверстие, тугим клубом пар вырывался, и раздавался вполне бодрый гудок, приветствующий людей, и город, и настоящую трудовую жизнь.

Ребятишки на берегу ревели, прыгали, махали руками.

Из лога на всех парах вылетала «Москва» и мчалась навстречу «Молокову». С того и с другого парохода давали отбортовку белыми флагами, и на мачтах кораблей поднимали красные флаги с серпом и молотом. Поравнявшись с «Молоковым», приветствовала его «Москва», как на параде, гудком несколько игривым и продолжительным, а «Молоков» коротко давал: «Привет!» — и следовал мимо нее по фарватеру как бы вдаль, но тут же круто разворачивался и спешил следом за «Москвой» в устье протоки, к мысу Выделенному, и там уж вместе приветствовали наши корабли Енисей, косяки птиц, летящих на север, весну, солнце и все на свете. Потом мгновенно и как-то совершенно незаметно корабли исчезали за островом, и народ начинал расходиться с берега — «Молоков» и «Москва» пошли в совхозный магазин. Явятся они оттуда поздней ночью, кто-то и кого-то поведет на буксире, крадучись причалятся к обрывистому пустому яру и погрузятся в сон.

И хотя еще не поставлен дебаркадер, не поднят флаг

навигации на мачте порта, нет еще в протоке никого и ничего, но раз вышли «Москва» и «Молоков» на полую воду и сходили по-братски в совхозный магазин, значит, в Игарку пришло лето и навигация началась. И ничего, что иной игарчанин, содрогнувшись среди ночи от гудка «Молокова», подскочит и скажет: «Да чтоб тебе глотку завалило!» Это с непривычки. За лето так притерпятся люди к гудкам, что и не замечают их.

На другой день портовые пароходики начинали, как мураши, суетиться по протоке: везли речную обстановку — бакены, мигалки, щиты и прочее; тартали откуда-то полуразбитые плоты, помогали наставлять бакены, спасали беспризорно несомые лодки и баржи, мчались на голоса тонущих людей, перевозили рабочих и школьников с острова, волокли в поселок Старая Игарка баркас с продуктами, вытаскивали из логов и учаливали к месту катера, боты, баржи, помогали в доставке и установке дебаркадеров.

С этих вот самых пор «Москва» и «Молоков» — «серьезный людя», как назвал их один выпускник игарской совпартшколы, — несли свою вахту до поздней осени, до самого льда. Главная их работа начиналась с приходом морских судов. «Калоши» — как презрительно именовали их дальние просоленные моряки — помогали учаливаться заморским гостям и груженых выводили их из протоки.

Любо-дорого смотреть было, как, деловито гуднув, «Молоков» подбегал к океанскому надменному кораблю с одного бока, а «Москва», фикнув свистком, припаивалась с другого бока и, пустив густые дымы, они начинали поворачивать водяную махину куда следует. Вся уж корма у пароходиков в воде; будто конишки, уперлись они задними ногами, даже поджилки дрожат, а иностранный штурман что-то орет им в рупор и показывает на трубу. Ну, это понятно, хоть и по-иностранному, — дескать, вы так меня закоптите, что и дома не узнают!

«Молоков» и «Москва» всякого в жизни наслышались, не реагируют ни на иностранную, ни на русскую ругань. Они делают свое дело. А когда отведут груженый транспорт в устье протоки, вытолкнут его в Енисей, еще и гудком реванут на прощанье: «Гуд бай! Чеши, проклятый буржуй! Скатертью дорога!»

Надо сказать, опытные капитаны, хоть наши, хоть исчужа, с «Молоковым» и «Москвой» отношения не портили. Ребята они миру, может, и незаметные, но порту позарез нужные. Спорить и ругаться с этой парой нельзя. Если шибко

им досадишь, возьмут да и за остров, в совхозный магазин, умотают — и шуми не шуми — ничего с ними не поделаешь, да и не найдешь их, а будешь мокнуть от причалов вдали. Начальник порта будет, вздыхая, разводить руками: у команды «Молокова» и «Москвы» порт в вечном долгу — по одним сверхурочным задолжал им года три. В Карскую, как именуется навигация в Игарке, спали на наших кораблях по часу-два в сутки. В предутреннем тумане, бывало, ткнутся в берег, так как места ни у каких причалов им вечно не доставалось, и дымить перестанут, только парит из свистка, да тускло светятся сигнальные фонарики, все остальное повержено сном.

В Заполярье часты ветры и бури. Как задует север, как поднимет волну на Енисее...

Все живое спешит скорее в Губенскую протоку, а «Москве» и «Молокову» в этот миг самая работа. Катера, боты, даже пароходы, даже океанские корабли набивались в протоку, к причалам жались, а эти встречь буре, в открытый Енисей — аж волна через трубу перехлестывала. Казалось иной раз — все, конец! Но вынырнут пароходишки, гуднут, проверяя жизнестойкость, и, объятые брызгами и дымом, шпарят дальше, бьются о волны молодецкой грудью и, глядишь, уже тянут откуда-то горемычное судно, раненое, мокрое, с перевернутой мачтой и безжизненной трубой. Ткнут его в берег и снова наперекор стихиям — выручать страждущих из беды.

Однажды теплоход «Красноярский рабочий» заводил в протоку караван. А заходить в нее очень сложно — она замкнута от игарского берега каменным мысом Выделенным, а от острова Полярного — длинной, крылато загнутой отмелью.

Караван был велик, барж в двадцать. И штормом начало наваливать хвостовые баржи на мыс. Тревожно и угрюмо гудел «Красноярский рабочий», призывая на помощь. Откликнулись в первую голову «Молоков» и «Москва». Их било о борта барж, о каменья мыса, посрывало круги с них, трап унесло и повредило палубные надстройки. Но они кружились в кипящей воде, схлебывали волны и загибали хвост каравана, отжимая его от камней, на которых бушевали и громадами вздымались волны, перекатывая с треском одну уже оторванную и опрокинувшуюся баржу.

Несколько часов шла борьба за спасение каравана. Опрокинуло и разбило о мыс еще одну баржу с ценным грузом, но остальные удалось завести в протоку и учалить.

И все это время толпился игарский народ на берегу и, конечно, ребятишки — ждали развязки, молча переживая за свои героические корабли.

Часа в два светлой северной ночи «Молоков» бережно привел и причалил «Москву». Она была полузатоплена, побита, ершилась ощепинами, кренилась на один бок, и труба у нее дымила слабо.

Ребятишки скорбно приняли с «Молокова» чалку. Быстро слетали в дежурный ларек за водкой.

Молча и устало пароходные люди выпили по стакану водки, молча и устало покурили, переоделись в сухое и стали осматривать «Москву». Нам, ребятишкам, в знак признательности и особой минуты впервые разрешено было побывать в машинном отделении уцелевшего корабля «Молоков».

Отделение было тут же, лишь две ступеньки вниз. Но все отдалилось за пределы этих двух ступенек, жизнь, шедшая до той минуты, со всей своей обыденной примитивностью, утратила интерес. Полумрак, захватывающая дух таинственность властвовали внутри корабля, в котором и места-то было только для машины да топки. Где жили и спали люди, нам установить так и не удалось. Здесь пахло недром машины, горячим трудовым недром. Здесь приостановились набрякшие силы, замерли какие-то изогнутые валы, трубки и патрубки, колена медные, маслом обмазанные, провода, рычаги и рычажки. Знаки и клейма были на валах и на корпусе машины, в стеклянной банке, называвшейся маслоотстойником, пульсировала жидкость, из-под ног наших просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлюпала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, урчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки здесь едва светились, круглые окошки были закопчены, и застарелый, густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление загадочности, могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира.

Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом, механику, ходившему по машине в полусогнутом виде и в городе, на улице, тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги «Москвы», пошвыривал какие-то железные предметы, ворчал на полумертвого от усталости помощника, и когда мы ему чем-то досадили, так рявкнул, что нас мигом вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак

примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли.

«Москва» в этот сезон больше не работала, ее увели на ремонт. Весной, к нашей ребячьей гордости, города и всех людей на свете, она появилась принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. «Молоков» радостно заорал, дуром помчался ей навстречу, чуть не торнулся в борт. Но уж очень нарядна и чиста была «Москва», и тут, среди протоки, сошлись они, наши корабли, побратались. Бабы игарские, случившиеся в ту пору на берегу, слезу смахнули с глаз при виде такой картины...

После войны я навестил город моего детства — Игарку — и первым делом поискал глазами на протоке любимые пароходы. Но возле причалов работали какие-то новые, мало дымящие, чистые и сильные суда. Никого не пугая гудками, размеренно и скучно они делали свою причальную работу, и никто на них не обращал внимания, и названий их никто не знал, да и не было у них человеческих названий, а все какие-то номера да цифры.

«Молокова» я обнаружил причаленным возле острова к звену матки — так называются плоты на Енисее. Он доставлял сплотки к другому берегу, и там лес выкатывали в штабеля. Был «Молоков» вовсе стар, обшарпан и уныл, бурлил винтом как-то вяло, дышал сипло, тяжело и не гудел вовсе.

«Москву» я нечаянно нашел в Медвежьем логу, на сухом месте, среди лесного хлама, ржавой осоки и жалицы. Винта и машины на «Москве» не было. Изгорелая, но все еще углем пахнущая труба отломилась, корпус дал трещины, на рубке с выбитым стеклом написаны были неприличные слова...

Игра

В ДАЛЕКОМ УЖЕ ТЕПЕРЬ И ВОИСТИНУ БОСОНОГОМ детстве мы много играли. Я смотрю на нынешних ребятишек, особенно на подростков, и диву даюсь — они не знают, куда себя девать. А нам не хватало дня для игр, и нас загоняли домой поздним вечером почти насильственно.

Их было много, этих игр, самых разнообразных. И все

они требовали ловкости, силы, терпения. Но были игры суровые, как бы испытывающие будущего человека на прочность. Среди них, может быть, самая беспощадная и угрюмая игра — кол, придуманная, должно быть, еще пещерными детьми.

Бралось деревце толщиной в руку, желательно покрепче, лиственница например, затесывалось на конце. Бралась деревянная колотушка либо кувалда, а если нет ни того, ни другого — железный колун. Выбиралась поляна или затишный переулок, поблизости которого есть амбары, стайки, сараюхи, кучи бревен и прочих предметов, за которыми и под которые можно спрятаться.

Кол втыкался руками в землю, и к нему прислонялась колотушка.

Наступал самый напряженный, самый ответственный момент в жизни — выбор голящего. Здесь ребячья выдумка не знала границ. Ритуал выбора голящего то упрощался до примитивности, то обставлялся такими церемониями, что еще в детстве можно было поседеть от переживаний.

«Бежим до Митряхинских ворот. Кто последний прибежит, тот и голит», — предлагал кто-нибудь из наиболее сообразительных ребят и первым рвал к Митряхинским воротам. Иногда до этих же или до других ворот скакали на одной ноге, ползли на корточках — и тут уж кто кого обжулит, потому-то почти всегда голил самый честный, самый тихий человек.

Был и другой способ выбора голящего: какая-нибудь девчонка или парнишка брали в одну руку белое стеклышко, в другую черное и ставили условие: кто отгадает руку с белым стеклышком — отходит в сторону, а те, кому не повезло, выстраиваются вдругорядь.

Бывало, в игре участие принимало до двадцати ребятишек, и к рукам, твердо и загадочно сжатым, подходили по многу раз. Со страхом видишь, бывало: все меньше и меньше остается народа в строю. И наконец к заветной цели тащилось двое последних — два разбитых, полумертвых человека. Они пытались улыбаться, заискивающе смотреть на выборного, чтоб намек сделал, качнул бы рукой с белым стеклышком, моргнул бы глазом с этой стороны или хоть мизинцем шевельнул...

Мучительно вспоминали эти двое, какую когда досаду сделали они выборному, какой урон ему нанесли, дрались, может, дразнились, игрушки не поделили?.. Прошлая жизнь за эти несколько шагов навстречу роковой судьбе

промелькнет, бывало, перед мысленным взором, и выйдет, что была она сплошной ошибкой.

Прежде чем отгадывать, молитву, бывало, сотворишь перед неумолимо протянутыми руками: «Боженька, помоги мне отгадать белое стеклышко». А кругом злорадствует и торопит публика, уже пережившая свои страхи и желающая получить за это награду.

И вот одному из двоих открылось черное стеклышко. Вопль радости и торжества издавал шедший в паре счастливец, он кувыркался через голову, ходил на руках по траве и дразнил голящего, и без того уже убитого и несчастного.

Начиналась игра.

Каждый из тех, кто удачлив в жизни, кто открыл ладонь с белым стеклышком, брал колотушку и бил разок по колу, бил, плюнув перед этим на ладони и крепко ахнув. Кол подавался в землю иногда сразу на несколько вершков, иногда чуть-чуть — это от ударов твоих закадычных дружков, тайно тебе сочувствующих.

Вот кол почти весь в земле, но впереди самое главное и страшное: матка-забойщик. На роль эту выбирали, как правило, самого сильного, самого злого и ехидного человека. Он наносил по колу столько ударов, сколько душ принимало участие в игре. Наносил их раздумчиво, с присказками и прибаутками: «А мы колышек погладим, дураков землей покормим...»

Дурак тут всего один — голящий. Он считал удары и с ужасом убеждался, что кол уже исчез из виду, а забойщик все еще зубит колотушкой, вгоняя его дальше и дальше в недра.

Правило: пока голящий выдергивает кол, все должны спрятаться. Голящий притыкает кол к земле, ставит к нему колотушку и отправляется искать погубителей. Если нашел — скорей к колу, бей по нему колотушкой и кричи победно: «Васька килантый за бревном! Васька килантый за бревном!»

Но как далеко, как далеко до этого и как почти несбыточно.

Кол забит до того, что и признаков его нет. Вытаскивать его надо руками, зубами — инструментов никаких не полагалось. За всякую хлюзду, то есть если струсишь и домой сбежишь либо демонстративно кол вытаскивать откажешься, предусмотрено наказание — катание на колу и колотушке. Возьмут тебя, милого, за ноги и за руки, положат

спиной на кол и на колотушку и начнут катать. И до того докатают, что потом ни сесть, ни лечь — все кости болят, а спина в занозах.

Срывая ногти, проклиная судьбу, слезно моля о помощи боженьку, откапываешь кол, шатаешь его, тянешь, напрягаясь всеми силами, а из жалицы, с крыш амбаров, из-под стаек и сараев несутся поощрительные крики, насмешки, улюлюканье.

Но вот все смолкло. Кол вытащен. Насторожен. Теперь любой из затаившихся огольцов может оказаться возле кола — надо только быть предельно бдительным и зорким. Стоит голящему отдалиться, как из засады вырывается ловкий и коварный враг, хватает колотушку и забивает кол до тех пор, пока ты не вернешься и не застукаешь его. Но это удается очень редко. Чаще всего, когда вернешься, кол уже забит и забивалы след простыл.

В тридцать пятом году, вымотанный болезнью, лихорадкой, я три дня подряд голил в кол, не мог отголиться и снова захворал. Ребятишки навещали меня, приносили гостинцы, желали скорее поправляться и все время напоминали, чтобы я обязательно отголился, когда выздоровею...

И поныне не могу забыть ту детскую игру, и «брожу ли я вдоль улиц шумных», и вижу ль рослых, волосатых оболтусов, без смысла и цели слоняющихся среди людей, слушаю ль ответственного оратора, убеждения которого складываются и колеблются в зависимости от зарплаты, внимаю ль даровитому витии, который себя только и мнит в нашей лохматой литературе истинным патриотом и неистовым борцом за народ, а остальных хотел бы со свету свести, я грустно думаю одно и то же: «Эх, ребята, ребята, поиграть бы вам в кол...»

Бойе

БОЙЕ, ИЛИ БАЙЕ, ПО-ЭВЕНКИЙСКИ — ДРУГ.

Так звали собаку моего отца.

Из породы северных лаек, белый цветом, с серыми, будто золой припачканными до коленных суставов передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, был Бойе не красив с виду.

Вся красота его и ум были в глазах, желтоватых и му-

дро-спокойных. Но о том, какие умные глаза бывают у собак, и особенно у лаек, говорить не стоит, об этом уже сказано много. Повторю лишь чью-то, мимоходом брошенную догадку: собака, прежде чем стать собакой, побыла, наверное, человеком. Но это совсем не относится к закормленным конфетами шавкам. Среди собак, как и среди людей, бывает много избалованных дармоедов, кусающихся злодеев, пустобрехов и рвачей.

Бойе был труженик, и труженик бескорыстный. Он любил хозяина, моего отца, человека, в общем-то, непутевого и ветреного, никого, кроме себя, не умеющего баловать вниманием.

Суровой природой рожденный, Бойе ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку.

Без работы Бойе жить не мог. Если отец или мой брат Колька по какой-либо причине два-три дня не выходили на охоту, Бойе опускал хвост, бродил с места на место, будто никак не мог найти уголка, где прилечь, начинал повизгивать и скулить.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство его не покидали. Не выдержав, он иногда сам, один, убегал в лес и охотился. Как-то припер в зубах огромного глухаря, а по первому снегу пригнал к дому песца и загонял его до того вокруг поленницы дров, что, когда вышел на лай отец, дрожащий песчишка сунулся ему меж ног, отыскивая спасение и защиту.

Бойе умел все и даже больше, чем полагается уметь собаке. Он шел по птице, по белке, нырял за подраненной ондатрой, и все губы у него были изодраны и искусаны бесстрашными ондатрами. Он отбил бесшабашного охотника — братана Кольку — от медведя. Колька с перепугу и от неожиданности влепил в косолапого дробью. Этого же Кольку, заблудившегося зимой в заполярной тайге, Бойе отыскал в снегу и привел к нему людей.

Но однажды он удивил даже Кольку и отца, которых удивить уж вроде было нечем.

Колька, начавший таскаться по лесу, когда еще приклад ружья волочился по снегу, рассказывал:

— На озеро я пришел, за утками. Бойе обежал вокруг озера, остановился на обмыске, замер и в воду уставился. Чего это он, думаю, там узрел? Смотрю, приосел в осоке и пополз. Я тоже замер, наблюдаю. Бултых Бойе в воду и чего-то в зубах на берег выволок. Подхожу — щучища ки-

лограмма на два дрыгается, а Бойе ее лапами прижал и ухмыляется, хвостом помахивает. Я когда папке рассказывал, как Бойе на припечной отмели щук добывал, он не поверил. Потом сам увидел и головой покрутил: сотни, говорит, собак за свою жизнь перевидал, но такая бестия и во сне не снилась...

Работал в ту пору отец десятником на дровозаготовках, неподалеку от Игарки, у станка Сушково. Иные пароходы тогда ходили еще на дровах и причаливали к берегу — запасались топливом.

Бойе однажды забежал на пароход — отыскивать отца, подавшегося к буфету, и здесь его поймали на поводок и увели.

Никогда не кусал людей Бойе и не знал, пожалуй, что иной раз укусить их и следует. Он верил людям и привык к тому, чтобы люди ему тоже верили.

Пароход набрал дров, загудел и наладился отчаливать. Тут и хватилась семья, немалая семья — в пятеро ребятишек: нет Бойе — кормильца, сторожа.

Покричали его, позвали — не откликается Бойе.

Заревели ребятишки в голос, хозяйка заревела — пропадать им без собаки. Отец чалку не отдает. «Верните, требует, собаку. Негде ей больше быть, как на пароходе». Капитан ругается, грозится штрафом за задержку парохода.

Подали трап. Отец обошел весь пароход — нет собаки. И тогда он решился на крайность — остановился среди парохода и крикнул:

— Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения раздался рыдающий голос собаки.

Конфуз был на пароходе. А Бойе несколько дней виновато вилял хвостом и отводил глаза — стыдно ему было за оплошность. После этого он к пароходам близко не подходил. Сядет на высоком берегу, и посматривает, да на кусты озирается: дескать, в случае чего, дерну в лес, только вы меня и видели!

Я уже говорил, что отец мой — человек непутевый, да гулевой к тому же. Надоело ему десятником быть, скучно, видите ли, неденежно, и решил он податься в начальники рыбного участка. А грамотешка у него — сельская школа, оконченная на заре туманной юности.

Я отговаривал его, об ответственности финансовой толковал, о том, что семья, слава богу, при месте — от тайги

питаться мясом, рыбой, ягодами и орехами. На что отец ответил любимой своей поговоркой: «Яйца курицу не учат!» — и подался на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо — слеза катиться...» По такому лирическому запеву нетрудно было догадаться, что он уже в тюрьме.

На несколько лет затерялся след его и семьи.

Первым отыскался Колька. В армии он уже служил. Колька-то и рассказал о том, как запил, загулеванил отец, попавши в начальники, и допился до того, что сделал большую растрату денег и продуктовых карточек. Двенадцать лет отвалили отцу за развеселую руководящую жизнь. Ребятишек разбросало по детским домам и интернатам. Так семья и не собралась больше вместе.

Судили отца в Игарке, а после суда этапом отправили на строительство моста через Енисей у станка Ермаково — тогда возводилась та самая железная дорога, которая нынче именуется «мертвой».

Строй заключенных спускался по берегу Енисея, к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Он плакал, Колька-то, и отца среди заключенных увидел не сразу.

Зато Бойе увидел его.

Залаял радостно, ринулся в строй, бросился к отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку из колонны тянет.

Смешался строй, замешкался, сбился, и сразу же клацнул затвор винтовки.

Отец загородил собою Бойе от стрелка:

— Это ж собака!.. В людских делах не разбирается...

С трудом оттащил Колька Бойе в сторону, обнимает его. А Бойе как завоет на всю пристань, как рванется снова к отцу, не пускает его на баржу, препятствует ходу начальника конвоя, за сапог схватил, и тот, не снимая автомата с шеи, в упор, короткой очередью прошил собаку, и она упала под ноги заключенным и забилась в последних судорогах.

Плакал отец, поднимаясь по трапу. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе. Плакали в строю мужики, плакали на берегу бабы.

Бойе еще поднял голову из торфяной, размешанной множеством ног пыли, глянул вослед людям. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, он по-человечески же скорбно вздохнул и умер, ровно бы жалея кого-то.

Родные березы

ЗАБОЛЕЛ Я ОДНАЖДЫ, И МНЕ ДАЛИ ПУТЕВКУ В южный санаторий, где я никогда еще не бывал. Меня уверили, что там, на юге, у моря, все недуги излечиваются быстро и бесповоротно. Но плохо больному человеку, везде плохо, даже у моря под южным солнцем. В этом я убедился очень скоро.

Какое-то время я с радостью первооткрывателя бродил по набережной, по приморскому парку, среди праздной толпы, подчеркнуто веселой, бесцельно плывущей куда-то, и не раздражали меня пока ни это массовое безделье, ни монотонный шум моря, ни умильные, ухоженные клумбочки с цветами, ни оболваненные ножницами пучки роз, возле которых так любят фотографироваться провинциальные дамочки и широкоштанные кавалеры, залетевшие сюда с дальних морских промыслов бурно проводить отпуск, прогуливать большие деньги.

Но уже через неделю мне стало здесь чего-то недоставать, сделалось одиноко, и я начал искать чего-то, рыская по городу и парку. Чего искал — сам не ведал.

Часами смотрел я на море, пытаясь обрести успокоение, наполненность душевную и тот смысл, и красоту, которые всегда находили в пространстве моря художники, бродяги и моряки.

Море нагоняло на меня еще большую тоску мерным, неумолчным шумом. В его большом и усталом дыхании слышалась старческая грусть. Вспененные волны перекатывали камни на берегу, словно бы отсчитывая годы. Оно много видело, это древнее, седобровое море, и оттого в нем было больше печали, чем веселости.

Впрочем, говорят, что всяк видит и любит море по-своему. Может, так оно и есть.

В приморском парке росли деревья и кусты, собранные со всех сторон мира. Встречались здесь деревья с африканским знойным отливом в широких листьях. Фикусы росли на улице, а я-то думал, что они растут лишь в кадках по российским избам. Воспетые в восточных одах, широко стояли платаны и чинары, роняя на чистые дорожки мохнатые шарики с ниточками. Кипарисы, темные и задумчивые, и днем и ночью мудро молчали. Непорочными какими-то,

невзаправдашне театральными цветами были завешаны магнолии.

И пальмы, пальмы.

Низкие, высокие, разлапистые, с шевелюрами современных молодых парней. В расчесах пальм жили воробьи и ссорились, как обитатели коммунальной квартиры, всегда и всем недовольные, если даже удавалось им свить гнездо в кооперативной квартире или на райской пальме. Понизу стелились и прятались меж деревьев кусты, бесплодные, оскопленные ножницами. Листья их то жестки, то покрыты изморозью и колючками. В гуще кустов росли кривые карликовые деревца с бархатистыми, длиннопалыми листьями. Их покорность, еле слышное перешептывание напоминали тихих красавиц из загадочной арабской земли.

Кусты, деревья, все эти заморские растения, названий которых я не знал, удивляли, но не радовали. Должно быть, открывать и видеть их надо в том возрасте, когда снятся далекие страны и тянет куда-то убежать. Но в ту пору́ у нас и сны, и мечты были не об этом, не о далеких странах, а о том, чтоб свою как-то уберечь от цивилизованных разбойников двадцатого века.

Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел, дивился и вдруг увидел среди заморских кущ три березки толщиною в детскую руку. Глазам своим я не поверил. Не растут березы в этих местах. Но они стояли на полянке в густой мягкой траве, опустив долу ветви. Березы и в наших-то лесах, если растут поодиночке, сиротами кажутся, а здесь и вовсе затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и все-таки от них нельзя было оторваться глазу. Белые стволы берез пестрели, как веселые сороки, а на нежной зелени зазубренных листьев было так хорошо, покойно взгляду после ошеломляющего блеска чужеземной, бьющей в глаза растительности.

Садовник широкодушно высвободил место березам в этом тесном парке, где обязательно кто-то и кого-то хотел затмить, а потом и задушить. Березы часто поливали, чтобы не сомлели и не умерли они от непосильного для них южного солнца.

Березки эти привезли вместе с травяной полянкой на пароходе, отпоили и выходили их, и они прижились. Но листья берез лицевой стороной были повернуты к северу, и вершины тоже...

Я глядел на эти березы и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, наличники окон — в зеленой пене березового

листа. Даже за ремешками картузов у парней — березовые ветки. Скараулив девок с водою, парни бросали им в ведра свои ветки, а девушки старались не расплескать воду из ведер — счастье не выплеснуть! В кадках вода долго пахла березовым листом. Крыльцо и пол сеней были застелены молодыми ветками папоротника. По избам чадило таежным летом, уже устоявшимся, набравшим силу. В этот день — в троицу — народ уходил за деревню, с самоварами и гармошками.

Праздновали наступление лета.

Какое-то время спустя под дощаной навес сваливали целый воз березовых веток. В середине зеленого вороха сидела и вязала веники бабушка. Видно у нее только голову. Лицо у бабушки умиротворенное, она даже напевает что-то потихоньку, будто в березовой, повядшей и оттого особенно духовитой листве утонули и суровость ее, и тревожная озабоченность.

Веники поднимали на чердак и сарай, вешали попарно на жерди, на перекладины — где только можно уцепить веники, там и вешали. Всю зиму гуляло по чердаку и сараю ветреное, пряное лето. Потому и любили мы, ребятишки, здесь играть. Воробьи слетались сюда по той же причине, забирались в веники на ночевку и не содомили.

И всю зиму березовый веник служил свою службу людям: им выпаривали пот из кожи, надсаду и болезни из натруженных костей. Мужики, что послабже, да квелые старичишки надевали шапки, рукавицы, парились часами и, не в силах преодолеть сладкой истомы омоложения души и тела, запаривались до беспамятства. Молодухи выволакивали их из бани в наспех, неладно застегнутых исподниках и торопливо тыкали в загривок свекру или мужу, вымещая ему прошлые обиды.

Ах, как сладко пахнет береза!

Весенний остров

ПАРОХОД МИНОВАЛ ОСИНОВСКИЙ ПОРОГ, И СРАЗУ Енисей сделался шире, раздольней, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей, тем положе дела-

лись берега, утихало течение, река усмирялась, катила воды без шума и суеты.

Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на родную реку, вдыхал прохладу белой, тихой ночи. Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что брызги долетали до меня. Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей родине, суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем?

Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и тишину ее.

Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я не спал. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на меня, постоял рядом и ушел.

Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его. Но и этой малой передышки достало. Туман поднялся над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых вершин леса, взойдет над синими хребтами и пугнет туманы. Они потянутся под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы и листья, на пески и прибрежный камешник.

И кончится так и не начавшаяся ночь.

Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом грудились скалы, меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а по низу острова кипел вершинами лес.

Берега яркие, в сочной зелени — так бывает здесь в конце весны и в начале лета, когда бушует всюду разнотравье, полыхают непостижимо яркие цветы Сибири. В середине лета, к сенокосу, цветы осыпаются и листья на деревьях блекнут.

Но на подоле острова живая лента зелени! Это только что распустившийся гусятник и низенький хвощ. За ними синяя полоса, окрапленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, жарки, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они отцвели и семя уронили, а тут...

— Весна на острове! Весна!..

Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров все удалялся, удалялся, а мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну!

Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали.

Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров. Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше не попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его берега — всюду уже было лето и все отцвело, а он не мог без весны, — и забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков.

Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком цвете — неважно. Главное, что она приходит.

Чтобы боль каждого

В ГЛУБИНЕ ГРУЗИИ ЕСТЬ МЕСТЕЧКО ГЕЛАТИ. Здесь курятся сизой растительностью склоны гор и по белым развалинам старой академии, в которой, по преданию, учился гениальный певец этой земли Шота Руставели, ползут и переплетаются бечевки мелколистого растения с могильно-черными ягодами, которые даже птицы не клюют.

Здесь же стоит тихий и древний собор с потускневшим от времени крестом на маковице. Собор, воздвигнутый еще Давидом-строителем в далекие и непостижимые, как небесное пространство, времена.

Все замерло и остановилось в Гелати. Работает лишь время, оставляя свои невеселые меты на творениях рук человеческих.

Вот дарница — огромное деревянное дупло, куда правоверные, приходившие поклониться богу и памяти зодчих, складывали дары свои — хлебы, фрукты, кусочек сушеного мяса или козьего сыра. Дупло источено червями, издолблено птицами и градом, но все еще крепко, как мамонтова кость, дупло не меньше, чем в пять обхватов, а оказывается, из того самого орешника, что растет по всем почти среднероссийским лесам, а годно лишь на удилища. Как произрос и сплелся в единый ствол целой рощею этот кустарник?

Дар земли! Чудо, отысканное где-то и употребленное во славу господню и во благо людям.

Неподалеку от дарницы вкопан в землю огромный керамический чан — все для тех же подношений, но уже вином. Я открыл ржавую, нынешних времен железную крышку. Чан был пуст. Со дна его метнулась ужаленно и соскользнула слепая, бледно-желтая от тьмы лягушка.

Я быстро захлопнул крышку чана.

В чистом и высоком небе качался купол собора с крестом, а неподалеку, совсем по-российски, беззаботно пел жаворонок, трещали кузнечики в бурьяне да заливались синицы в одичалом саду.

Медленно и тихо ступил я в собор. Он был темен от копоти. С высокого купола по стенам собора скатывались тяжелые серые потеки. В разрывах черной копоти, в извилинах нержавеющих потеков виднелись клочки фресок. И то проступал скорбный глаз пресвятой матери-богородицы, то окровавленная нога распятого спасителя, то лоскут святой одежды, поражающий чистотою красок.

Мне объяснили: по дикому обычаю завоеватели-монголы в каждой православной церкви устраивали конюшни и разводили костры. Но царь Давид ставил собор на века и меж кровлей купола по его велению была налита прослойка свинца. От монгольских костров свинец расплавился, и потоки его обрушились на головы чужеземных завоевателей. Они бежали из Гелати в панике, считая, что их карающим дождем облил православный бог. И подумал я: «Вот если бы на головы современных варваров, устроивших конюшни в священных храмах Родины моей, пролился такой же карающий свинцовый дождь...»

Грузины сохраняют собор в том виде, каким покинули его ужаснувшиеся завоеватели.

Печально сердце Гелатского собора, хмур и обветрен лик его, вечна и скорбна тишина в нем. Память темным и холодным крылом опахивает здесь человеческое сердце.

Совсем уж тихо, с опущенной головой покинул я оскверненный, но не убитый храм и теперь только заметил у входа в собор массивную гранитную плиту, уже сношенную ногами людей.

На белой, грубо тесанной плите вязь причудливой грузинской письменности. Иные буквы и слова уже стерты ступнями человеческими.

Но грузины наизусть знают надпись над прахом Давида-строителя и охотно переводят ее, не забывая упомянуть при

этом, что грузинский царь был насколько-то сантиметров выше Петра Великого и потому так огромна плита на могиле его.

На плите остался завет творца: «Пусть каждый, входящий в этот храм, наступит на сердце мое, чтобы слышал я боль его...»

Все вокруг приглушило дыхание, вслушиваясь в мудрую печаль нетленных слов.

И прахом своим

В ГУСТОМ, ТОНКОСТВОЛЬНОМ ОСИННИКЕ Я УВИДЕЛ серый, в два обхвата пень. Пень этот сторожили выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкою шапкой лежал линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же ютились хиленькие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы и сами елочки так слабосильны, что им уж и не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост.

Тот, кто не растет, умирает — таков закон жизни. Этим елочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. Здесь можно было прорасти, но нельзя выжить.

Я сел возле пня покурить и заметил, что одна из елочек заметно отличается от остальных. Она стояла бодро и осанисто посреди пня. В заметно потемневшей хвое, в тоненьком смолистом стволике, в бойко взъерошенной вершинке чувствовались какая-то уверенность и даже вроде бы вызов.

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: «Вон оно в чем дело!»

Эта елочка ловко устроилась на пеньке. Она веером развернула липкие ниточки корешков, а главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из мха, и потому он был такой линялый, а корешок центровой ввинчивался в пень, добывая пропитание.

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, пока доберется до земли. Еще несколько лет она будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, возможно, был ее родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя.

И когда от пня останется одна лишь труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, еще долго будут преть корни родительницы-елки, отдавая молодому деревцу последние соки, сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в стужу остатным теплым дыханием прошедшей жизни.

Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают те, кто пали на поле боя, а ведь были среди них ребята, которые не успели еще и жизнь-то как следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поесть, — я думаю о елочке, которая растет в лесу на пне.

Содержание

Повести

*

Рассказы

*

Затеси

*

АСТАФЬЕВ
Виктор Петрович

Повести
Рассказы
Затеси

*

Редакторы О. КУПРЮШИНА, И. ЛЕПИН
Художник М. ТАРАСОВА
Художественный редактор
Н. ГОРБУНОВ
Технический редактор
Т. ДОЛЬСКАЯ
Корректоры Г. БОРСУК,
Е. СОКОЛОВА.

Сдано в набор 12. IX. 1975 г. Подписано в печать 5. I. 1977 г. Формат бумаги тип. № 3 $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. 14,5 (усл.-прив. л. 24,36), бум. л. 7,25; уч.-изд. л. 26,793. Тираж 65 000 экз. Цена в ледерине 1 р. 97 к., в коленкоре 1 р. 91 к. Темплан 1977 г. Изд. № 31. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. Карла Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 1097.

Астафьев В. П.

А91 **Повести. Рассказы. Затеси. Пермь, Кн. изд-во, 1977.**

461 с.

Повести, рассказы, затеси известного советского писателя.

А $\frac{70302-16}{М152(03)-77}$ 31—77 Р2

